ВРЕМЯ И МЫ

135

1997

АЛЕКС БОРИСОВ

В МОСКВУ! В МОСКВУ! НА САМУЮ СЕРЕДИНУ!

ВРЕМЯ И МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ ГОД ИЗДАНИЯ

Выходит один раз
в три месяца

135
1997

НЬЮ-ЙОРК - МОСКВА - ИЕРУСАЛИМ
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ И МЫ» - 1997

ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

ЛЕВ АННИНСКИЙ
ВАГРИЧ БАХЧАНЯН
ЮРИЙ БРЕГЕЛЬ
ДЖОН ГЛЭД
ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ
ЛЕОНИД ЖУХОВИЦКИЙ
ЕФИМ ПИЩАНСКИЙ
ЯСЕН ЗАСУРСКИЙ
ГРИГОРИЙ ПОЛЯК
ЛЕВ НАВРОЗОВ
ВОЛЬФГАНГ ЗЕЕВ РУБИНЗОН
ИЛЬЯ СУСЛОВ
МОРИС ФРИДБЕРГ
ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ
ЭДУАРД ШТЕЙН
ЕФИМ ЭТКИНД *(зам. гл. редактора)*

Главная редакция журнала "Время и мы"
409 Highwood Ave, Leonia,
New Jersey 07605, USA
Тел.: (201) 592-61-55
Факс: (201) 592-69-58

Московский центр журнала "Время и мы"
Заведующий центром Лев Аннинский
Адрес центра: 117415 Москва,
ул. Удальцова, 16/19.
Тел.: 131-62-45

Израильское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Ефим Пищанский
Адрес отделения: Neve-Yakob Reuven
Gamson Str., 32/3, JERUSALEM, 97350
Tel.: 02-857-282

Французское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Ефим Эткинд
Адрес отделения: Rezidence Lorilleux
Esc.U. appt 929, 15 Allee Henri Sellier,
92800 PUTEAUX, FRANCE

OCR и вычитка - Давид Титиевский, сентябрь 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА
Йорам КАНЮК
Повесть о тете Шломцион Большой 5
Борис НОСИК
Три рассказа 75

ПОЭЗИЯ
Александр АЛЕЙНИК
Другое небо 103
Сергей ШАБАЛИН
В мерзлоте между раем и адом 110
Александр РИХТЕР
Я тут живу вдали от вече 119

РОССИЯ НА ПЕРЕПУТЬЕ
Дмитрий БЫКОВ
Геноцид 123
Документ с комментариями
Сексоты для демократов 133

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА
Лев АННИНСКИЙ
Барды 145

ВЗГЛЯД
Евгений МАНИН
Ненависть рождает ненависть 163

ИНТЕРВЬЮ «ВРЕМЯ И МЫ»
Арон КАЦЕНЕЛИНБОЙГЕН
Капитализм: угроза для современного общества? 182

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО
Мирон РЕЙДЕЛЬ
Черные дыры 202
Алекс БОРИСОВ
В Москву! В Москву! На самую середину! 229

ВЕРНИСАЖ «ВРЕМЯ И МЫ»
Юрий ГРАЧЕВ
Художник сам по себе 278

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции

© **"Время и мы"**
ISSN 0737-7061

Йорам КАНЮК

ПОВЕСТЬ О ТЕТЕ ШЛОМЦИОН БОЛЬШОЙ

Перевод с иврита Наталии Вольберг

1

В день смерти моего дяди Нехемии стояла такая жара, что даже древние старики, помнящие посещение Ришона бароном Ротшильдом, утверждают, что подобной не было никогда. Люди приехали из разных мест на машинах и автобусах, распространявших смрад и поднимавших густую пыль, и смешались с нищими, которые трясли свои жестянки медленными, как во сне, движениями.

Старики, которым Нехемия напоминал об их благословенной юности, прибыли в светлых летних костюмах, в галстуках, и казались прозрачными и расплывающимися в дымке, словно это двигались души, окутанные телом.

Великолепные женщины с белыми волосами, в летних кричащих шляпах с широкими полями опускали милостыню

Журнальный вариант повести

в жестянки нищих с медлительной торопливостью, смешанной со страхом.

Тетя Шломцион Большая была одета в великолепное черное платье и издали напоминала ворона поразительной красоты. Старая госпожа Вирбсовски, которая на протяжении сорока лет шила тете все ее платья, прохромала ко мне, вынула из сумочки розовый платочек, высморкалась и сказала чистым голосом, напоминавшим дребезжанье ожерелья из прозрачных камней: «Посмотри, как тают на жаре слезы, Аминадав. Посмотри, что от нас осталось, от всего прекрасного поколения, — осколки людей и бумажные слезы».

Из покойницкой вынесли какое-то постороннее тело, и мужчины и женщины в черном завыли над раскаленным ложем. Тетя Шломцион Большая, высокая и великолепная, стояла, глядя на плачущих женщин с отфильтрованной злостью. Она сказала моей маме, Шломцион Маленькой: «Этот их человек мог бы умереть и завтра. Они всегда устраивают толкучку. Никогда не будет у нас культуры».

Тетя подождала, чтобы оплакивающие своего покойника освободили место, и направилась в сторону канторов, которые стояли в своих черных одеждах в тени плюща и пили холодную содовую. Она не торговалась с ними. Впервые в жизни заплатила полную цену. Она купила для дяди Нехемии молитв на двадцать лир, не на десять и даже не на пятнадцать: молитв от всего сердца, с религиозным экстазом и правильно произнесенным именем.

Потом все пошли к покойницкой и оттуда по знаку, данному тетей, направились к могиле. Жара была тяжелой, как камень. На лбу Шломцион не появилось ни единой капли пота. Она посмотрела на мертвое тело любимого мужа и какое-то мгновение казалась окруженной великолепным сиянием, рядящимся в отчаяние. Из-под ресниц она фотографировала глазами присутствующих со сдержанной нежностью, прослоенной ненавистью. Она подсчитывала пришедших и с еще большим старанием тех, кто не пришел. Подсчитывала жителей старого Тель-Авива, со злостью вычла умерших, равнодушно вспомнила, что старик Шмулевич действительно умер и похоронен недалеко отсюда и

поэтому не мог прийти. Но полностью она ему этого не простила. Она отделила в своем мозгу тех отсутствующих, которые не умерли, и каждый из них был похоронен внутри нее с точно рассчитанной ненавистью.

Острая тоска стояла в воздухе. Великолепные люди встретили самих себя, детей, которыми они были когда-то. Вершины погрузились в землю, корни поднялись вверх, люди простодушно потянулись к дням, когда в воздухе чувствовалась мощь и была надежда. Тощий человек в распахнутой рубашке, которого никто из присутствующих не знал, говорил об изначально заложенных в Нехемии качествах ученого. Все недоумевали, кто такой этот тощий человек, и думали, что, возможно, это какой-нибудь наследник, а может быть, также, что тетя Шломцион пожертвовала большую сумму университету, и это благодарственная речь. Он сказал, что Нехемия был одарен любознательностью и непоколебимой наивностью, порождающей людей искусства, святых, ученых и великих грешников. Он говорил о хромосомах и коррозии жизни.

Я стоял и смотрел на это племя, покрытое рубцами и вместе с тем хрупкое, и заметил, что Керен-Пуховка перестала плакать, отерла пот и потихоньку направилась к могиле своего мужа. В руке она держала букет цветов, и казалось, что она порхает между могилами. Тетя Шломцион мерила взглядом шаги Керен-Пуховки с нескрываемой враждебностью. В небе кружили птицы, а вокруг стояло это шелестящее безмолвие, полное смерти и небытия. Горячий воздух застыл над нами, густой и горький. Медленный самолет пролетел в небе, нарушив тишину, которая вернулась лишь через несколько минут, чтобы окутать все снова.

Доктор Генрихович сказал: «Бедная Шломцион, вот ушел от нас Нехемия, все уходят во все ускоряющемся темпе, и только наше эхо возвращается с кладбища. Это наказание возвращаться отсюда каждый месяц и оставлять за собой прекрасных детей, какими мы были когда-то, лежать усталыми в холодной земле». Он обращался теперь к Нехемии, и тетя наблюдала за ним с восторгом: ведь он не обязан был говорить, а говорил.

Тетя Шломцион стояла, как олицетворенное презрение,

а я думал, что она размышляет про себя, не позволить ли мне все-таки сказать кадиш. Сына ее нет здесь. Она ждала его до без четверти четыре. Все самолеты из Нью-Йорка уже прибыли. Всю ночь она сидела в аэропорту. Он прислал телеграмму, что постарается приехать. Тетя отказалась показать нам эту телеграмму. Я предполагаю, что он заикался и в телеграмме. Он боялся приехать, мой двоюродный брат. Но она не позволила существу «противному и липкому», вроде меня, произнести кадиш. Она сказала маме, Шломцион Маленькой: «Если ему так хочется сказать кадиш, пусть скажет его над могилой своего отца». А мама сказала: «Но ведь Нафтали еще жив!» И тетя Шломцион ответила: «Пока жив, но надолго ли? Для Нафтали сойдет кадиш Аминадава, но не для Нехемии. Нехемия достоин царского кадиша. Ради него я была готова удовольствоваться кадишем моего недостойного сына, который не явился и который будет раскаиваться в этом всю свою жизнь». Она усмехнулась и немедленно вернула своему лицу выражение отмеренного и такого красивого горя.

Потом пошли к выходу. Глаза были солеными от слез и жары. Керен-Пуховка все еще стояла у могилы «Лучше меньше, да лучше», эта прозрачная старушонка обрывала лепестки красного ощипанного и высохшего цветка и бормотала, гадая на своего умершего мужа: «Любит — не любит, любит — не любит». Это было, пожалуй, единственным (и последним) моментом, когда я видел тетю Шломцион Большую, готовую упасть. Она посмотрела в сторону Керен-Пуховки, окруженной своим прежним, свойственным только ей светом, подошла к ней, словно желая обнять ее, и сразу же вернулась к нам, произнося со злостью: «Кто любит, что любит? Нехемии больше не будет в доме, и кто вообще может любить Керен-Пуховку?»

Она шла медленно, медленно, поддерживаемая мною и мамой, и я сказал: «Тетя Шломцион, я соболезную тебе, искренне соболезную тебе».

Она посмотрела назад, на кладбище, где сгрудились все пропавшие годы, и сказала: «Так много живых, а он должен был умереть». Тетя смахнула слезу, которая появилась специально в честь этого мгновения и немедленно исчезла,

и сказала: «Разве это трогает их? Ни до чего нет им дела. Есть им дело до Нехемии? Они думали, что погода будет хорошей, что будет празднество и что я прощу их. А много ли цветов они принесли? И те, что принесли, уже завяли, наверняка подобрали их с других могил по дороге. Может быть, со своих собственных могил? Уж я-то знаю! Разве могила моего отца, господина Одинского, не была покрыта цветами, собранными со всех кладбищ Тель-Авива?»

2

Ее звали Шломцион Большая, потому что она была на четыре года старше мамы, Шломцион Маленькой, которая была также немного ниже нее ростом. Мама была сестрой Нехемии. Нехемия умер в возрасте шестидесяти пяти лет.

Теперь тетя Шломцион лежит в частной больнице на севере, в самом фешенебельном районе Тель-Авива, в комнате, которая обходится ей в двенадцать тысяч лир в месяц. Люди, считающие себя ее наследниками, собираются, каждый со своими близкими, вокруг своих лопающихся надежд, вокруг своих несбыточных мечтаний, улыбаются друг другу со стеклянным и вежливым выражением лица и звонят нетерпеливо, но деланно равнодушным голосом, пытаясь скрыть бушующую внутри страсть, маме, Шломцион Маленькой, или в больницу: хотят узнать, когда умрет тетя Шломцион Большая.

Каждое утро, как бы невзначай, является один из этих несчастных наследников, чтобы услышать новости о состоянии финансов тети. Наследники попадают, совершенно случайно, в отделение Национального банка на бульваре Ротшильда, или в банк Ефета, или в банк Альран, или в центральное отделение банка Дисконт, но никто не дает им удовлетворяющего их ответа. Лабиринты финансов Большой тети так сложны и запутанны, что за исключением самой тети, мозг которой все больше обызвествляется и склерозирует, нет ни одного человека, который бы знал точно, сколько денег есть у нее, сколько было и сколько останется. Деньги вложены в акции, ценные бумаги, сбережения, займы, прикрепленные к индексу, краткосрочные займы, прикрепленные к доллару. В тайных сейфах хранят-

ся огромные суммы — так говорят люди, притворяющиеся осведомленными.

Опытные адвокаты, большей частью старые и помнящие Шломцион еще со времен своей юности, звонят друг другу как бы между прочим и ведут длительные беседы сладким голосом, в котором слышится скрытая дрожь. Они пытаются выяснить свое положение, продолжают ли они еще представлять Шломцион Большую, назначены ли они еще заботиться о части ее наследства или это вообще никогда не входило в их обязанности.

Они стараются подставить друг другу ножку с элегантной хитростью, сидя в своих старых конторах около древних полок, на которых стоят громоздкие книги кодексов законов, покрытые пылью, под старыми дипломами и портретами Бен-Гуриона. Волосы их уже белы, лица морщинисты и розоваты. Какая-то катастрофа пронеслась над ними. Все не то, что было. Молодые, ловкие адвокаты сняли себе великолепные конторы на других улицах, а их величие прошло. Они остались, как тени минувшего, в стороне от деловой активности красавцев-сыновей, разъезжающих в элегантных спортивных машинах.

Всю жизнь тетя Шломцион Большая встречалась тайно с молодыми и предприимчивыми юристами, которые тем временем тоже состарились, давала тайные распоряжения, большей частью заводящие в тупик. Она написала пять завещаний, противоречащих одно другому, положила их в сейфы, код которых был передан по частям двум посторонним адвокатам, которые не были знакомы ее постоянным адвокатам, а его основная, самая важная часть была известна лишь старому мировому судье, который вот уже несколько лет находится в заведении для хроников в Раанане. Тому старому судье, которому случилось однажды, когда он был молодым человеком и шел собирать цветы в апельсиновых плантациях Яффы, увидеть Шломцион, возвращающуюся с берега моря, после того как французский корабль выпустил пять снарядов в сторону фабрики немца Вагнера. Шломцион была тогда в таком приподнятом состоянии духа, какого не испытывала никогда в жизни.

Судья до сих пор засушивает в тетрадках редкие цветы. Полки, полные цветов. Некому оставить их в наследство, и они рассыпаются. Одинокий, в инвалидной коляске. Он улыбается: «Все коды. Все противоречия. Какая она великая женщина!» И копии писем! Только часть из них понятна, а другая часть не имеет смысла и станет понятной лишь тогда, когда соединят все обрывки, находящиеся у мамы, Шломцион Маленькой, и у брата Шломцион Большой, живущего в Чикаго!

Сожаление о двенадцати тысячах лир, в которые обходится ее комната в больнице каждый месяц, не доходит до нее. Жизнь просачивается к ней, преломляясь в призме враждебности.

Из-за разочарования в жизни, которая почти прожита, тетя Шломцион полюбила относительную подлинность пребывания в больнице. Ей семьдесят шесть лет, и она со всей серьезностью утверждает, что врач влюблен в нее, или, как она говорит: «Этот красивый и умный молодой человек влюбился в меня до кончиков пальцев на своих ногах».

Врачу сорок два года, у него седые волосы и модная прическа. Тетя любит — по крайней мере теперь — людей с чистыми стерильными лицами, даже немного сладкими. Ей кажется, что врач происходит из хорошей семьи, что он не какой-нибудь мальчишка из низов, отличившийся в учебе и сделавшийся врачом. Есть вещи, которые она просто не выносит: нервных юношей с бурными страстями, старающихся исправить мир. Она любит людей гладких. Она не любит, она принимает их — и это не совсем одно и то же. Она любит или принимает именно этого врача. Вот и все.

Красивый врач из хорошей семьи осматривает Шломцион Большую дополнительно (сверх положенного) раз в день. Плату за этот дополнительный осмотр он получает в долларах от брата Шломцион из Чикаго, который должен, согласно указаниям, переданным ему известным адвокатом и заверенным у нотариуса, посылать суммы, которые от него потребуют. И «нет у тебя, — так сказано в письме тети, — и не будет у тебя никакого права выразить какое-либо мнение по этому поводу; какое вознаграждение ты полу-

чишь за услуги, я сообщу тебе в свое время тем или иным способом».

Со дня рождения тетя Шломцион считалась единственным ребенком господина Одинокого. Ее брат, живущий в Чикаго, был отрезанным ломтем, о котором нечего особенно распространяться. Она не забыла своему брату также и то, что в тысяча девятьсот семнадцатом году он покинул Эрец-Исраэль и уехал в Америку, несмотря на все ее просьбы. Она была тогда совсем молодой, пришла к нему и сказала: «Если ты уедешь, я не буду разговаривать с тобой никогда!» Он улыбнулся в ответ на слова своей маленькой сестренки, поцеловал ее в щеку и уехал.

С тех пор она не разговаривала с ним ни во время своих посещений Америки, ни во время его приездов в страну.

На похоронах дяди Нехемии ее брат почувствовал впервые в жизни, что значит видеть и быть невидимым.

Сегодня он старый человек, ему почти восемьдесят, и когда он узнал, какую сумму в долларах она отдала на хранение известному адвокату Бустани, он послал ей письмо, полное чувств и тоски по прошлому: «Конец приближается, — писал он. — И что осталось у нас, кроме семьи, глубокой и сложной семейной связи, общих воспоминаний, известных лишь мне и тебе, и памяти нашего великого отца?»

Она ответила ему (через адвоката), что она знает, чем вызвана эта чувствительность, совсем необязательная и излишняя, чтобы не сказать неэстетичная. И если он опасается, что вот-вот умрет, то лучше, чтобы он передал надзор за выплатой денег более молодому человеку. У нее нет, так писала она, никакого намерения умереть. Она живет сейчас в больнице, и место это достаточно надежно. Воспоминания, о которых он говорит, не интересуют ее. Лишь тот, кто готов поселиться в этой многострадальной стране, достоин общих воспоминаний. Она не намерена простить ему его предательство. И она предупреждает его, чтобы он не упоминал всуе имя ее отца, господина Одинокого, а то наступит у нее приступ хронической амнезии, когда она будет писать свое завещание.

Тетя смеялась весь день с закрытым ртом и неподвижным

лицом. Лицо ее было холодно и беспредельно красиво. Она снова и снова перечитывала письмо своего брата и говорила маме с лукавым высокомерием: «Он думает, что получит от меня что-нибудь! Фигу он получит! Но он платит вовремя и умеет вести расчетные книги. Это единственное, что он унаследовал от моего отца, единственной дочерью которого была я».

3

Тетя Шломцион Большая прибыла в больницу почти год тому назад. Однажды она почувствовала, что вот-вот умрет. Это было в среду, так она рассказывала мне, ведь по телевизору показывали фильм, и старый учитель Нахуми проходил, как и каждую среду, случайно мимо ее дома, чтобы спросить, не позволит ли она ему посмотреть альбом марок Нехемии.

Нахуми, который учил когда-то тетю Шломцион Большую народным танцам и песням родины, теперь совсем согнулся, так что голова его почти касалась мостовой. Обычно она отвечала ему, что не может позволить себе, чтобы у нее каждую среду воровали марки. «Нахуми не отчаивается, — сказала она маме, — десять лет, даже больше, каждую среду, он приходит и просит разрешения взглянуть на марки. Почему он приходит? И с какой стати я позволю ему? Ведь он хочет украсть треугольные португальские марки».

Я сказал тете, что эти марки не такие дорогие, как она думает, и что в коллекции есть очень дорогие марки, которые, вероятно, не выглядят дорогими.

«Не все то золото, что блестит, не всякий треугольник — сокровище», — сказал я. Она посмотрела на меня с подозрением, и глаза ее заблестели. Я поспешил сказать ей, что знаю это потому (и она сама прекрасно знает это), что дядя Нехемия не раз показывал мне свою большую и замечательную коллекцию. «С тех пор, — сказала тетя мне сухо, — у меня действительно не хватает марок примерно на сумму в сто пятьдесят фунтов стерлингов». Я, как обычно, ничего не ответил на ее обвинение. Я только сказал ей, что не верю, чтобы Нахуми действительно хотел украсть марки, и потом добавил то, чего она ждала от меня: «Ведь не марки инте-

ресуют его. Он же наполовину слеп. Что он может видеть? Он влюблен в тебя с тысяча девятьсот двенадцатого года. Все, чего он хочет — это пить с тобой чай Прусского и видеть своими полумертвыми глазами, какая ты красивая».

У тети Шломцион гордый вид. Она говорит: «Ох уж эти мне старики! Пить чай он хочет? Он повалит меня на кровать, этот идиот!»

В ту среду, после того как учитель Нахуми медленно скрылся за спуском аллеи, тетя Шломцион продолжала сидеть в своем большом доме, глядя без всякого чувства на многочисленную мебель, помнившую прикосновение дяди Нехемии. Сидела одна, заключенная в снопе света, излучаемого маленькой лампочкой на потолке (она сменила все лампочки на более слабые, чтобы остановить утечку того, что она называла «мои деньги, скудеющие и убывающие»), и делала то, чем она занималась большую часть своей жизни, — ничего.

В своей опустевшей комнате, окруженная красивыми картинами в золотых рамах, шкафами со старыми книгами, дипломами и медалями, альбомами марок, старыми вешалками со шляпами Нехемии и его парадными костюмами, сидела тетя Шломцион Большая и ненавидела. Она сидела напротив всегда закрытого окна, и вот появилась смерть и встала перед ней. Она была реальной, конкретной, и тетя посмотрела на нее и хотела сказать ей, что она ошиблась адресом. Тело болело, сердце билось с безумной скоростью. Слабость охватила ее, голова кружилась.

У нее были, да и теперь сохранились, красивые глаза, окруженные лиловыми тенями. Волосы ее побелели, но остались густыми. Кожа светлая и гладкая. Тело стройное, и даже грудь — полная и высокая. У ее кожи есть какой-то красноватый оттенок, какое-то едва заметное увядание материи. Этому увяданию противостоит плотность тела, изящество фигуры и красивая, гладкая кожа. «Тетя Шломцион Большая — чудо природы», — говорит тетя Шломит, которая смотрит на нее с тем смешанным чувством удовольствия, зависти и боли, которое может испытывать женщина, приближающаяся к семидесяти, по отношению к семидесятишестилетней.

Кто не восторгался устойчивой и неповторимой красотой тети Шломцион? Но лишь тетя Шломит осмелилась сказать из глубины своего страдания, продолжающегося сорок лет, что зло, влюбленное в себя и освещающее само себя цветным прожектором, подобное тете Шломцион Большой, является единственным в своей способности противостоять усталости материала и брожению времени. Она сказала: «Она сохраняется не как вино, а как замаринованный продукт». Тетя Шломит очень интересуется процессом брожения. Читает все, что удается ей найти из произведений Пастера или Уоллеса и других исследователей, и не переставая говорит о брожении продуктов и их сохранении. Это маленькая женщина. Муж ее, Авнер, давно умер. Шломцион Большая прогнала ее от себя. Тетя Шломит — специалист по брожению вин, хранящихся в погребах Ришон-ле-Циона и Зихрон-Яакова. Балкон ее заставлен пробирками с зеленоватыми мхами, плесенью и заплесневелыми жидкостями. Она говорит, что все мы были когда-то амебами.

Она бы не говорила так, утверждает мама, если бы не была уничтожена еще при жизни тетей Шломцион Большой. Таков юмор ищущих расположение тети понапрасну.

«Посмотри, что она делает с нами, со всеми нами», — сказала мама Шломцион Маленькая с грустью.

Из своего сгущающегося все больше тумана видела тетя Шломцион Большая, как проникает смерть внутрь ее запертой крепости. А ведь она сделала двойные замки на всех своих дверях!

Она сидела как пригвожденная. Чудо-женщина. Видела, как смерть залезает на фикусовое дерево, прыгает по веткам богенвилии, добирается до высоты четырехэтажного дома, граничащего с ее двором.

Тело ее стонет от боли распадающейся материи, умоляет о воссоединении, ищет милости, полно достоинства.

Дом напротив, тот самый четырехэтажный дом, фасад которого похож на греческий храм, сделанный из картона, он тоже был когда-то чем-то другим. Большой этот дом кишит теперь всякими издательствами и конторами начинающих адвокатов с секретаршами в коротких платьях, отстукивающими на машинках с бодростью, вызывающей ирони-

ческую улыбку, письма в трех экземплярах несуществующим клиентам, а двор запущен и замусорен, кусты и деревья дико разрослись, и коты, объятые бешеной страстью, нахально вопят в эти лишенные очарования дни.

В доме безобразные комнаты, украшенные картинами с изображением пейзажей и старыми календарями, издательства, выпускающие комиксы, которые продаются в киосках, где когда-то продавали прохладительные напитки, сок, нектар и холодный лимонад. Смерть продолжала лазать по ветвям богенвилии, а тоска, наполнявшая ее, была скорее протестом, чем болью. Тогда тетя позвонила в скорую помощь и сказала: «Говорит Шломцион, пожалуйста, пошлите карету скорой помощи, срочно».

Дежурный врач, который пил чай, уткнувшись в телевизор, спросил, кто она, где живет, как звали ее отца, сколько ей лет, к какой больничной кассе она принадлежит и что с ней.

Она обиделась и почти забыла о смерти. Она накричала на врача, голос которого казался равнодушным, но учтивым также и после того, как она вылила на него поток горьких и тяжелых слов. Она сказала: «Может быть, это ты сам послал ко мне смерть? Как в Америке. Я была там. Коммивояжеры ходят из дома в дом и говорят людям, что те больны, берут у них деньги и исчезают. И тогда появляются врачи и продают им лекарства. Они выходят из той же машины», — сказала она.

Врач молчал и продолжал смотреть старый вестерн. Женщина в телефонную трубку сказала: «Послушай-ка, еще до того, как родился твой отец, мой отец господин Одинокий — а я его единственная дочь — уже строил города, где ты будешь растить своих противных внуков, которые еще не родились».

Врач смеялся. Настоящий смех, сопровождающийся звуками и изменяющий лицо, был чужд тете Шломцион не меньше, чем отчаянная форма выражения глубокого горя. Никто не смеялся в ее присутствии. Звук, издаваемый врачом, был для нее чем-то напоминающим редкий тропический цветок.

Она сказала: «Ты издаешь какие-то странные звуки. Я

надеюсь, что не позвонила по ошибке в зоологический сад», — и бросила трубку.

Врач явился собственной персоной. В его честь она надела относительно новое платье. Волосы ее были аккуратно уложены. Она приказала ему доставить ее в частную больницу, на севере Тель-Авива. Она не намерена лежать в одной комнате со стонущими людьми, с плаксивыми женщинами, с ночными горшками, принадлежащими другим. С тех пор она живет там. Она давно выздоровела. Она платит двенадцать тысяч лир в месяц в дополнение к особой плате врачу с седыми волосами и модной прической.

«Сидит себе человек в пункте скорой помощи в Тель-Авиве, — сказала Шломцион Большая, — и не знает моего имени. Спрашивает, как звали моего отца... Эти негодяи убили здесь жизнь, они уничтожили все красивое».

Тетя Шломцион всегда стоит на конечной линии своей жизни и выуживает саму себя из зеркала, обрамленного золотом, со страстью, вызывающей изумление. Себя она любит в красках, весь мир ненавидит черно-белой ненавистью.

Один из детей, которых тетя Шломцион называет «обезьянами, родившимися на улице, как кошки, и умрущими от вшивости», сказал как-то, что вполне возможно, что эта старая красивая женщина — переодетый Бог. Он был умный мальчик. Не помню его имени. Он не ждал никакого наследства. Однажды — так рассказал он мне — он принес тете Шломцион бутылку молока из магазина. Тетя дала ему грош в уплату за труд. Он сказал, что она рылась в своих карманах, где было полно лир и полулир, и нашла грош. Он сказал, что тетя улыбнулась ему ангельской улыбкой, когда давала ему этот грош. «Дерево не сравнится с ней», — сказал он. Он не бросил грош ей в лицо, не поблагодарил ее и ушел. Тетя подумала, конечно, что он нахал, как и его родители, с которыми она не знакома, но по его виду она представляет, кто они и чего они стоят.

Был тогда у тети Шломцион азиатский грипп. Мама застряла в тот день в Иерусалиме из-за снегопада, господин Нахуми имел обыкновение приходить только в среду, а,

кроме них, ведь никто не приходил навещать ее. Поэтому не было никого, кто бы купил ей молоко.

Наследники звонят. Они с нетерпением ждут ее смерти. Жизнь ее не интересует их. Но правды ради следует сказать, что они не знают, являются ли они наследниками на самом деле или они только обманывают себя. Мама и я решили, что мы не наследники. И так и сказали ей. Это был единственный раз, когда она согласилась с нами.

Когда я передал маме, что рассказала тетя Шломцион Большая о мальчике и что он сказал мне, она возмутилась. «Не может быть, что она переодетый Бог», — сказала она.

Но во взгляде мамы я заметил непонятную любовь к этой старой женщине, которая всю жизнь только мучила ее. Хотя мама была сестрой ее любимого мужа Нехемии. Я подумал: «Это потому, что мама верит в абсолютность чистоты и кристальность зла. И поэтому она, вероятно, может любить тетю Шломцион Большую».

Я защищал сказанное мальчиком. Был вечер накануне субботы. Мы сидели, мама и я, в маленьком кафе на берегу моря и смотрели на него. Мама пришла сюда, чтобы вспомнить казино, которое было здесь когда-то, и предаться мыслям о днях, когда она была выбрана царицей праздника Пурим. Потом мы смотрели на лижущие берег волны. Я сказал: «Послушай, ведь она растоптала своего сына, жизнь его разрушена, он заикается, семья разбита, дети его бродят по свету и ищут прощения, не зная за что. Мужа своего и твоего брата Нехемию мучила, отравляла жизнь всем, что она такое? Ты помнишь последние дни Нехемии? Бедный Нехемия, — продолжал я, — лежал полумертвый, опухший, врачи сказали, что завтра-послезавтра умрет. Напичкан лекарствами, мозг его затуманен, лишь его прекрасные глаза выделяются на лице, глядя как бы из глубины черных пещер, и он пытается улыбнуться, ты помнишь? А она не разрешила ему поесть простокваши!»

Мама нахмурилась. Она перестала пить кофе и перестала всматриваться в свою забытую юность в песках, которые сейчас кишели красивыми проститутками, солдатами и рыбаками.

Она сжала губы, глаза ее расширилась, и вдруг она с силой ударила по столу. Она сказала взволнованным голосом, полным досады, причины которой я не уловил: «Ты не понимаешь, Аминадав, она любила его. Она любила трех людей в своей жизни — своего отца, господина Одинокого и своего деда, которого не знала, и Нехемию, моего брата. Она любила Нехемию с жалостью, с гневом, со злостью, до помешательства. Всю жизнь она была занята лишь одним: любить Нехемию и не дать никому прикоснуться к нему. Он был блестящим ученым, ведь верно же? И он прекрасно знал, что такое рак, но делал вид, что верит врачам, что это только тяжелая язва желудка. Он притворялся, а она должна была подыгрывать ему, чтобы защитить его от людей, подобных тебе, которые знали, что он при смерти, и думали, что стакан простокваши не повредит находящемуся при смерти человеку. Но он, который пытался ухватиться за эту несчастную соломинку и верил врачам, нуждался в Шломцион, которая запретит ему съесть его любимую простоквашу; только так он мог продолжать обманывать себя! Тебе кажется это ужасным, словно она пожалела стакан простокваши, но это было проявлением любви, Ами, великой любви. Ты думаешь, что, несмотря на всю свою жестокость, она не разрешила бы ему поесть простокваши? Он искал спасения в малейшем намеке, и это был намек. Ты, как все люди твоего поколения, ничего не понимаешь в любви», — сказала мама и долгим взглядом посмотрела на темнеющее море.

«Видишь ли, — сказал я, немного помолчав, — может быть, ты и права, но его мозг был уже так затуманен, что стакан простокваши мог доставить ему только немного счастья перед... Ты помнишь, прямо перед самой его смертью, когда мы все сидели у его кровати, она все время смотрела на меня, чтобы удостовериться, что я не украду у нее марки?»

«Жаль, что ты не взял марки», — сказала мама вдруг, и лицо ее, которое до этого было очень мягким, стало суровым и полным горечи — результат пребывания в течение пятидесяти лет вблизи Шломцион Большой. Она встала, подошла к перилам прогулочного помоста, посмотрела на море, вернулась ко мне и снова сказала: «Жаль, что ты не

взял марки! Что она сидит на всех этих миллионах? Она могла сделать так много... Но его она любила... Нам не оставила места. Я любила его через ее фильтр пятьдесят лет».

И тогда мама заплакала особенным плачем, который берегся для этого мгновения все годы, и сказала: «Эти марки принадлежали дедушке. Все мы собирали марки для Нехемии после того, как он получил коллекцию в наследство. Коллекция не принадлежит ей, она принадлежит тебе. Ты настоящий наследник, ты похож на своего деда, ты и духовно близок к нему больше всех. Но она не даст. Подлая...» Тут мама замолчала, вытерла слезу платком и сказала: «Но в отношении простокваши ты ошибаешься».

4

Маленький круг ее друзей все сокращался с годами, круг угрюмых людей, зависящих от ее своеволия, снедаемых обидами. Большинство умерли тем временем или постепенно вымирают, часть из них отчаялась. Она не щадила никого. Однако мама права — есть в ней какое-то очарование, какое-то таинственное сияние. А может быть, вина в нас, в маме и во мне, потому что мы не понимали и не способны понять непреклонную ненависть, не знающую прощения, чистую ревность, не имевшую основания и не поддающуюся изменению. Нам чуждо постоянство этой жестокости, никогда не ослабевающей. Нас ведь можно купить улыбкой, добрым словом. Может быть, поэтому мама понимала, какая таинственная и печальная любовь душит изнутри тетю Шломцион Большую всю ее жизнь.

...Как-то пошел я в отделение Национального банка на Бульваре Ротшильда, чтобы подписаться на закладных бедняги Джони, который снова заложил свою квартиру, когда три его жены и его подруга, которая якобы забеременела, предъявили ему совершенно несносные требования. Погруженный в мысли о своем друге и о том, куда приведут его все эти бурные любовные истории, я поставил машину в запрещенном для стоянки месте. Подошел к киоску выпить содовой.

Было жарко. Хозяин продавал разрисованные книжонки и мутную ржавую содовую. За деревьями был виден великолепный дом Шломцион Большой с зубчатой башенкой, затерянный между многочисленными машинами, между домами, которые превращаются в учреждения, среди толпы людей, спешащей так, словно ее подгоняет время.

Я вернулся к машине взять документы и нашел рапорт. Миленькая полицейская улыбалась мне издали, и я крикнул ей: «Я ведь только на минутку», а она сказала: «Сделанного не воротишь, дорогой». Я получил удовольствие от ее иврита, сказал спасибо и вошел в банк, думая о милых девушках-полицейских, похожих на светофоры на палочках. У входа я встретил тетю Шломцион. Это было за год до ее болезни.

Одетая в голубое платье, в летней широкополой шляпе, выглядела Шломцион так, словно сошла только что с картины Гейнсборо. Она сказала: «Ами, что ты тут делаешь? Поцелуй-ка старую тетку». И подставила мне свое лицо движением хорошо натренированного регулировщика движения, и я был вынужден поцеловать влажную пудру на ее щеках. Она посмотрела на меня долгим, изучающим взглядом, а я не знал, что сказать.

Издали ее дом казался осиротевшим и печальным со своей заостренной, как колпак клоуна, крышей. Почему такая мысль пришла мне в голову? Ее глаза изучали меня, и я чувствовал себя виноватым. Я не знал, в чем моя вина, и почему в ее присутствии я всегда чувствую себя виноватым клоуном. Я сказал, не дожидаясь вопроса:

— Я пришел подписать закладные Джони.

— А? — Шломцион плохо слышит и кричит, как все глухие, не пользующиеся слуховым аппаратом.

— Джони, Авиноам Хаймович, сын Авитара.

— Что, твоя мама не может прийти сама? — спросила тетя Шломцион Большая (полицейская крутилась вокруг моей машины, уж не собирается ли она написать мне еще один рапорт?) — Она должна посылать тебя шпионить за мной? Я скажу тебе, Ами, то, что есть у меня здесь, в банке, — это лишь малая часть того, что есть у меня в других местах, но и этого вы не узнаете,

— Я пришел подписаться на закладных, тетя, — снова повторил я.

— Ну конечно, — сиронизировала она громким голосом, перекрывшим гул машин.

— Я пришел ограбить банк, — сказал я в отчаянии. Может быть, наконец поверит мне.

Она не засмеялась. Он не умела смеяться, точно как и ее отец, господин Одинокий. Она даже не знала, что такое звук смеха.

— Я хочу видеть, — сказала она, — как ты грабишь банк или подписываешься на закладной.

Протянув руку, я обнял ее, и мы вместе вошли внутрь.

— Этот негодяй Арперхшад! Мой несчастный сын! — сказала она. — Что он пишет тебе? Он хочет знать, останется ли ему что-нибудь? Файг* останется ему. Пусть ищет спасения в своей Америке с ее антисемитами и смешанными браками.

Я сказал ей, что не получал от него писем с пятидесятого года. Быстро подсчитал и добавил:

— Двадцать три года, тетя — это большой срок.

— Он пишет и пишет всем, — сказала она, — только не мне. А если напишет, что может он сказать? Я предупреждала его, чтобы он не женился на этой проститутке. Теперь у него четверо ненормальных детей, и жена его работает в доме терпимости.

— Она с успехом работает в политехническом институте в Массачусетсе, — сказал я, — а одно письмо за двадцать два года не свидетельствует о слишком интенсивной переписке.

— Со всеми он говорит обо мне, обо мне! Но это ему не поможет. Он негодяй и дурак. Это самое ужасное, что постигло меня в жизни. А теперь твоя мать и мой сын замышляют против меня козни и пытаются обмануть меня, загнать в ловушку, засунуть меня в дом престарелых, поместить меня среди беззубых и нечесаных, среди людоедов. Послушай-ка, ты играешь очень маленькую роль, ты даже не понимаешь, почему тебя посылают шпионить за мной.

Я ничего не ответил. Легче быть шпионом, засланным ее

* Фига — идиш.

сыном, чем пытаться доказать ей что-нибудь. Мы продвигались под удивленным взглядами людей, знающих эту женщину в синем. Я заметил, как побледнел служащий, когда мы предстали перед ним, а глаза его вонзились в лицо тети.

Она сказала:

— Аминадав пришел сюда, чтобы подписаться на закладных, так он сказал.

— Закладные? — служащий был туг на ухо. Он выглядел помятым, как старая газета, и крикнул: «Закладные? Какие, что, почему, когда?»

— Его друга, — сказала тетя Шломцион своим мощным голосом.

— Авиноама Хаймовича, бедняги, — сказал я.

— А! А! — вздох облегчения. Он спасен. Банк снова зашумел. Бумаги здесь, он уверен.

Я подписал закладные, поданные мне дрожащей рукой. Тетя наблюдала за мной все время.

— У тебя дрожат руки, Ами, пойди к врачу. Но не к дешевым врачам твоей мамы, все они воры, как больничная касса. Пойди к доктору Левину. Это единственный врач, на которого я полагаюсь.

Я вернул бумаги служащему и сказал ей:

— Тетя Шломцион, ведь доктор Левин умер два года тому назад. Я пришел, чтобы взять тебя на похороны, и ты сказала мне тогда, что ты больна и что мертвый врач не может поставить диагноз лучше, чем живой, тем более, что доктор Левин ни разу не поставил диагноза, который чего-нибудь бы стоил, — так ты сказала.

— И пошла?

— Нет, не пошла.

— Эти негодяи умирают один за другим, — сказала она, но без гнева и без радости, безразличным голосом. — Только адвокаты не умирают, — заключила она, — они и старик Нахуми будут жить вечно. Почему он умер, Ами? Почему ему было необходимо умереть? Я знаю. Я кричала на него по телефону целый час из-за каких-то дурацких капель, которые он дал мне, его хватил удар и он умер.

— Это было задолго до того. Он умер во время путеше-

ствия в обществе молодой женщины, умер как мужчина. Ты не помнишь?

Она помолчала минутку, а потом снова начала кричать:

— Помню? Послушай, я не ходила к нему с тысяча девятьсот пятьдесят пятого года. Этот лгун. Для друзей моего сына он был чем-то похожим на мужчину. Для меня он был просто назойливый толстяк, занимающий пространство в мире. Он прописал мне аспирин, когда у меня был солнечный удар. Они все обманщики, Ами. Ну, ты уже подписал?

— Да, — сказал я.

— У тебя дрожат руки, Ами. Вот что делает с тобой твоя мать. Если будешь шпионить за мной до самого страшного суда, ты не узнаешь больше того, что ты знаешь теперь.

Мы еще долго стояли на пороге банка. Она кричала и я кричал. Служащие смотрели в нашу сторону со сдержанной злостью. Она была явно разочарована тем, что я пришел не для того, чтобы шпионить за ней.

— Хотя, — стояла она на своем, — почему ты не ходишь со своей матерью во все банки, чтоб выяснить, сколько денег я накопила своим трудом после того, как вы ограбили меня и оставили мне только гроши?

— Потому что это не интересует ни меня, ни мою маму, — сказал я.

—Что?

— Твои деньги, тетя Шломцион.

— Почему это не интересует тебя? Ты думаешь, что получишь что-нибудь, не прилагая усилий?

Я сказал ей слова, которые она не ожидала услышать:

— Я считаю, что мне ничего не полагается, тетя.

Она поразмышляла немного о том, что я сказал. Что-то внутри нее восстало, что-то бушевало в ней, затронуло ее, но она не показала виду. Она не дура, тетя Шломцион.

— Ты пытаешься приукрасить себя в глазах своей старой тетки, пытаешься купить мое сердце коммунистическими уловками.

— Тетя, — сказал я, — мне нужно идти.

— Да, — сказала она, — никогда нет времени навестить старую тетку.

— Приду, — сказал я.

— Послушай, счет здесь — это лишь маленькая часть, — закричала она во всю силу своих легких. — Есть счета во многих банках в стране... и во всем мире.

Слова «во всем мире» она произнесла шепотом, и снова весь банк затаил дыхание.

— А как поживает твоя мама? Она выглядит плохо в последнее время. А как сыновья?

— Дочки в порядке.

— Такие милые. Но почему они должны страдать? У меня есть знакомый в Швейцарии. Хороший еврей. Там излишек мужчин, у них есть там фабрики, и сладости, и деньги, и древние замки, они ищут израильских невест... Твои несчастные девочки могут подхватить там женихов и вернуться в страну. Здесь с такой внешностью, как у них, будет им трудно, бедняжкам. Парни погибают в войнах, и их не хватает.

— Спасибо, — сказал я.

— А старшая, — спросила она, — снова осталась на второй год?

— Ее перевели на два класса ниже, — сказал я. — Скоро поместят ее в зоопарк.

Она посмотрела на меня долгим взглядом:

— Не смейся над старой теткой, Ами! Новое завещание я же не напишу, но я хотела просто помочь девочкам. Если тебе это неприятно, то и не надо. Главное не лицо, главное, чтобы остались тут, в стране. Посмотри, какой город. Все пропадает. Все тут больны. Подошел ко мне человек на улице и спрашивает, где улица Эхад-ха-Ам. Что я — справочное бюро? Раньше бы не осмелились, но прибыл весь этот сброд, а куда же мы денемся? Будь здоров, Ами.

Я поцеловал ее и пошел. Она вернулась к служащему. Хотела посмотреть, не обманул ли я ее. Я думаю, что она знала, что я не обманул ее. Она хотела, чтобы я подумал, что она не уверена. Она всегда должна дать последний залп.

5

Тетя Шломит, в течение двадцати восьми лет пытавшаяся поддерживать принятую в семьях систему отношений со Шломцион Большой, топила свое тотальное поражение в

чашечке турецкого кофе. Был пасмурный вечер, когда я пришел навестить ее. Она сказала мне: «Она распространяет яд! Она только и знает, что сеять отраву!» Тетя Шломит погрузилась в длительное молчание, посмотрела на меня через паутину печали, сотканную двадцатью годами классического упрямства, паутину, сквозь которую она видела мир, одинокая, посвящавшая все свое время брожению веществ, и потом добавила: «И поэтому ее не забудут. Добрые забываются, Ами, злые — нет. Кого помнят, Авнера, моего мужа, или подлеца — господина Одинокого!? Отца Шломцион помнят гораздо лучше, чем твоего замечательного дедушку. Разве не устроили господину Одинокому самые пышные похороны за всю историю Тель-Авива? И весь многочисленный народ плакал и вопил там, и стоял огромный хвост желающих подойти с букетом цветов к могиле. Ты обратил внимание, сколько букетов было там? Опустошили огромный сад, чтобы покрыть цветами свежую могилу. Кто она? Господин Одинокий в образе женщины».

Я люблю тетю Шломит. Ее муж, мой дядя Авнер, был моим другом. Раз в две недели мы пьем с ней отменный кофе, который она сама жарит, мелет и варит по всем правилам, потом она показывает мне пробирки и читает избранные отрывки из какого-нибудь исследования об организмах, вызывающих брожение и гниение продуктов. Закончив это, мы выясняем разные вопросы. Я сказал ей: «Тетя Шломит, ты ведь прекрасно знаешь, кто пришел на похороны господина Одинокого!»

Она улыбнулась, отпила немного кофе, в ней проснулось давно забытое и всколыхнулась застывшая печаль, и она сказала: «Ничего я не знаю. Толпы народу были там! Вот что я знаю. И это все, что я должна знать. На похороны Авнера пришло всего сто человек. Кто помнит его сегодня, кроме тебя и твоей мамы?»

Смерть отца тети Шломцион Большой была незабываемым событием в нашей жизни. Перед смертью на него снизошло вдохновение. Он написал приложение к своему завещанию и послал его адвокату Махлуфу Абу-Айди в Акко. Он хотел проучить жителей своего города. Адвокат Махлуф нанял пятьсот арабов по тридцать пять грошей за каждого плюс

расходы на дорогу в Тель-Авив. Их привезли ночью в заброшенный дом в Яффе. Там им дали одежду, купленную заранее на блошином рынке, шапки и ермолки и строго приказали не говорить ни с кем во время похорон, которые должны состояться на следующий день. Была проведена репетиция, во время которой арабы стояли вокруг Махлуфа, плакали и рыдали и лишались дара речи из-за великой скорби.

Махлуф нанял целый детский сад вместе с воспитательницами и побеспокоился о том, чтобы каждый ребенок нес в руках веточку. Из северной заброшенной деревни еще ночью на грузовиках были привезены ученики целой школы, которые несли на похоронах, подняв ее высоко, рельефную карту с обозначением всех мест, где господин Одинокий покупал земли в течение всей своей долгой жизни.

Полчетвертого в день похорон, когда восемь самых важных в городе людей прибыли на старое кладбище на улице Трумпельдора, чтобы встретить членов семьи умершего и выразить им соболезнование, атмосфера была накалена до предела. Знатные люди пришли, потому что думали, что нехорошо, если не будет официального представителя на похоронах. Семь из восьми боялись также языка тети Шломцион Большой.

Толпы народу текли по направлению к воротам кладбища: школа со своими учителями, детский сад и пятьсот арабов с букетами цветов в руках. Еще ночью были подобраны букеты со всех кладбищ Тель-Авива и прилегающих к нему городов, так что каждый араб получил букет, а у господина Махлуфа осталась еще кое-какая прибыль в дополнение к той сумме, которую назначил ему Господин Одинокий. Их предводители стерегли свою паству. Они выглядели настоящим евреями. Они рыдали с усердием, вызывавшим восторг. Они любили усопшего всей душой.

Шломцион Большая, дочь Господина (которого в дальнейшем я буду именно так называть) выглядела веселой в своем черном платье.

Мама, Шломцион Маленькая, была испугана.

Слухи распространились с быстротой молнии, и через двадцать минут уже бушевало на площади море людей,

пришедших посмотреть на гигантские похороны. Мертвый Господин собрал вокруг себя тысячу двести человек за какие-нибудь полчаса.

Репортерам газет «Ха-Арец», «Давар» и «Ха-Бокер» не удалось заставить говорить скорбящих. Скорбящие находились в слишком глубоком горе, и это лишало их возможности отвечать репортерам. Мэр города, который прибыл в самый последний момент и еще застегивал на ходу свое пальто, произнес пламенную речь.

Он сказал, что Господин был краеугольным камнем. Из долины мрака к вратам надежды. Вождь и носитель. Учитель и исполнитель заповедей. Срединный столп и посредник между классами. Он не умер и не скончался. Мэр говорил много. Арабы плакали, репортеры искали, чем бы покрыть голову, потому что представители похоронного общества бросали на них гневные взгляды. Тетя Шломцион гордо стояла у могилы своего отца, а я считал песчинки под моей левой ногой.

Люди говорили об этом событии много дней. Говорили: «Вы видели, сколько друзей было у Господина? Может быть, мы не понимали его?» Может быть — зависть. Этот человек сумел умереть, так же как умел он жить, и исчез из нашего города, так же как и появился в нем, оставив глубокий след. Ему было девяносто лет, когда он умер. Картина похорон до сих пор сохранилась в моем сердце: дети в белом, несущие в руках зеленые веточки. Школа, несущая дерзко разрисованную карту Эрец-Исраэль. Песни о Трумпельдоре и господине Одиноком. Арабы, рыдающие у его могилы. Длинный ряд букетов в рыхлой пыли. Удивленные взгляды. Тетя Шломцион, полная достоинства. Море цветов. Белые рубашки, ермолки, плач, отцы города, не понимающие, что творится перед их глазами — дерзкий спектакль или выражение любви, о которой они и не предполагали.

Однажды я проходил случайно мимо дома тети Шломцион и увидел, как она сидит во дворе, одетая в нарядное платье и полная великолепной ненависти. Она посмотрела на меня как-то рассеянно и с минуту изучала меня, словно я был таблицей дивидендов. Когда она вернулась к действительности и поняла, кто я такой, она помахала мне рукой, будто отгоняя досаждающую муху. Она сказала: «Это всего-навсего ты, Ами, друг моего глупого сына. Видел, какие похороны устроил себе Господин? Мой сын был там? Не был? На похороны своего отца он тоже не приедет. Нехемия в Хайфе. Ты не пьешь чай?»

— Нет.

— Кофе у меня нет, — сказала она. — Есть сок в холодильнике, но не бери. Я пригласила на ужин важных гостей, но если ты действительно хочешь пить, так есть там вода, возьми немного.

Не раз рассказывал я тете Шломит эту историю. Были еще люди, которые узнали секрет. Тетя Шломит любит ферментацию и страдание, и, как всем нам, ей приятно пытать себя, думая о своей горькой участи. Она смотрит в чашку кофе, как предсказательница, занята мыслями о своей несчастной судьбе. О том, какие жалкие похороны были у всеми забытого Авнера.

«Они погружаются в землю, эти злодеи, — сказала она, — а добрые, хорошие и чистые остаются в пустоте».

И снова она возвращается из двадцативосьмилетнего путешествия, из времени, наполненного борьбой с женщиной, которая систематически топтала ее. Двадцать восемь лет приходит тетя Шломит в дом к Шломцион Большой, чтобы «немножко поболтать» и «попить чаю», а тетя Шломцион спрашивает меня: «Скажи мне, Ами, Шломит уже вышла замуж за Авнера?»

— Тетя Шломцион, — отвечаю я в который раз, как треснутая пластинка, — ведь они поженились восьмого мая тысяча девятьсот тридцать шестого года, когда начались погромы, ты не помнишь? (Я знаю, что она помнит!) Была темная ночь. Авнер вернулся тогда с границы между Яффой и Тель-Авивом. Около гимназии лежали раненые. Авнер явился в американских брюках. У него был маузер с деревянной рукояткой. Ты пришла на свадьбу в черном платье. Сказала, что Шопен твой родственник со стороны матери. Тетя Шломит поцеловала тебя, а ты спросила, кто она такая.

— Да, я помню, — говорит тетя Шломцион Большая. Она

почти смеется, но она ведь не умеет смеяться. — Кто она такая? Действительно, кто она?

— Пусть она говорит прямо со мной! — говорит тетя Шломит.

— Что она сказала? — спрашивает тетя Шломцион.

— Она сказала, чтобы ты обращалась прямо к ней.

— Кто она такая, что хочет, чтобы я обращалась прямо к ней? — спрашивает тетя Шломцион Большая с искренним удивлением и невинным выражением лица. — Кто она? Ведь она не из нашей семьи. Не то, чтобы я была в восторге от тех, кто да принадлежит к нашей семье. Слишком много монголоидов проникло в нашу кровь. Но это из-за семьи Нехемии. Что это она вдруг приглашает меня? Кто она такая?

— Она танцевала на моей свадьбе, — кричит тетя Шломит надтреснутым из-за слез голосом, — она танцевала, напомни ей это, Ами.

— Она говорит, что ты танцевала на ее свадьбе, — сказал я. — Господи, Боже мой, тетя Шломцион, это было тридцать лет тому назад. И ты танцевала! И дядя Авнер танцевал с тобой вальс, а ты хотела разбить рюмку.

— Она ужасная женщина, — говорит тетя Шломит прямо в невинное лицо тети Шломцион Большой... — и она даже обращается к ней: «Где милосердие, Шломцион! Ведь бедняга Авнер умер шесть лет тому назад. Мы были женаты двадцать шесть лет. Почему, почему...»

— Каждый женится мне тут, — говорит Шломцион. — Что они знают? Для чего? Чтобы производить на свет монголоидов? Скажи мне ты, Ами, ведь ты притворяешься умным человеком, хотя у тебя и нет образования. Если Шломит решит когда-нибудь выйти за Авнера по всем правилам, ты можешь сказать ей…

— Я здесь! Скажи ей, что я здесь, хочу чаю, хочу жить с кем-нибудь, надоели мне пробирки и ферментация.

— Ты можешь сказать ей, что тогда я отдам ей маленький коврик, который ей так нравится, — неожиданно произносит тетя Шломцион Большая.

— Я скажу ей, — говорю я.

Было, конечно, какое-то зерно здравого смысла во всем этом сумасшествии. Я обязан объяснить это. Тетя Шломцион Большая — не сумасшедшая. Если бы это было так, все было бы намного проще. Я, со своей стороны, убежден, что она самая нормальная из всех нас. Но по этому поводу имеются различные мнения, и мы не будем сейчас залезать в глубь семейной дискуссии. Когда тетя Шломцион говорит что-то, следует искать в ее речах ее логику, а не нашу, ее ассоциации, а не наши. Она видит мир таким, каким он, по ее мнению, должен быть, потому что так ей удобно: например в отношении тети Шломит, хнычащей возле нее и просящейся войти в семью.

Просто тетя Шломцион всегда умела задеть самое чувствительное место у своих врагов. А мир для нее состоял из Нехемии, господина Одинокого и врагов.

6

В своей светлой комнате, в частной больнице на севере Тель-Авива, прихорашивается тетя Шломцион Большая в честь своей ненависти. Она предпочитает оставаться в больнице, хотя в этом нет никакой необходимости. Она нанимает частных сиделок, которые сбегают от нее со скоростью одна в неделю. Она платит двенадцать тысяч лир в месяц плюс значительную сумму в долларах врачу, обладателю седых волос и модной прически. Некоторые говорят, что чем сильнее у нее склероз, тем более красивой она становится, и более злой.

Я не отношусь к ее наследникам, и меня не волнует расточительство Шломцион. Я не унаследую даже альбомы с марками. Я наблюдаю, как она заботится о своей внешности и размышляю о холодной и строгой красоте, скрывающей изъяны в вещах (или в людях). Она следит за своей внешностью серьезно и ревностно. Каждый день надевает она другое платье, голова аккуратно причесана, а волосы очень красивы. В ее комнате нет никаких посетителей. Приходит только мама, я да еще два-три адвоката иногда.

Врачи проходят мимо ее комнаты на цыпочках. Она прихорашивается ради самой себя. Вот это-то и пленяет мое сердце. Она выдергивает брови, массирует лицо, причесывается несколько раз в день, смотрится в зеркало. Она

выглядит такой благородной со своими седыми шелковистыми волосами и гладким лицом!

Под окном, выходящим во двор, засаженный кустами герани и роз, на белой простой полке, стоят две фотокарточки. Фотографии своего сына она сожгла давно. Остались у нее лишь портреты Нехемии и отца, господина Одинокого, двух любимых ею людей. Попадающие сюда случайно спрашивают: «Почему не Арперхшад?»

Они говорят это потому, что само произнесение этого имени доставляет им удовольствие, только и всего. И этим они как бы унижают ее, словно преодолевая ее презрение, не знающее жалости.

Один из врачей спросил меня: «Почему не Хамор в честь Хамора*? Или Каделреумед? Или Тиглат-Паласcар?» Они забыли войну, которая велась из-за имени моего двоюродного брата. А, может быть, притворяются. Тетя Шломцион тогда вела войну, от которой зависела вся ее жизнь. Она боролась за свое право быть Шломцион. После этого она позволила дяде Нехемии быть ее господином до конца его жизни. Рождение его второго сына (первый был монголоидом и умер в годовалом возрасте) предоставило ей случай, выпадающий раз в жизни, поставить всех на свое место, раз и навсегда показать, что хотя она подчиняется Нехемии из-за великой любви, но делает это в результате свободного выбора. Она решила сделать его своим господином не по обязанности или из послушания, а после борьбы. Она действительно стремилась быть побежденной где-то в далеком будущем, но тогда она хотела заставить всех признать ее право и ее силу. Тетя Шломцион называет это: личный выбор.

Когда родился ее первый сын, тетя Шломцион Большая стала утверждать, что источник монголоидности — в крови Нехемии, что в его семье много ненормальности и много порченых людей, вроде моего дедушки Симхи, самым большим недостатком которого было в ее глазах и в глазах Господина то, что купил он как-то участок земли на углу улицы Алленби и бульвара Ротшильда за один бишлик**,

* Осел (иврит).

** Бишлик — мелкая монета.

чтобы привязать там своего ослика, на котором он ездил в школу для девочек в районе Неве-Цедек, а потом, когда ему уже не нужен был ослик, продал этот кусок земли за один бишлик. «Тот, кто продал участок за ту же цену, что купил его, — сказала она, — производит на свет детей-монголоидов». Мой двоюродный брат родился красавцем и весил почти четыре килограмма. Его головка была покрыта черным пушком. Тетя Шломцион сказала Нехемии, когда он навестил ее в комнате рожениц: «Посмотри, какой он красивый, Маршалалькхашбаз!» И Нехемия сказал: «Только через мой труп! Его назовут Симха* в честь моего отца, да будет благословенна его память. И в честь радости, что у меня родился первенец».

Это было самой большой ошибкой в его жизни.

Шломцион посоветовалась с Господином Одиноким, своим отцом, ее отец сказал: «Симха? По имени этого дурака? Во-первых, он умер на чердаке, во-вторых, он продал участок земли за бишлик, а это грех. Человек, который не желает заработать или дать заработать другому еврею, вообще не человек. А ведь земля — это единственная вещь, которая чего-то стоит и которую больше не производят». Он не знал, что Марк Твен сказал это до него.

Итак, когда мой дядя Нехемия сказал, что назовет своего сына Симхой, а Шломцион сказала, что его назовут Махаршалалькхашбазом, началась драма, о которой просвечивающие насквозь старушки рассказывают в заставленных старой мебелью комнатах, как будто речь идет о великой космической комедии, которая разыгралась много поколений тому назад, во время потопа или в дни вавилонского столпотворения.

«Мой сын будет носить имя Симха!» — сказал мой дядя Нехемия, а тетя Шломцион молчала. Не было смысла спорить. Она уже тогда знала, каким будет компромисс.

По прошествии недели, когда она вернулась домой из больницы Данцигера и сказала: «Нехемия, Махаршалалькхашбаз плакал всю ночь», — дядя хлопнул дверью первый раз в своей жизни и крикнул из-за двери: «Я не подпишу! У меня не будет сына по имени Махаршалалькхашбаз», — и

* Симха — радость (иврит).

вышел прогуляться по пескам, которые уже тогда назывались бульваром.

Спор между Нехемией и Шломцион начал приобретать характер войны. Были крики, хлопанье дверьми и взаимные обвинения и было много ночей, которые провел Нехемия в песках, а тетя Шломцион закрывалась, как в крепости, со «своим детенышем» дома и кричала через окно: «Я не уступлю, знай это!»

Через несколько дней шумная война прекратилась, так же внезапно как и началась, и сражение перешло на рельсы тихой враждебности и отфильтрованного ядовитого отчаяния. Уличные бои между бульваром и окном закончились тем, что окно было заперто. Злоба была засунута в ящики. Тетя Шломцион посоветовалась со своим отцом, господином Одиноким, который был тогда болен и стал ощущать странную близость к птицам во дворе. Впервые в жизни он начал думать философскими понятиями, вроде короткого расстояния между рождением и смертью.

Господин посоветовал своей дочери (так выяснилось позже) отказаться в принципе от имени Махаршалальхашбаз (что она и так собиралась сделать), не сообщая об этом Нехемии, предотвратить любую попытку назвать новорожденного Симхой, по имени бородатого фанатика-сиониста, который продал участок за бишлик (несчастного поэта, который, может быть, танцевал с нимфетками в «Гай-Пари») и умер на чердаке, как нищий, и терпеливо ждать.

Началось второе действие. Шломцион закрылась в своей комнате, заперла дверь и не впускала к себе своего мужа, а моего двоюродного брата полтора года называла «этот». Нехемия много гулял по немногочисленным улицам нового города. Люди, которые когда-то любили его, жалели его теперь и кивали ему головой. В маленьком городе, с населением в двадцать тысяч человек, из которых одиннадцать тысяч — зубные врачи и пятнадцать — агенты по продаже спичек, нелегко было быть безымянным сыном родителей, поражающих друг друга стрелами и любящих друг друга отчаянной любовью.

Шломцион много беседовала с сыном, внедряла искры ненависти в его кровь, кормила из бутылочек, наполненных

секретным составом, и говорила с ним о его глупом и упрямом отце. Она не разрешала Нехемии видеть сына, и он тосковал по ним обоим.

Он страдал перед закрытой дверью, ощущал запах духов, запах детской мочи, смешанный с запахом кислого молока, а в комнате, внутри, сидела Шломцион Большая, полная бурной страсти и молчащая в логове своей враждебности. Он сидел на бульваре, который еще не был бульваром, с печальным лицом, со сверкающими глазами и пел: «Есть на свете любовь, где же моя любовь?»*

Кроме Господина, никому не разрешалось входить в дом. Шломцион говорила, что все являются шпионами Нехемии, включая молочника и маму.

После восьми месяцев холодной тихой войны эта история стала темой бесед у известных людей города. И в поселках, и в далеком Иерусалиме тоже немало говорили о войне между Нехемией и Шломцион и об «этом».

Можно сказать, что тетя Шломцион была права в одном: объективность не праздновала тут свою победу, если не считать Иерусалима, где мнения разделились почти пополам; ведь в поселках отношение между сторонниками Нехемии и сторонниками Шломцион было четыре к одному в пользу Нехемии и примерно таким же было оно в Тель-Авиве и Яффе. По закоулкам шептались: «Что это за имя Махаршалальхашбаз? Что это вдруг странное библейское имя? С каких это пор жена закрывается от своего мужа, мучает его, ведь он же любит ее?! Женщина должна признавать авторитет мужа». Говорили: «Симха был праведником в своем поколении. Почему не Симха?» И так далее и тому подобное.

Господин Одинокий нанял пятьдесят арабов из Рамлы и дюжину евреев из Иерусалима по цене два с половиной гроша в день плюс два миля** за дополнительные часы для арабов и три с половиной гроша плюс три миля за дополнительные часы для евреев, и поставил их на перекрестках улиц, около Большого дерева и на берегу моря, чтобы они доказывали обществу, что тетя Шломцион права. Они говорили: «Махаршалальхашбаз — прекрасное имя. И если

---

* Из стихотворения Х.Н. Бялика.

** Десятая часть гроша.

годилось оно для одного из великих пророков Израиля, то будет оно годиться также и для Нехемии. Тем более что первый сын Шломцион был болен из-за испорченной крови ее мужа, и она хочет только того, чтобы ее второй сын был «поддержан пророческим предвидением». Они много говорили о глупце Симхе, который купил участок за бишлик и, не торгуясь, продал его за ту же цену, показав тем самым, с какой стороны находится ум в этой семье и с какой — сумасшествие.

Когда «этому» исполнилось восемнадцать месяцев, он начал ходить, болтать, сидеть на горшке (так сообщил Господин около дерева с гордостью), и, когда Шломцион брала его гулять, окруженная арабами Господина в качестве охраны против Нехемии и его друзей, люди показывали на него пальцами и говорили: «Вот безымянный Махар-Шалаль!» или» «Вот Шломцион со своим Хашбазиком». Но, несмотря на все это, результат борьбы был известен заранее. Огромное большинство публики утверждало, что тетя Шломцион победит, хотя и пойдет на некоторый компромисс. Намеки относительно компромисса послышались сразу же после того, как евреи из Иерусалима попросили надбавку к основной зарплате и к плате за дополнительные часы. Господин Одинокий знал, что недалек тот день, когда и арабы попросят прибавку, и поэтому он позволил слухам распространяться и овладевать сердцами.

Восемнадцать месяцев продолжалась борьба из-за имени моего двоюродного брата. Шломцион и Нехемия спали в разных комнатах. Но Нехемия был гордым человеком, лишь пески бульвара были свидетелями его слез. Восемнадцать месяцев он изнывал в страданиях, плакал и в холодные зимние ночи, и в душные ночи хамсина: «Шломцион, Шломцион!» Восемнадцать месяцев задыхался в горьком одиночестве. Молча собирал марки, сушил их, вставлял в альбом. Начал купаться в море зимой, танцевал, как сумасшедший, на ханукальном вечере, ускакал в Галилею дождливой зимней ночью и написал два длинных стихотворения, которые переписывал пятнадцать раз своим каллиграфическим почерком.

Однажды он пришел к маме, схватил карточку дедушки

Симхи и разорвал ее на куски. Потом сидел с мамой на балконе и говорил два дня подряд о нежных щеках, полной груди и гладких волосах Шломцион Большой.

По прошествии восемнадцати месяцев, когда деревья на бульваре уже доходили Нехемии до поясницы, а арабы господина Одинокого попросили надбавку за дополнительные часы и наткнулись на категорический отказ, пришло письмо.

Оно было заверено нотариально и передано Нехемии почтовым чиновником, которого направил к нему сам Господин. Письмо содержало предложение тети Шломцион: первое и последнее предложение, великодушнее которого еще не бывало. Предлагаемое перемирие, было сказано в письме, может послужить началом мира, а может быть и совершенного и окончательного примирения, но если оно будет отвергнуто, возникнет между ними вечная вражда и примирение не будет возможно никогда.

Она предлагала назвать их сына — Арперхшад.

Дядя Нехемия устал от войны. Все знали, что он прав, даже арабы господина Одинокого. Он тосковал по Шломцион и по сыну. Он почти забыл имя своего отца, забыл, что слово «симха — радость» существует в языке иврит.

В это время господин Одинокий сообщил своей дочери, что количество ее сторонников уменьшается, а враги усиливаются и увеличивают свое войско и что требование о повышении платы — это нахальство со стороны сброда, не понимающего своей выгоды.

Истощенный войной, дошел Нехемия до того, что не мог больше читать письма с должным вниманием. Он вел себя в эту неделю не так, как все жители города, которые в эти холодные, мартовские вечера повторяли про себя: «Нехемия гибнет, Нехемия попадает из огня в полымя». Он не смеялся, как все, и не повторял под громкий смех уменьшительные, ласковые имена вроде: «Арперхшадельчик, Арперхшадинька». Полный растоптанной страсти, он подбежал к комнате Шломцион. Дверь была заперта. Он ощутил вожделенный запах духов, детской мочи и кислого молока секретного состава и нашел на двери письмо, прикрепленное кнопкой, на котором стояло его имя.

Он сорвал письмо, адресованное ему, и прочитал:

«Всем заинтересованным.

Согласный с именем, предложенным в письме от пятнадцатого марта сего года должен написать заявление с просьбой о прощении, заверенное нотариально, и в нем объявить, что имя Арперхшад ему (согласному) нравится и что имя Симха, предложенное им в момент слабоумия, было глупой идеей, целью которой было задеть жену (согласного, если он согласится!), которая много страдала в своей жизни и произвела на свет ребенка лишь для того, чтобы дать согласившемуся наследника, который бы продолжил его имя во Израиле, и что предложение имени, сделанное назло (Симха) и долженствовавшее опозорить и очернить женщину, родившуюся в этой стране, дочь семьи раввинов и основателей ишува, внучку раввина Гаона из Хеврона, имело целью оклеветать эту женщину перед Господином и многими другими евреями, видящими в Симхе, отце соглашающегося, человека, который заслуживает лишь насмешки, который не умел предвидеть будущее, преследовал своих учениц, ездил на кривоногом осле и продал еврейский участок неевреям. Идея дать сыну Шломцион имя этого человека — это глупость и нахальство и позор для высказавшего ее. Согласившийся должен объявить, что он окончательно и бесповоротно отказывается от своего предложения и что он любит свою жену пламенной любовью.

Заявление следует написать в трех экземплярах: один — господину Одинскому, один — законной жене (Шломцион из дома Одиноких) — на розовой бумаге, которая лежит в верхнем ящике шкафа в гостиной, и один — любимому сыну, который в течение восемнадцати месяцев остается без имени во Израиле и который совершенно не знаком с тем, кто породил его.

Со все убывающим уважением Шломцион».

Нехемия тщетно пытался выбить дверь. Он кричал, но никакого ответа не последовало. Он надел пиджак, повязал галстук и побежал на улицу Иегуды Галеви, но нотариус уже ушел домой. Он пошел к нотариусу на дом, в Яффу, заплатил двойную цену, написал письмо в трех экземплярах

(один розовый), нанюхался запаха чеснока, исходящего изо рта нотариуса, который в одной руке держал еду, в то время как другая была занята работой, и послал письмо заказной почтой.

Через два дня пали перегородки, и тетя Шломцион Большая с дядей Нехемией снова зажили вместе в своей великолепной спальне.

Война закончилась. Все пошли на компромисс, а имя моего двоюродного брата теперь: Арти Бараб.

Тетя Шломцион Большая не уступила. Двадцать восемь лет писала в Америку письма Арперхшаду Яакоби, и они возвращались к ней с печатью на английском языке: «Адресат с таким именем не числится». Она собрала вернувшиеся к ней письма, связала их розовой ленточкой и положила на комод. В конце концов мой двоюродный брат сдался, пошел на почту и попросил разрешение получать письма, приходящие на имя Арперхшад. Он читал их и тотчас же выбрасывал в камин зимой и корзину для бумаг летом.

Арти Бараб заикается даже в своих письмах. Однажды он послал мне письмо, которое начал писать зимой и закончил тоже зимой, только через год, в котором было всего пятнадцать предложений, объяснявших, почему он женится на женщине, которую его мать называла «проституткой из Шанхая».

Я послал ему картину, на которой была изображена обнаженная женщина со змеей, проникавшей в нее в самых очаровательных местах. Эту картину он как-то принес из Яффы и с тех пор она оставалась у меня.

Тетя Шломцион говорит, что ее сын будет причиной ее скорого конца.

— Этот предатель, — сказала она, посмотрела на фотографии дяди Нехемии и господина Одинокого, — сидит там, в Америке, с проституткой из Шанхая и убивает свою мать пядь за пядью.

— Почему из Шанхая? — спросил я.

— Потому что эта дура убежала из России в Японию. Оттуда поехала в Америку.

— Но почему же Шанхай, тетя Шломцион?

— Что было делать ей в Японии? Это место для евреев? — спросила тетя Шломцион и продолжала ненавидеть мир с холодной тоской.

7

На тумбочке в частной больнице, на севере Тель-Авива, стоят два любимых тети Шломцион Большой в золотых рамках. Выражение лица врача, обладателя седых волос, напоминает мне выражение лиц всех знакомых Шломцион: взгляд полон тоски и лести и ожидания дня уплаты. Нехемия и Господин, внутри золотых рамок, кажутся рядом с ним такими милыми, такими далекими от вражды, дополняющими один другого и ничего не желающими.

Мой дядя Нехемия одет как-то странно; фотография относится к тысяча девятьсот пятьдесят второму году, когда он был переезжающим из страны в страну послом в Европе. Он выглядит на ней смешным и каким-то усохшим — юноша, переодетый в английского лорда, случайный сэр Монтефиоре* или мелкий торговец: на голове цилиндр, а в руке — Декларация независимости Израиля на пергаменте. Фоном служит смелый монтаж: Стена плача, могила праматери Рахели, Бен-Гурион, Герцль на мосту, двое детей, сажающих деревья, монета времен Бар-Кохбы, символ Армии обороны Израиля, и кибуц Нир-Давид во времена «стены и башни»**. Герцль погружен в какую-то розоватую дымку, растворен в линиях могилы праматери Рахили, в сверлящих глазах Бен-Гуриона и в бледном, зеленоватом горизонте кибуца Нир-Давид на рассвете.

На второй фотографии — господин Одинокий. Он тоже во фраке и цилиндре, но на нем все сидит красиво, все выглядит как с иголочки и идет ему; в руке его трость с позолоченным набалдашником, а фоном служит монтаж: дома в Бейруте, мечеть Омара, церковь Гроба Господня, Эмпайр-Стэйт-Билдинг, этикетка бернади, отмеченного на международном конкурсе в Лихтенштейне в тысяча восемь-

* Моше Монтефиоре (1784—1885) — богач-филантроп, защитник прав евреев.

** Во время Британского мандата в районах, подвергшихся опасности, при строительстве новых поселений сначала воздвигалась стена и башня.

сот девяносто девятом году, два каменных льва, женщина в черном, банка масла, темная рука, обнимающая женщину и банку, и два восхитительных павлина, держащих в своих серебряных клювах надпись: «Юсуф Махмуд — дипломированный фотограф-художник».

Два профиля обращены один к другому, словно Господин и Нехемия ведут беседу через древние стены с сильных позиций, не подлежащих никакому сомнению, как два бумажных фельдмаршала, за которыми стоят их великие царства.

Глаза моего дяди Нехемии кажутся на выцветшем снимке светлыми и вместе с тем погруженными в какие-то сладкие сумерки. В жизни у дяди были темно-карие, почти черные глаза, окруженные фиолетовыми тенями, как у тети Шломцион Большой.

Линии правой руки были у них одинаковыми. Предсказатели и гадалки удивлялись, когда видели это. У обоих линия жизни была длинной, и были тождественны линии характера и чувства. У Нехемии и тети Шломцион Большой была ямочка на том же самом месте на левой щеке. Они были одного роста, у них был одинаковый цвет кожи — светло-оливковый и цвет волос, которые начали седеть в один и тот же день.

На фотографии, которая не похожа на него, дядя Нехемия выглядит, как бедняк, придумавший себе отца-аристократа.

Господин Одинокий, в отличие от него, запечатлен таким, каким он был: короновал себя сам, и все зря! Может быть, в этом причина моей слабости к нему и к его дочери — оба они великолепные цари из картона.

8

...Париж тысяча девятьсот пятьдесят второго. Аминадав учится в Париже. Питается кожурой от помидор. Живет в Ситэ-Плягер. Кран с холодной водой во дворе. Нет одеяла зимой, но есть старая злая консьержка, которая говорит: «Если холодно тебе, так ведь я тут». От нее пахнет чесноком, она квадратная, со светлыми мертвыми глазами. Нехемия был тогда переезжающим из страны в страну послом в Европе, а Аминадав был голодным. Бритье холодной водой

во дворе круглый год не смягчает кожу. Ночью мерзнешь. Учиться трудно.

Когда Нехемия и Шломцион прибыли с официальным визитом в Париж, Аминадав получил по пневматической почте письмо с приглашением встретиться с послом около здания Оперы в двенадцать часов дня во вторник. Все готовили его к этому событию. Одели его в лучшие одежды, учили его, как едят в фешенебельных ресторанах, что едят сначала, сколько салатов следует съесть, чтобы приобрести аппетит, сколько вина следует выпить, как погружать руки в теплую воду после еды.

Около Оперы Аминадав поцеловал напудренные щеки тети Шломцион Большой и тепло пожал руку Нехемии. Оба они, в английский костюмах, красивые и солидные. На Нехемии — черная шляпа. Они выглядят чужими на красивой площади, где красивые люди проходили по направлению к различным кафе или к «американ-экспресс».

Нехемия спросил, как учеба и что слышно, а Аминадав сказал — так, сносно, но... Она прервала его посредине «но» и сказала: «Ами плохо выглядит».

Был ясный осенний день, а тетя Шломцион, великим днем которой был осенний день, когда французское судно выпустило пять снарядов по заводу немца Вагнера, любила осенние дни. У нее было хорошее настроение. Она сказала: «Ами выглядит плохо», а не сказала: «Ами выглядит, как выжатая тряпка» или: «Почему его скряга-мать не посылает ему денег». Нехемия говорит: «Ну что? Нелегко?» И она снова прерывает его: «Ты можешь помочь нам, Ами, Нехемия устал от этих отвратительных ресторанов, где едят дипломаты и туристы. Они ужасны со своим дурацким кремом «Сюзет» и со своими официантами, похожими на клоунов и пахнущими одеколоном. Надоело нам есть улиток и пауков в противном соусе и закусывать лягушачьими лапками. Нехемия просит, чтобы ты взял нас в простой студенческий ресторан. Ты понимаешь, Ами, что-нибудь народное, подходящее нам, что-нибудь вроде парижской «тнувы»*. Мы хотим вспомнить, кто мы на самом деле, надоела нам вся эта фальшь».

* Организация по заготовке продуктов.

Нехемия не поднимает головы. И Аминадав не видит глаз, которые могли бы поддержать его.

«Ну, пойдем», — сказала она.

Аминадав остолбенел на минуту, проглотил свои надежды и сказал: «Да».

Теперь дядя Нехемия выглядел так, словно его только что вытащили из воды. Он казался печальным и утомленным. Шляпа словно приклеена к его голове. На лице необыкновенная усталость. Паутина стыда? Аминадав не мог определить. Он жалел своего дядю Нехемию, одетого, как стареющий принц. Такой культурный, такой приятный, такой красивый на фоне великолепного здания Оперы. «Может, позвать его в мою комнату, — подумал Аминадав, — показать ему, как я живу, кто я, что есть у меня. Он бы поразился, я уверен, что он был бы поражен. Но Шломцион вернется домой и расскажет маме, всем интересующимся, что Аминадав живет в дешевом борделе на заработки проституток, в грязном алькове и горестно добавит: «Вот к чему приходят бегущие из Эрец-Исраэль!»

«Возьми такси, — сказал Аминадав с наивностью, характерной для сына Шломцион Маленькой, — я знаю дешевый и хороший студенческий ресторанчик».

Но тетя Шломцион вспомнила вдруг о путешествии, которое они с Нехемией совершили двадцать пять лет тому назад, как жили они тогда в Париже, как любили ездить в метро.

«В третьем классе, — сказала она, — с милыми парижанами».

Аминадав сказал: «Они изменились с тех пор», — но она не слышала или притворилась, что не слышит. «Я хочу увидеть их, — сказала она, — мы хотим снова быть людьми, надоели нам чучела, правда, Нехемия?»

Мы поехали в метро.

Третий класс был переполнен. Нехемия страдал молча. Шломцион страдала во весь голос: «Как они могут так жить, вонять чесноком и луком, всю жизнь сидеть в такой тесноте, они моются раз в два месяца, они похожи на евреев с рынка Кармель».

В ресторане было полно художников, молодых и старых.

Стояли в очереди, пока не освободилось место. Хозяин ресторана, знавший Аминадава, вытер грязной тряпкой стол, на котором были остатки еды. Сели и обратились к официанту в белом пиджаке и пятнах, со слипшимися волосами. Они получили жидкий суп, переваренные овощи, простое вино, подозрительный сыр. Тетя Шломцион не разрешила заказать мясо в таком грязном месте. «Здесь полно микробов, — сказала она, — а ты ведь знаешь, что сифилис — распространенная французская болезнь. Тебе следовало бы пойти к врачу, чтобы он осмотрел тебя. Это тяжелая болезнь, надо следить за здоровьем, по крайней мере, пока твоя мать еще жива… Нехемия страдает из-за своего нежного желудка», — добавила она, ожидая, пока Нехемия расплатится. Она внимательно исследовала каждую копейку, даваемую официанту, и спасла два франка, которые Нехемия собирался добавить к чаевым.

«У него совсем нет головы», — обратилась она к Аминадаву и сунула франки в свой кошелек. «Это ужас, как едят французы», — сказала она. В ее словах слышалась тревога за будущее французского народа.

Они вошли в кафе. В углу висел выцветший плакат: «Евреям и собакам вход воспрещен». «Хозяин кафе любит историю», — сказала Шломцион. И потом, когда она направилась в уборную, Нехемия наклонился и торопливо заговорил. Его глаза светились любовью. Он сказал: «Я знаю, это ужасно, скажи мне, как дела. Нет денег?»

Аминадав тоже говорил быстро: «Положение — хуже некуда. Нечего есть. Стипендия еще не прибыла. Но она прибудет, одолжи мне немного. Мне нечем платить за квартиру. Я не ел по-настоящему вот уже целый месяц. И мне не к кому обратиться»,

Нехемия заторопился, вынул кошелек и начал рыться в куче фунтов стерлингов, и тут появилась тетя Шломцион. Нехемия побледнел и попытался сделать вид, что он просто играет кошельком, рассеянно улыбаясь. Она заявила визгливым голосом:

— Нехемия, это государственные деньги!

— Это мои деньги, — процедил он сквозь зубы, словно кончился кошелек его терпения.

— Государственные!

— Мои.

— Мне надоело следить за тобой, Нехемия, ты не ребенок. Ты представитель бедного правительства, а Шломцион Маленькая, известная своими связями с черным рынком, может послать своему милому сыну немного денег. Он болен сифилисом и умрет из-за отпадения члена. Шломцион Маленькая достаточно крепко связана с преступным миром, чтобы перевести сюда израильские деньги и обменять их на черном рынке. Это не твоя обязанность. На тебе лежит государственная ответственность.

Он чувствовал себя неловко. Аминадав жалел его. Он жалел также и ее.

— Нечего скрывать от Ами, — добавила она. — Он знает свою мать не хуже, чем я или ты. Кроме того, если бы он хотел зарабатывать деньги, как порядочный человек, он остался бы в стране и пошел бы работать. Но он хотел поехать в Париж, убежать из страны в такое тяжелое время. И послушай, ты ведь знаешь, что художники — а он ведь хочет быть художником — и это очень подходит внуку Симхи… Художники ведь должны знать, что такое голод… Если он хочет обязательно быть художником, а я очень сомневаюсь, удастся ли ему это, так как, кроме всего прочего, необходимо иметь также немножечко таланта, а не только быть голодным! Ведь каждому известно, что голодный художник с двумя ушами не способен рисовать, есть ли у него талант или нет, и разве Рембрандт не отрезал себе уши и не съел их? А Толстой не ел яблоки, которые он рисовал?

— Стипендия еще не пришла, и ему пока нечего есть, — сказал Нехемия.

— И пусть не будет! — заключила она. — Он истинный наследник твоего отца. Вся эта молодежь, которая убегает из страны… А кто останется? Для чего мы создали страну? — сказал она.

— Аминадав воевал во имя создания государства и был ранен… — пытался применить Нехемия новую тактику. — Не полагается ему? Не полагается ему поучиться немного?

— Живопись!? Новому государству необходима живо-

пись? Пусть изучает сельское хозяйство, строительство, химию. Живопись! Пусть осваивает земли. Его мать, это она виновата. Она знакома с Бен-Гурионом, с Ремезом, с Пинчуком из таможни. Это она сказала им: «Не называйте улицу именем Одинокого!» Напрасно она продолжает вести войну Симхи и посылает своего сына в Париж. Рисовать проституток. Стучаться в двери, просить милостыню. Новый еврей. Пинскер* Толстой с улицы Бен-Иегуда, в песках...

Шломцион тащит Нехемию на улицу. Дует ветер, быстро пролетают машины. Дома стали еще более серыми.

Нехемия остановился на минутку, застегивает пиджак, засовывает руку в карман, вытаскивает пачку сигарет «плэйерс», кладет в нее ассигнацию (скорчившись внутри пиджака), роняет пачку и делает Аминадаву знак, чтобы тот поднял ее. Шломцион стояла и придерживала шляпу. Аминадав благодарит Нехемию тайком сдержанным взглядом.

— Не беспокойся, пошлю тебе еще денег, это на первое время. Каждую ночь она считает деньги в кошельке. Скажу ей, что потерялась у меня одна бумажка, — прошептал Нехемия.

— Надеюсь, что она поверит, — говорит Аминадав.

Он поцеловал тетю Шломцион Большую в щеку, и она сказала:

— Передай привет своей матери и купи себе новое пальто. Ты очень плохо выглядишь. Мы напишем тебе, правда, Нехемия? И приди навестить свою старую тетку, — а перед расставанием прибавила: «Я должна поспать после обеда, так как вечером мы ужинаем у французского министра иностранных дел. А Лувр? Что там есть? Египетские скульптуры и картины антисемитов? Я должна поспать, Нехемия, а ты подготовь материал к завтрашней лекции».

«Красивая женщина Шломцион Большая, — думает Аминадав, — она красива, как открытый орлиный глаз».

9

Я встретил старого Нахуми в среду, когда он шел усталый по бульвару; заблудившийся человек, напрасно ищет он

* Пинскер (1821—1891) — один из руководителей «Любящих Сион» (палестинофилов).

Шломцион. Нахуми, который помнит маму, Шломцион Маленькую еще по драмкружку, когда она много лет назад играла Шуламит*, спрашивает меня, как поживает большая тетя. Он боится ехать в больницу. Для чего видеть людей с инфузиями, все эти страдания? «Я не могу, — говорит он, — все это ни к чему... Я думаю о своем сучковатом теле, сколько еще времени буду я бродить так? Я боюсь. Ты смеешься надо мной?»

«Нет, — ответил я, — я тоже боюсь».

Я рассказал ему о комнате в больнице и о большом и пустом доме Шломцион и о ключе под подушкой. Мы поговорили о парадных костюмах Нехемии, о войне из-за имени моего двоюродного брата. И вдруг я сказал с какой-то злостью, которая к лицу другим, а сейчас охватила и меня: «Она лежит там и думает о шестнадцати лирах в час, которые она платит за комнату, каждый час уменьшается ожидаемое наследство на шестнадцать лир».

Нахуми не отвечает мне в том же ключе. Он кажется перегруженным далекими и немыслимыми видениями, окруженным далекими птицами, улицами, которые уже не существуют, вновь переживает годы, которых я не знал, словно единственная ощутимая вещь в мире — это время. Он сказал: «Надо понимать Шломцион. Есть в ней что-то величественное. И в разрушении своем она разбитое божество, и в старости — она старинный дворец!»

Я процитировал Эмерсона: «Человек — поверженный бог».

Нахуми вынул записную книжку, взволнованно перелистал страницы. Его руки дрожали. Он дошел до страницы, на которой было написано «Шломцион», и записал там то, что я сказал. Он попросил, чтобы я написал ему это изречение по-английски. Я написал. «Это прекрасно, — сказал он, и положил книжку в карман, — как это правильно, насколько это подходит к Шломцион, сказано в ее славу от имени Властителя мира. Полное страсти и бури слово!»

Мы молчали и пили сок. Потом я подумал, что все мы, все те, кто знал ее (кроме ее сына Арти Бараба), любили в ней что-то, и не знаем — что, что все мы пленены очарованием

* В библии — Суламифь.

ее темперамента, дикого, необыкновенного, что ее жестокосердие, именно оно, привлекает нас.

— Ты знаешь, что она передала секретный код своих финансов старику Абрамсу?

— Судье, который находится в больнице в Раанане?

— Да, ему. Знаешь, почему?

— Стар, очень стар этот человек. И посмотри, чем закончилась и его мечта. Кто он теперь? Разбитый сосуд. В моем возрасте. Полтела его парализовано. Его сажают на горшок. Бедняга. Нет у него никого близких. Одинокий и заброшенный. Разве не мечтали мы когда-то в этом городе? Ты слышал, что говорили на похоронах? Все мы мечтали здесь. Каждый искал свой уголок в истории. Мы были цепью. В воздухе было что-то удивительное. Как ты сказал? «Поверженный Бог». Во всех нас есть что-то от поверженных богов.

Нахуми выпил еще соку. Был хороший день. Цветы опадали с лиловых деревьев. Он сказал: «И вдруг мнимо скромная внешность строящейся страны превратилась в лицо размалеванной цыганки. Большие дома. Машины. Шум. Нет понимания. Отчужденность. Большие дома. Дороги. Правительство. Но мечту не заберут у меня! Я, старик, на страже мечты. Ты знаешь, мой брат покинул страну в двадцатых годах и уехал в Америку, продавал там рубашки. Он сказал: «Чего строить и перестраиваться в стране комаров и арабов?» Он смеялся надо мной, Аминадав. Он построил дворцы на рубашки в месте, которое называется Лонг-Айленд. Шломцион сказала, что это красивое место. Я не покидал Эрец-Исраэль. В день прибытия, — а было мне тогда четырнадцать лет, — я поклялся, что никогда не оставлю эту страну. И не оставил. Даже на один день. Я живу в маленькой квартире на улице Мельчет. Этот шум, Аминадав. Однажды состоялось собрание, я прочитал о нем в «Листке пенсионера». Все присутствовали там. Это было во Дворце культуры. Ты видел, какое красивое здание? Они выглядели хорошо, одеты красиво. Приехали в больших машинах. Голда тоже была там, а я ведь помню день, когда она прибыла в страну. Мы стояли тогда в порту и видели евреев, сходящих с корабля. Это были дни упадка, уезжали

многие, а приезжали единицы. Это было в Яффе. На собрание пришли все члены партии. Было приятно. Говорили о прежних днях. Голда сказала, что самыми хорошими днями ее жизни были дни, которые она провела в маленькой кухне кибуца «Мерхавия». И Сапир* тоже говорил. Он был молодым, когда мы взяли его лучшего друга с собой в Галилею. Скакали на конях, Аминадав. И была мечта, и Сапир был тогда еще Козловским. Совсем молодым он был тогда. А Голда говорила о выборе, и о комарах, и о лихорадке. У меня слезы навернулись на глаза. Ведь мы были здесь одной семьей. Не Господин. Не Шломцион. Но все остальные. Твоя мама! Твой дедушка! Какие люди были там… И все смотрели на меня. А я выглядел там совсем не на своем месте. Я вдруг понял, что отличаюсь от них. Спина моя согнута, нет у меня машины с шофером. И одет я, как мой дед».

Нахуми повысил голос и закричал: «Я подошел к Голде, это было после собрания, все стояли там, я сказал ей — здравствуй, Голда. Она ответила мне широким «здравствуй», но глаза ее ничего не выражали. Она не узнала меня. Ее телохранители оттолкнули меня. Я хотел напомнить ей, как она однажды поскользнулась на грязи, а я… Но меня оттолкнули. Обыскали мое пальто, Аминадав. Отвели меня в сторону и обыскали. Они обыскивали старого Нахуми, который до Первой мировой войны учил сестер Шерток бальным танцам.

А Голда улыбнулась разным людям, осколкам людей, не осколкам богов, которые стояли там, и исчезла».

...Я вышел из маминого дома. Был канун субботы. Шел дождь. Я подумал: «а не написать ли рассказ о тете Шломцион?» Поехал на бульвар Ротшильда. Дома Господина стоят такие пустые ночью между толстыми деревьями с лиловыми кронами. Вдоль бульвара — машины. Я дошел до дома Шломцион. Дом безмолвен, окружен богенвилией. Во дворе вашингтония, которую посадил мой дядя сорок пять лет тому назад, когда работал в Зихрон-Яаков.

Вокруг царит тишина. Секретарши в коротких платьях, печатающие письма в трех экземплярах на пишущих ма-

* Министр финансов в правительстве Голды Меир.

шинках, взятых напрокат, танцуют сейчас в ночных клубах, или гуляют, или лежат с кем-нибудь или одни в жарких кроватях, или смотрят по телевизору детектив.

Я прокрался во двор. Почему я так боялся? Страх овладевает мною всякий раз, когда я прохожу через большие скрипучие ворота. Во дворе стоял запах мокрой травы. Ее давно не косили, и она дико разрослась. Я посмотрел на заднюю стену дома. До сих пор видны здесь следы конуры Рекса, стоявшей здесь тридцать лет тому назад. Я подождал. Не выпрыгнет ли Рекс мне навстречу, не обнюхает ли мои брюки в своей ужасной жажде любви? Здесь, во дворе, показал мне как-то Арперхшад, сын тети Шломцион Большой фотографию обнаженных девушки и юноши в заставленной антикварной мебелью комнате в Каире. И как возбудились мы тогда. И вдруг появилась тетя Шломцион со своим строгим лицом, усмехнулась и сказала сыну: «Если будешь делать это руками, у тебя не останется даже одного сантиметра, чтобы писать!» Арперхшад посмотрел на нее с беспредельной, дикой ненавистью человека, теряющего последнюю надежду. Потом он вытащил из шкафа платье, которое тетя Шломцион Большая сшила у госпожи Вирбсовской и за день до того принесла домой с исправленной талией, и бросил его в конуру Рекса.

Мой двоюродный брат бросил платье на пол конуры, положил на него две сочные кости и стал подгонять своего любимого пса. Пес был испуган, он стоял дрожа, шерсть дыбом, с языка падает слюна, и даже не прикоснулся к костям. Мой двоюродный брат кричал: «Ну наступи, наступи же наконец, кусемо, ешь уже!»

Мой бедный двоюродный брат пытался выговорить это ругательство, заикаясь, в течение нескольких минут: кусссссемммо. Пес терпеливо ждал, когда он кончит. Мой двоюродный брат покраснел от волнения. Он встал на четвереньки. На нем были штаны в три четверти — форма гимназии «Герцлия» и золотой молодежи Тель-Авива. На шее висел медальон с Бетти Грейбл, а рукава рубашки были завернуты до локтя. Он принялся лизать кости. И тогда пес глухо зарычал. Он завидовал, он выл, и вой его был яростным. Мой двоюродный брат любил Рекса больше всякого

другого существа в мире. Иногда, втайне от тети Шломцион, он спал в конуре с Рексом. Это было во время Второй мировой войны, когда мой дядя ездил в машине марки «форд-19», а люди с Бульвара Ротшильда продавали земли англичанам, строили для них военные лагеря и воровали для родины и для себя. В эти добрые времена Арперхшад спал вместе с Рексом в его конуре, большей частью летом.

Тетя Шломцион пила чай Прусского из тонких фарфоровых чашек и говорила маме, Шломцион Маленькой: «Твой сын Аминадав лазает на деревья джумс, рвет штаны, дружит с коммунистами из лагерей репатриантов и ходит к кибуцницам в Галилее; они будут там купаться голышом и делают детей старым и уродливым женщинам. А Арперхшад играет в теннис! Он фотографирует настоящих девушек в Яффе! Он ходит на вечеринки с девушками из хороших семей, которые учатся в гимназии! Когда сделаешь ты своего сына человеком?»

Наконец-то Рекс прыгнул. Сначала он страстно облизал моего двоюродного брата, а потом набросился на кости. Одну кость он спрятал под платьем и стал царапать лапой, пока в платье не образовалась огромная дыра. Спрятал вторую кость под платье и набросился на первую. Не закончил, вытащил кость, которую только что спрятал, и набросился на нее. Он менял кости с лихорадочной быстротой, и всякий раз одна из костей оказывалась под платьем, которое все больше начинало походить на сито. Дыры в платье вызывали восторг в печальных глазах Арперхшада.

И тогда в конуру ворвалась Шломцион Большая. Сначала она не сказала ничего. Посмотрела на сына с какой-то тихой ненавистью; глаза ее выражали потрясение и злобу. Она впилась взглядом в сына, пока у него не задрожали колени. Пес отступил в угол и завыл, потом залаял. Тетя Шломцион даже не посмотрела в его сторону. Он съежился, постарался прижаться к моему двоюродному брату, но тот отодвинулся от него. И тогда совершил Рекс самую большую ошибку в своей короткой жизни. Он приблизился к Шломцион и хотел подлизаться к ней; он попытался лизнуть ее ногу. Мой двоюродный брат отчаянно засвистел.

Тетя Шломцион подняла палку, на которую закрывали

конуру, один раз ударила Рекса резким ударом самурая и ушла.

Это был сокрушительный удар.

Мой двоюродный брат плевал кровью, как будто удар пришелся по нему. Рот его был сух, и из него текла кровь. Я поспешил уйти. Тетя Шломцион остановила меня на пороге дома и сказала мне: «Выйди через двор, никто не приглашал тебя сюда. Ты можешь выйти, как прислуга».

С того дня Рекс выл, привязанный на цепь, все время, пока мой брат находился в гимназии. Шломцион обливала его холодной водой и ставила ему еду на таком расстоянии, чтобы он не мог дотянуться до нее. Лишь вечером мой двоюродный брат приносил ему поесть.

Когда в конце учебного года Арперхшад уехал на школьную экскурсию в Галилею на пять дней, Нехемия украдкой приносил Рексу еду. Но пес не дотрагивался до нее. Он ухитрился дотянуться вместе с цепью до велосипеда моего двоюродного брата и лежал там. Он умер на пятый день около велосипеда, который не оставлял ни на миг, за два часа до того, как мой двоюродный брат вернулся с экскурсии.

Вернувшись с экскурсии, усталый и обожженный солнцем, Арперхшад увидел Рекса, растянувшегося около велосипеда. Он приблизился к нему и стал его гладить. Рекс был еще теплым. Морда его не исказилась, словно он ждал успокоения и нашел его.

Мой двоюродный брат сидел возле мертвой собаки с рюкзаком за спиной, с опаленным солнцем лицом и говорил: «Рррррркккккккк». Он произносил эти две первые буквы имени своей мертвой собаки сорок пять минут. До «эс» он так и не дошел.

Конуры больше нет. Лисицы бродят там по наполненным печалью домам разваливающегося города, убегающего на север, плачущего об игрушечных, красивых и сладких домах наивных строителей Тель-Авива.

Я хочу написать о тете Шломцион Большой, находясь в самом центре сцены, вокруг которой создавали первые строители Тель-Авива свой город, среди домов, похожих на осевшие и заброшенные дворцы картонных принцев. Она

создала угасшего сына. Создала сына. Создала. Потом в процессе создания, может быть, погасила его, задула огонек. И вот он заикается, полон страха, защищает отверженных миром, жизнь его держится на булавках, каждую минуту может развалиться. Я хочу понять, что же движет тетей Шломцион?

Двор наполняется пробуждающим воспоминание запахом легкого дымка, мокрой травы и жареного кофе. Острый запах бензина доносится с бульвара, смешивается с благоуханием богенвилий, и я вспоминаю Нехемию. Нехемия в субботу после полудня сидит во дворе в удобном кресле и читает книгу. Я думаю о побитом Рексе. Несчастное выражение его глаз. Ни один человек никогда не смотрел на меня так, как смотрел Рекс в тот момент, когда Шломцион ударила его. Очки Нехемии. Удар. Мой двоюродный брат, произносящий в течение сорока пяти минут — рррррккккккк. И Шломцион, говорящая моей маме, Шломцион Маленькой: «Я зачала сама и от себя». Понимаю. Вдруг я понимаю. Предложение: «Зачала сама и от себя» — приобрело явный смысл. Она родила себя, чтобы больше не изменяться, чтобы высечь себя из камня, установиться окончательно в системе непрестанных изменений жизни. Она родила себя, чтобы воссоздаться в том образе, который был уже отчеканен внутри нее.

Мне захотелось войти в дом, пощупать стены, посмотреть марки, пожалеть женщину, которая мстила всю жизнь, а теперь осталась такой одинокой. Я открыл отмычкой не дверь дома, а подвал. Вошел внутрь Я был полон любви к насыщенной злом Шломцион Большой. Я осветил подвал фонарем. Там были старые платья, вешалки, старая мебель, сгнившие книги моего дедушки и запас продуктов. Когда купила? Когда сделала запас? Для чего? Там было пять больших ящиков геркулеса. Там было геркулеса на десять лет. Было там два ящика стирального порошка, ящик с обручами для бочек, маленькая коробка растворимого супа и десять ящиков с защепками для белья. Этих защепок было достаточно для сотни семей, чтобы повесить белье, которого хватило бы им на всю жизнь, даже если бы они меняли его каждый день.

Когда я сообщил маме, что хочу написать повесть о тете Шломцион Большой, она улыбнулась улыбкой, в которой не было заметно печали тех, кто заворожен жестокостью Большой тети.

Шломцион Большая не читает. Даже когда она была в расцвете сил, она читала очень мало. Дядя Нехемия умер, а мама почувствует себя несколько обойденной, оставшейся в тени, и попытается смеяться в тех местах, где тете Шломцион воздается милостью за все то зло, которое она делала ей всю ее полную горя и отчаяния жизнь.

Таким образом, здесь не имеется в виду месть. Это просто исследование о зле, великом зле, блестящем и очаровательном.

19

Из своего больничного окна Шломцион видит птиц. Мама утверждает, что Шломцион Большая никогда не говорила о птицах. Теперь она наблюдает за ними в течение долгих часов. Она видит их позади двух портретов, стоящих на тумбочке: на одном — господин Одинокий, капитан мира, на другом — Нехемия, одетый, как клоун. Шломцион начала замечать птиц в возрасте семидесяти шести лет. «Почти семидесяти семи», — сказал я, а мама повторила это со странной радостью.

Врач с модной прической не любит птиц. Он осматривает слабую женщину и не замечает, что в ее глазах порхают птицы. Может быть, и Шломцион близка к какому-то мгновению покоя, который так необходим ей.

В ее глазах что-то начинает умирать. С того времени, как она открыла птиц и начала чирикать им — чик-чирик, я заметил, как исчезает и затухает в ней то великое и непонятное, что заставляло всех нас одновременно чувствовать смущение и восторг. Она сидит в кровати, обходящейся ей в двенадцать тысяч лир в месяц, а в окне порхают птицы, прилетающие клевать крошки, которые медсестра оставила для них по ее неожиданному распоряжению. Она сжимает свой красивый рот, сочетание шелка и камня, и произносит: «Чик-чирик!» Но глаза ее потухли, а может быть, потушили что-то, и это что-то кажется вдруг таким значительным в своем отсутствии, таким поразительным в своем умирании!

Мы с мамой сидели у тети Шломит и пытались вместе выяснить все касающееся тети Шломцион Большой. Трое, не являющихся наследниками, трое сдавшихся. Мы решили написать письмо ее сыну Арти Барабу. Шломит писать отказалась, мама колебалась. Я написал его сам, написал, что Шломцион вдруг потухла. Что однажды она закрыла глаза и встала с другими глазами. Что она больше не говорит неприятности, а только жалуется, утверждая, что мы не хотим укрыть ее ночью одеялом или что мы скрываем от нее. «Послушай, — написал я ему, — она больше не говорит мне, как плохо я выгляжу, она не обвиняет меня в краже марок, она даже не помнит уже, где находится ключ от ее дома. Я советую тебе приехать. Я знаю, — писал я ему, — что ты чувствуешь и какова была твоя жизнь и как ты страдал из-за нее. Я знаю, что она исключила тебя из своего завещания, хотя я никогда не видел ни одного из ее пяти завещаний, но, — писал я ему, — она твоя мать, единственная мать, которая была у тебя, и ты должен приехать, чтобы увидеть ее. Ты должен приехать, даже под другим именем, и попытаться найти опекуна, который спасет для тебя хоть что-нибудь из того, что тебе полагается, по крайней мере акции Нехемии, принадлежащие тебе. А дом? Что будет с домом?»

Арт ответил мне не сразу. Я написал его другу, чтобы тот попытался поговорить с ним. Друг написал мне, что Арт выглядит очень запущенным, что он расстался с женой, что он пытается спасти своих детей от того, что он называет «проклятие моей матери». Арт путается, писал этот друг, с молодой девчонкой, лет двадцати двух, на двадцать четыре года моложе Арта. Он называет себя Арперхшадом в те странные, полные грусти и печали моменты, когда чувства охватывают его и он пытается выудить себя, как и его мать, из зеркала в золотой оправе, или с поверхности сцены, залитой ослепительным светом. В противоположность своей матери, может быть намеренно, он любит весь мир в красках, а себя ненавидит в черно-белом цвете.

Я понимаю его. Пятнадцать лет назад тетя Шломцион решила посетить своего сына в Штатах. Она подробно написала ему в письме, что заставило ее поступиться своей гордостью и приехать к нему. Она написала ему, что хочет посмотреть, можно ли спасти его. Она хочет встретиться с внуками, чтобы знать, оставить ли им книги, унаследованные ею от отца, а также кое-что из мебели. Она написала ему, что хочет понять, что заставляет его считать японскую проститутку своей женой и почему он упрямо продолжает производить на свет монголоидов, в которых и так нет недостатка.

Хамуталь, моя сестра, была тогда в Америке. Она ехала из Сан-Франциско в Нью-Йорк и застряла у Арти в Чикаго. Она нашла его погруженным в депрессию. Дети стояли, сгрудившись вокруг фотографии бабушки, и Арти пытался объяснить им, что это существо, называемое бабушкой и говорящее на чужом языке, должно прибыть через несколько дней и что они должны вести себя соответственно его указаниям. Дети боялись ее. Они не знали ее, но их вид свидетельствовал о том, что они, мягко выражаясь, не стремятся к встрече с ней.

Одна из дочерей Арта была действительно больна. Она была удивительно красива и физически развита. Звали ее Мелисанда. У нее было какое-то необъяснимое сходство со Шломцион и Мирьям, матерью Шломцион. Она была третьей женщиной в этой цепи, и сходство с двумя первыми звеньями было полным. Я сказал Арту, что никогда не видел, чтобы внучка была так похожа на бабушку. Он вздрогнул и спросил: «Поччему?»

«Если бы ты видел, — сказал я Арту (он же Арперхшад), моему двоюродному брату, — ты бы понял, какое чудо произошло тут».

Но Арт был великим специалистом по ценным бумагам, а не по чудесам. Он почти разучился говорить на иврите. Он боролся с болезнью своей дочери и потерпел поражение. Она была очень агрессивной и удивительно красивой девочкой, какое-то разукрашенное несчастье. Он боролся с ее болезнью, пока не расстался с женой и не потерял все свои деньги, потом попытался снова подняться, и это удалось ему, снова оказался прижатым к стенке, и успокоился наконец.

Арти Бараб был здравомыслящим американцем. Он был блестящим картежником, кубиюстусом* ценных бумаг и акций. Он занимал важный пост в фирме по ценным бумагам в Чикаго, в фирме, которая никогда не держала у себя ни одного еврея, так сказал он мне с гордостью, даже еврея, перешедшего в христианство. Он говорил на прекрасном английском и так вжился в историю Соединенных Штатов, что плакал каждый раз, когда вспоминал об ужасной пуле, которая убила президента Линкольна более ста лет тому назад.

А на иврите он заикался всю жизнь.

Бывшая жена моего двоюродного брата успешно работает в Массачусетсом университете и, может быть, даже жалеет Арта, с которым прожила почти двадцать один год. Яд Шломцион так глубоко ее ранил, что она была вынуждена оставить его. Однажды вечером, сильно напившись, он назвал ее, мать четверых его детей, японской проституткой

Когда Шломцион решила посетить своего сына, он был еще женат на Сандре, своей жене и матери четырех его детей. Моя сестра Хамуталь ехала тогда из Сан-Франциско в Нью-Йорк и задержалась на несколько дней в Чикаго, где довольно приятно провела время в доме Арта. Когда она была в Чикаго в промежутке между экскурсиями, прибыло письмо от Шломцион.

Шломцион в конце своего письма написала, что, насколько она понимает, кто-нибудь, то есть сам Арперхшад, встретит ее в аэропорту в Нью-Йорке и оттуда доставит ее в Чикаго. «Я еще могу перепутать, — писала она, — и сесть в самолет, летящий в Россию или что-нибудь в этом роде, и никто ничего не узнает о моей судьбе».

Арт был озабочен и испуган. Он утверждал, что не может лететь в Нью-Йорк, чтобы встретить мать, по нескольким причинам. «Это глупо, — сказал он. — Она прибудет самолетом компании «Эль-Аль», сойдет с самолета, пройдет несколько сотен метров, поднимется на самолет с оранжевыми стюардессами и прибудет в Чикагский аэропорт».

---

* Игрок в кости

Почему он должен лететь в Нью-Йорк и ждать там взрослую женщину, которая выезжает за границу не в первый раз? Разве только для того, чтобы пересадить ее с одного самолета на другой?

Арт был тогда в стесненных денежных обстоятельствах. Эта ненужная трата казалась ему слишком большой.

Он боялся быть наедине с матерью.

Хамуталь внесла неудачное предложение, которое дорого ей обошлось. Сочувствуя своему двоюродному брату, она изъявила готовность (по чисто женской способности не усложнять излишне дела) быть в аэропорту Нью-Йорка и встретить тетю Шломцион, проводить ее к самолету компании «Юнайтид Эарлайнс» и отправить ее к сыну.

Хамуталь рассталась с Артом и Сандрой и вылетела в Нью-Йорк. Дождливым и бурным воскресеньем она переходила из одного китайского ресторана в другой и со все более смутным (из-за вина) интересом читала свое будущее, свернутое в маленькие бумажные свитки, которые попадались ей в пирожках, называемых «пирожками судьбы».

И вдруг в одно мгновение, словно отрезанный машинкой Стейнбека, за которой провела Хамуталь многие часы, разрезая пленки, дождь прекратился.

Самолет приземлился в вымытом аэропорту при почти ясном небе. Красные сумерки сияли в конце неба.

Когда тетя Шломцион Большая, одетая в великолепный шерстяной костюм, с волосами, собранными с помощью тысячи маленьких шпилек, обнаружила Хамуталь, она разразилась криком, и весь аэропорт затаил дыхание.

«Где Арперхшад? — кричала она. — Где он? Неприлично ему? Почему ты? Кто просил тебя? Кто послал тебя? И вообще — кто ты? Что ты привязалась ко мне? Уходи отсюда, уродина, ты и твоя мать. Может быть, и она здесь? Она готовит мировую революцию, чтобы отнять у меня немного денег, которые еще остались у меня! Иди, иди!»

Она будет ждать тут, говорит она, пока не появится ее несчастный сын. Она кричит: «Приведите его! Что он себе думает? Кто эта дура? Кто она?» Шломцион садится вдруг на скамейку, стоящую на полпути от самолета до зала

ожидания. Она не сдвинется с места. Слезы подкатывают к горлу Хамуталь и душат ее.

Шломцион врывается к начальнику. Она хочет говорить с самым главным тут, с мэром города. Она знакома с президентом, она была на дипломатической работе, она знакома с людьми! А до тех пор она будет сидеть здесь.

Управляющий отделением «Эль-Аль» — немолодой вежливый человек. Он привык к необычным историям, за это получает зарплату. Она на мгновение поднимает на него глаза и спрашивает: «Как тебя зовут?»

Хамуталь пытается поднять чемодан, Шломцион ударяет ее по руке: «Не укради! Ты и твоя мать! Внучки Симхи! Руки у тебя точно, как у Нафтали! Что делаешь ты рядом с дочерью Господина? Ты даже не знаешь его… Послушай, я ведь знаю твое имя», — говорит она, резко повернувшись в сторону начальника отделения.

— Госпожа, пройдемте в контору и все уладим, — сказал он. — Ведь всякую проблему можно решить.

— Как ты сказал тебя зовут, красавчик? — спросила она.

— Макс Эврон, — ответил он.

— Макс Эврон? — Она произносит эти слова медленно-медленно, лицо ее просветляется, какое-то особое шломционовское сияние появляется на мгновение в ее глазах. — На кого ты пытаешься произвести здесь впечатление? Сын Макса. Имя твое, чтобы не сглазить, Ахиасаф Мапай*!

Начальник отделения краснеет. Родиться с таким именем! Она меряет его взглядом:

— Послушай-ка, ты думаешь, я тебя не знаю? Твоя тетка Керен-Пуховка пришла на похороны Нехемии только потому, что хотела поехать на кладбище бесплатно, чтобы задавать твоему отцу безнравственные риторические вопросы, вроде любит, не любит?.. Я всех вас знаю, послушайка, Мапай ты этакий…

— Здесь я Макс Эврон! — прошептал он.

— Будь ты кем угодно! Я с места не сдвинусь. Приемная дочь приемной сестры моего несчастного мужа прибыла сюда, чтобы обмануть меня. Ты спасешь меня!

Шломцион и Хамуталь шагают в направлении зала ожи-

* Мапай — Рабочая партия Израиля.

дания, садятся на одинокую скамейку, освещенную флуоресцентным светом, и молчат. Хамуталь говорит:

— Послушай, тетя, Арт не мог приехать. Мелисанда в тяжелом состоянии, он бы приехал, несмотря ни на что, если бы не знал, что я лечу в Нью-Йорк, и он думал...

— Он не способен думать, и ты не рассказывай мне сказки!

— Он думал, — снова повторила Хамуталь, — что это не так уж страшно, если кто-нибудь из семьи будет здесь, чтобы встретить тебя. Смотри, я всего-навсего сажаю тебя в самолет, находящийся в ста пятидесяти метрах отсюда и вылетающий в Чикаго через двадцать минут, и через несколько минут ты приземлишься в Чикаго и упадешь прямо в объятия Арта.

— Его зовут Арперхшад!

— В объятия Арта.

— Скажи — Арпершхада!

— Арперхшада.

— Им не подходит. Ассимилируются. Посмотри, что случилось с этими ассимилировавшимися. Все умерли у Гитлера.

— И неассимилировавшиеся умерли, — сказала Хамуталь.

Шломцион с опаской наблюдает за Хамуталь. Удивляется, что делает здесь эта девочка. «Господи, она уже не девочка. Они вырастают! Они буду рожать детей!»

— Ассимилируются, — говорит она. — И послушай-ка, ты, я возвращаюсь в страну, домой!

— Нет, ты не можешь, он ждет тебя.

— Послушай-ка, я возвращаюсь.

И она встает. Хамуталь пытается усадить ее. Напрасно. Она устраивает отчаянную сцену, протягивает руки, плачет, собирает новых зрителей, снова страдает на глазах у всех. И только после этого опять садится, а Хамуталь бежит принести ей воды, потом стакан чаю, и она платит за Шломцион, а Шломцион хочет также и бутерброд, надкусывает его и бросает в мусорную корзину, потому что он ужасный.

Хамуталь колеблется — может быть, позвонить Арту?

Решает, что не нужно. Она телеграфирует Арту новое время вылета, меняет билеты, выясняет точное время отправления, а тетя Шломцион думает: может быть, сын хочет убить ее? Она покупает страховой самолетный полис на имя царя Ахава, адрес: Самария, Самаритянское царство. Она не думает, что это смешно, и спрашивает Хамуталь, что это за звуки она издает, и когда Хамуталь говорит, что это смех, она заявляет, что ничего смешного тут нет. «Надо мной не смеются», — говорит она, и быстро шагает (а Хамуталь семенит следом за ней) к другому столику, где она снова пробует бутерброд и снова бросает его и снисходительно позволяет Хамуталь заплатить за нее.

— Чикаго — это не дикий Запад со всеми его антисемитами?

Хамуталь объясняет ей, что Дикий Запад расположен западнее Чикаго.

— А все эти грабежи и постановления шерифа, как его зовут — Гарри Купер?

— Это артист, — говорит Хамуталь. Она рассеянна, в глазах ее тоска, она ждет спасительного самолета.

— Я должна соблюдать осторожность, — говорит Шломцион плачущим голосом и все время вытирает глаза, вспоминая свое сиротство и все, чего лишил ее сын. — Есть у меня один-единственный сын, — говорит она, — и он не хочет видеть меня. Есть у меня только один сын. У тебя ведь двое, нет?

— Да.

— А у меня один. И он отказывается видеть меня. Я прибыла к нему с расстояния в сто миллионов световых лет, а он отказывается. Я носила его под своим сердцем. Его отец не признавал его в течение двух лет. Его называли «этот». Этот ребенок не знает благодарности. Он не знает, чем я пожертвовала ради него. Я почти потеряла любовь Господина, а родной отец отказывался признать его, вся семья, включая твою мать, отказывалась признать его. Он рос в моей комнате. Я была осаждена в моей комнате, как в крепости. Они хотели похитить его у меня, — сказала она и огласила пустой зал взрывом горьких рыданий. — Он ненавидит меня. Он посылает мне странных посланцев... Ты

знаешь что? Я поеду к нему, но только в том случае, если он снова станет евреем!

— Он еврей, Шломцион, — сказала Хамуталь.

— Ты уверена? Потому что в Грецию я не поеду. Однажды Нехемию пригласили в Грецию, и я тоже поехала. Они там все злодеи. Ты уверена, что в Чикаго безопасно?

— На все сто, — сказала Хамуталь.

И потом она полетела в Чикаго. Хамуталь осталась одна, в голове ее тикало сто часов. Она думала: «Эта женщина! Ее странные речи. Они непродуманны, они неосторожны. Она пытается проникнуть в душу ближнего с помощью заостренных копий, дотронуться до чего-то скрытого глубоко внутри и подчинить его своим мыслям».

20

Аминадав Сусэц* был тогда мальчиком в возрасте десяти с половиной лет. (Отец, Нафтали, говорил — ему — полодиннадцатого.) Однажды он получил письмо от тети Шломцион Большой. Она писала ему, что надеется, что он придет навестить ее. Был жаркий летний день. Он ехал на своем красном велосипеде марки «пежо» и видел ребят, которые катили на «рали» с азартом в глазах, и думал: «Почему именно у меня красный французский велосипед «пежо», а не «рали»?»

Шломцион угощает его соком. Аминадав удивляется: почему она пригласила его, тетя Шломцион? Почему она предлагает ему сок? И в этот момент она начинает ходить «вокруг да около куста роз», по выражению моего папы, и в конце концов опускается, точнее обрушивается на него с вопросом, который мучает ее, как видно, уже несколько месяцев: «Что собирается мама, Шломцион Маленькая, подарить Яире на свадьбу?» Аминадав делает вид, что не знает. Еще нет.

Яира — дочь брата Шломцион, и, несмотря на то, что она не разговаривает со своим братом с семнадцатого года, Яиру она как-то еще приняла. Она не думает, так говорит тетя Шломцион, что Яира особенно красива или умна, и даже неважно, что она потомок господина. Главное, что она

* Сусэц — Конек (деревянный) — отсюда фамилия Канюк.

вернулась в страну по своему желанию и теперь выходит замуж за молодого человека из Эрец-Исраэль. Свадьбу устраивает ей Господин в своем большом доме на бульваре, напротив дома Шломцион.

Аминадав не знает, какой подарок решила преподнести мама, но и это он не собирается открыть просто так, ни за что. Он размышляет, не стоит ли ему придумать что-нибудь и посмотреть, какое впечатление это произведет на тетю прежде чем он скажет ей правду.

«Мама купила Яире ролики», — сказал он тете Шломцион.

Шломцион посмотрела на него долгим взглядом, размышляя над тем, что он сказал. Она знала, что мама Шломцион не купит Яире, выходящей замуж в доме Господина Одинокого, ролики, но она знала, что если Аминадав сказал «ролики», то это означает, что мама Шломцион собирается купить дорогой подарок, ибо что могло быть дороже для уличного мальчишки, вроде Аминадава, мальчишки из лагерей репатриантов, который носит синюю рубашку и верит всем этим идеям и коммунистическим глупостям, чем ролики.

«А, — сказала она, — ролики? Это прекрасно, Ами, если так, то я куплю ей ошейник».

Аминадав молчал. Он знал, что ошейник покупают только собакам. Шломцион не была известна в качестве большой любительницы собак. Но он понял, как всякий, кто всю жизнь вынужден противостоять Шломцион большой, что, если она сказала «ошейник», то это значит, что она подразумевает что-то ошеломляющее, что должно затмить подарок мамы.

Дома он все рассказал о случившемся. Мама Шломцион задала много вопросов. Она хотела знать дословно, что сказала Шломцион Большая, каким тоном, сколько времени молчала, прежде чем ответила на его слова, и как именно произнесла она слово «ошейник». Сказала ли она «ошейник для нее», или «ошейник ей на шею», или просто «ошейник».

Следствие продолжалось около часа. Потом тетя Шломит и мама Шломцион закрылись в комнате. Они долго шептались (несколько позже они рассказали папе, а папа не

удержался, громко рассмеялся и открыл все Аминадаву), что когда тетя Шломцион услышала слово «ролики», она решила, что мама Шломцион собирается подарить Яире настольную лампу на ножке.

Почему?

«Потому что, — сказала тетя Шломит, — ведь тетя Шломцион не поверила ни на минуту, что Аминадав знает, что собирается купить мама Шломцион. Если бы он знал, то сказал бы что-нибудь определенное, даже если бы хотел соврать. Следовательно он не знает. Если так, то что же он не знает? Он не знает, хочет ли она купить браслет, или золотые часы, или что-нибудь из мебели. А если бы проснулось в нем загнанное внутрь чувство собственности, присутствующее во всех нас, говорит тетя Шломит, то тогда бы он сказал — велосипед, ведь кому не известно, что он только и мечтает о том, чтобы получить черный велосипед «рали» вместо красного велосипеда «пежо».

Тетя Шломит, которая взвесила все эти факты, сказала, что слово «ролики» было расшифровано тетей Шломцион, как нечто сделанное не из золота, но это и не мебель, нечто, в чем есть блеск, но что не употребляется для сидения, стояния или лежания, ведь ролики не пригодны для этих трех состояний. Но все-таки — какое преимущество есть у роликов?

Короче говоря — настольная лампа на ножке.

Телефонный звонок назавтра показал Аминадаву, насколько смекалиста была несчастная тетя Шломит. Шломцион Большая позвонила, чтобы спросить, «просто так», сказала она, поправился ли мой отец, Нафтали, уже от дифтерита.

Мама сказала, что он уже поправился и чувствует себя гораздо лучше, но что это было три с половиной года тому назад, и зимой, а не летом.

Тетя Шломцион Большая даже не ответила на этот тонкий намек. Она пробормотала что-то о болезнях, которые немцы привезли с собой в страну, и добавила:

— Они думают, что имя Арперхшад не годится, а что в отношении Баг-Баг?

- Кого?

— Баг-Баг, — сказал тетя, удивив маму своими познаниями: — отец Тана! Не слышала?

— Нет, — ответила мама.

— Так вот, Баг-Баг не менее смешно, чем лампа на ножке, которую покупают на рынке Бецалель!

— Нет ламп на ножке на рынке Бецалель, — сказала мама поспешно и добавила: — что это вдруг лампа на ножке!

— Послушай, Шломцион, — сказала Шломцион Большая, — не вздумай привезти подарок на грузовике, это не произведет впечатления ни на Господина, ни на наследство, которое я предполагаю в один прекрасный день не оставить тебе, и не пытайся поразить молодую девицу, очень милую, но глупую, как дед моего сына со стороны отца, которого ты не знала достаточно хорошо, потому что с тобой — и ты, может быть, была единственной девушкой в Тель-Авиве и Яффе, которая может притвориться наивной в этом отношении — он не пытался флиртовать!

— Делать что?

— Флиртовать, — сказала тетя своим звонким, резким голосом, полным смешного испуга, но без смеха. — Флиртовать! Ты что, собираешься обмануть меня и Господина? Так знай, что лампа на ножке не заставит упасть Яиру под хупой*, и никого это не сможет поразить. Господин, например, купил ей на свадьбу красивый Большой дом на улице Карла Нетера с тремя дополнительными квартирами для сдачи в наем. Дом куплен на ее имя, и она сможет жить на деньги с этих квартир и тогда, когда ее глупый муж умрет или исчезнет, как многие мужья, а может быть будет немцем и будет шпионить в стране для Гете или Бетховену как один человек, которого случайно зовут Нафтали и который называет меня Ксантиппой, но не знает, какой конец я уготовила ему!

— Чей муж? — мама Шломцион была совершенно ошеломлена.

— Муж, за которого она выходит замуж послезавтра, — взвизгнула Шломцион, — новый муж, который будет хорош на некоторое время, до тех пор, пока Господин не найдет Яире подходящего мужа.

---

* Свадебный балахон.

— Но почему лампа на ножке, — удивлялась мама. — Почему? Я вовсе не собираюсь покупать стоячую лампу!

— Так ты покупаешь ролики? — сказала тетя Шломцион Большая и бросила трубку.

Яире на свадьбу мама Шломцион купила патефон. Об этом никто не подумал. Чтобы купить патефон, маме пришлось отложить восемь зарплат, но удар того стоил! Шломцион большая купила на рынке Бецалель маленький столик, и столяр приспособил на нем палку, на которую древний старик-монтер подвесил патрон для лампочки. Эту лампу надо было спрятать не только по причине ее странной и мрачной красоты, но также из-за ненадежных и опасных контактов. «Даже при взгляде на нее, — сказала тетя Шломит, — можно умереть от электрического удара».

На свадьбу Аминадав прибыл на своем велосипеде. Он был в синей рубашке и коротких штанах.

В вестибюле сверкали люстры. Дом выглядел, как дворец: великолепные костюмы, длинные платья, волочащиеся по мраморному полу. Все, что он читал о заходящем и угасающем мире, против которого он боролся в своей синей рубашке и на велосипеде «пежо», открылось перед ним во всем своем великолепии на Бульваре Ротшильда в Тель-Авиве.

Все это было странно на фоне песков и виноградников, где бродили лисицы. Играл оркестр, и люди танцевали вальсы и танго. Аминадав стоял в стороне, никто не обращал на него внимания, как на окурок папиросы, который бросили по ошибке. Он наблюдал за ними, он думал: «Действительно ли я вижу то, что я вижу?»

Дом жужжал. Там были британские офицеры в белом, увешанные яркими орденами, там были богатые купцы из Яффы и Иерусалима, и из Заиорданья, и даже из Бейрута. На улице стояли великолепные черные машины, и шоферы играли в карты на бульваре.

Отец невесты искал Шломцион по всем комнатам, а она избегала его. Нехемия пил красное вино и играл в шахматы с английским сэром, секретарем правительства здесь или за Иорданом. Яира была очень красива. На ней было белое шелковое платье, длинное-длинное, без оборок, гладкое

платье, и изгибы ее тела казались такими изящными, таинственными и сладкими.

Аминадав не спускал с нее глаз, стоя в стороне в своих коротких штанишках, синей рубашке и с растрепанными волосами. Мама праздновала патефонную суматоху. Шломцион ходила от одного к другому и рассказывала, как мама украла патефон у господина Дизенгофа, мэра города, несколько опьяневшего и слишком нежно гладившего черные волосы Яиры, которая стояла бледная и не отрывала взгляда от своего молодого мужа.

Муж Яиры переходил от гостя к гостю и говорил: «У меня есть патефон».

Он был пьян.

Он не знал, что он женится на самом деле.

Яира жаждала любви. Позже она познает многих мужчин, которые будут пытаться обладать ею только потому, что всю жизнь она будет считать себя достойной того, чтобы каждый мужчина немного любил ее. Она была девушкой очень красивой, очень испорченной и очень наивной.

Она и теперь живет в своем доме на улице Карла Неттера. Она одинока, она не навещает Шломцион в больнице, она ненавидит Шломцион. Шломцион сообщила трем ее мужьям имена тех, кто обладал ею. Шломцион сделала это, так она сказала Яире, потому что считала, что все должны знать обо всех.

Но сейчас выходит Яира замуж в первый раз. Она кажется сияющей и в то же время печальной. «Она вовсе не была девушкой», — намекнула Шломцион маме.

Тетя Шломцион знала также и это.

21

Семь дней стояла страшная жара. Дул ветер из пустыни, и было невероятно сухо. Люди скрылись в домах и плотно затворили окна и двери. В течение семи дней тетя Шломцион сидела, закрывшись в хамсинной комнате. Она не слушала радио, не читала. Она пила холодный лимонный сок и думала о запущенном дворе. Она видела сходящих с ума котов, а в ее видениях проносились господа и дамы из

огромного дома, снова выходящие в ухоженный двор играть в теннис. Но на самом деле их уже не было там.

Секретарши в коротких платьях перепечатывали в комнатах с кондиционерами письма в трех экземплярах к несуществующим клиентам. Молодые адвокаты выглядели усталыми. Дом окружен дико разросшимися кустами, сухой травой и мертвыми вьющимися растениями. Шломцион ждала приезда Арти Бараба и его семейства. Это было через три года после смерти Нехемии.

Утром позвонила мама, Шломцион Маленькая, и Шломцион Большая сказала ей, что если мы хотим, то можем прийти, когда захотим, и бросила трубку.

Назавтра, после полудня, через два часа после прибытия Арта, мне позвонила мама. «Арт просил, чтобы мы пришли немедленно, — сказал она. — Он приехал два часа назад».

— Ужасная жара, — говорит он. Он сидит с Шломцион в доме, он очень хочет видеть родственников, он пробудет здесь две недели.

— Три недели, — поправила его мама.

— Сегодня утром я решил — две недели, — сказал он очень устало и начал заикаться.

Мама позвонила мне.

Мы прибыли туда в три часа. В «хамсинной» комнате, затененной и прохладной, сидел Арт Бараб, его жена Сандра, двое близнецов и старшая дочь. Мелисанда осталась в Штатах. Когда мы пришли, Арт прошептал мне на ухо, что они пробудут в стране два дня, они возвращаются, извинялся он (а лицо его выражало тоску), потому что случилось нечто непредвиденное. Он должен возвратиться.

Трудно было обвинять его.

Комната казалась очень тесной, все сидели вокруг какого-то воображаемого центра и молчали.

Мы обнялись, расцеловались, произнесли вежливые и прочувствованные слова. Познакомились с детьми, поцеловали напудренные щеки Шломцион и потом сели. Воцарилось враждебное молчание. Близнецы смеялись и говорили по-английски с акцентом, характерным для Среднего Запада. Глаза Сандры были полны сухих слез.

Шломцион смотрела перед собой. Она стерла мой поцелуй со своей напудренной щеки и казалась такой красивой на фоне затененной комнаты. Там висела фотография Нехемии, когда он был студентом в Америке. Шломцион начала говорить. Она обращалась ко мне. Комната была полна сдерживаемых страхов. Сандра смотрела на Арта, Арт смотрел в пол. Близнецы хихикали. Мама разносила прохладительные напитки. Тетя Шломит принесла близнецам конфеты, хотела завоевать их сердца. Они боялись ее. Она обиделась и уселась вязать носки.

Шломцион начала говорить. Обращалась ли она ко мне?

«Мой сын, — сказала она, — сколько лет он не был тут? Может быть, пятнадцать, нет, больше. Он приезжал на минутку, чтобы увидеть своего отца и исчез. На похороны не явился. На мои похороны он приехал. Сегодня. Он ждет наследства. Неужели только для этого он причинил беспокойство своей наложнице и этим мамзерам*? Они имеют сходство с кем-нибудь из семьи? На кого они похожи? Посмотри на них. Внуки Господина. Как они говорят по-английски! Он даже не научил их ивриту. Почему? Подойдите сюда, сладкие мои близнецы: Я, ай эм йор бабушка!»

Они не обращаются к ней. Старшая улыбается, Что-то уже сломано в ней. Шломцион говорит: «Подойдите к гранма**, может быть, у нее есть что-нибудь для вас». Они не подходят, только смотрят на нее. Она сидит, как хозяин, как дуб, пустивший глубокие корни. Она распространяет ненависть. Она пропахивает комнату взглядом с каким-то враждебным удовольствием. И мрачнеет. Я влюблен в тебя, старуха. Она знает, всегда умела почувствовать запах пота попавшихся в ее западню, а я захвачен ее могучим, но потускневшим очарованием. Она может обмануть меня, но не завоевать меня. Она знает мне цену именно потому, что я не имею в ее глазах никакой цены.

Она говорит: «Посмотри на его жену, посмотри, кого он привел ко мне. Молчит. Они приехали и уже уезжают. Почему? Страна не хороша? Хамсин им не нравится? Как будто в Чикаго климат лучше. Там страшный снег зимой и

---

* Незаконнорожденным.

** Бабушка (фр.)

хамсин летом. Кто этого не знает? Чего они хотят от меня? Ты знаешь, Ами, когда-то была одна женщина, госпожа Крабсански, она жила на улице Яркон. Была у нее квартира из четырех комнат с тремя окнами, выходящими на море. Не на море антисемитов в Чикаго, а на море евреев здесь, в Тель-Авиве... Она отделала комнаты тканью. Как называются обои на иврите? Нет такого слова. Жаль, что доктор Буграшев умер. У него были слова для каждого предмета. Там я встретила Нехемию. Было тогда время, очень насыщенное и полное надежды время. Но не для Арперхшада и его жены и не для его неоднояйцевых близнецов. Почему бы им не быть хотя бы похожими друг на друга? А Дизенгоф не ухаживал за мной? Представь себе, все ухаживали за мной. Даже тогда, когда я вела упорную борьбу и не уступила упрямому желанию Нехемии забрать у меня сына. Посмотри, за кого я боролась. У него вылезают волосы. Он смешон. Он не похож ни на меня, ни на Господина, ни на Нехемию. Может быть, он родился не у меня. Он заикается. Он первым делом стал искать конуру своей собаки. Он думал, может быть, что я живу в конуре? Он невоспитанный человек, почему он не пишет мне? Почему не любит меня? Почему он приехал и уже уезжает? А? Скажи мне! Но та женщина, госпожа Крабсански, оклеила комнату красными обоями с золотой полоской, это было потрясающе. И она, ты слышишь, были у нее деньги, потому что ее муж продавал мясо в течение четырех лет войны на черном рынке твоей матери и еще нескольким простушкам и скромницам, вроде твоей матери, которая унаследовала от своего отца красивые ноги... И госпожа Крабсански сдавала свои комнаты, несмотря на то, что у нее были деньги, а они у нее были, Ами, а она сама, ты знаешь — что? Она сама жила в кухне, под раковиной! Это было просто поразительно. Я заходила к ней, мы сидели с ней под раковиной и говорили об экипаже Господина и об ее первом возлюбленном, британском офицере, которого эти дураки террористы убили в Акко. Ами, она жила под раковиной!»

«Мама!» — Арт пытался сказать что-то, а голос его поднимался как будто из бездны.

«Послушай, — сказала она, — я разговариваю с Ами, который не убегает от своей матери. Ты знаешь, что ты не заберешь у меня мои комнаты. Я женщина бедная, несчастная и одинокая, но у меня есть несколько копеек, которые мне удалось собрать то тут, то там, дорогой Арперхшад, я не буду жить ни под какой раковиной! Я буду жить здесь до моего последнего дня. Это мой дом. Господин построил его. Нехемия посадил здесь вашингтонию. Послушай, Ами, ты существо агрессивное, но в терпимых пределах, приемлемый, но не слишком ясный, ты понимаешь? Почему они ведут себя так? Смотри, сидят, молчат, дети говорят только на английском, вот, послушайте-ка, дети: ай эм йор бабушка, ай эм гивинг ю э презент оф мани, хир, тейк ту гроша!» Они не подходят. Смотрят. Что мой английский недостаточно хорош для них? Я не «Мэйфлауэр» вроде моего сына? Я не из Японии, как их мать? Женился на ней! Готовить не умела. Карьера, карьера ей нужна? А что с мужем? Посмотри, во что она превратила моего сына? Это ребенок, которого я растила? Разбитый сосуд! А она, посмотри, как она выглядит? А ее дети? Они ее? Может быть, кого-нибудь другого? В Японии делают детей так же, как делают их белые люди. Ты знаешь, что мой сын прибыл на «Мейфлауэр»? Он прямой внук Вашингтона. Йес, тел ми чилдрен, йор фазер из фром Вашингтон, из фазер из?!»

— Мама.

— Арперхшад.

— Меня зовут Арт.

— Я скажу, как тебя зовут. Ты даже не отступник. Ты отсюда.

— Мама.

— Посмотри на нее, на эту японку, мадам Потоцкая. Из чего ее сделали?

— Мама.

— Из чего? Из искусственного сахара? Какая великолепная паутина...

— Мама.

— Арперхшад.

— Мама.

— Ар...

— Завтра мы...

— Арперхшад.

— Мама. Мы…

Арт Бараб с семьей сидели в комнате два дня. По прошествии двух дней Сандра высказала Шломцион все, что накопилось у нее на сердце в течение пятнадцати лет. Она говорила, а Шломцион, как настоящая дама, не слышала, она считала, что ей не подходит внимать словам японской проститутки, которая обманула ее глупого сына.

После того, как Сандра кончила говорить, Арт пробормотал что-то, собрал свою семью и вышел на улицу, где бушевал горячий ветер. Он побежал в бюро компании «Эль-Аль», оформил все необходимое и через три дня, как человек, убегающий от огня, улетел в Чикаго вместе со всей своей семьей.

Тетя Шломцион Большая говорит, что мама повлияла на Арта, чтобы он уехал пораньше, потому что она хочет, чтобы Хамуталь, моя сестра, вышла замуж за Арта или стала бы его любовницей с целью получить что-нибудь из наследства. Она говорит, что мама, Хамуталь и я получим «файг». Арперхшад тоже получит «файг!» Он может получить дом, говорит она, потому что так написала она в четырех из пяти своих завещаний, но только при следующих условиях:

Если старшая его дочь напишет ей письмо, что она еврейка душой и сердцем и не изменила своей веры под влиянием отца.

Если он изменит свое имя и будет называться именем, которое он получил при рождении.

Если Сандра не будет жить в доме.

Если его старшая дочь не выйдет замуж за нееврея или/и негра.

Если Арт перестанет ругать Израиль.

Если каждый из членов его семьи напишет ей письмо на иврите и в нем попросит прощения за все, в чем он провинился перед ней.

Я написал Арту, он ответил мне торопливым письмом, полным усталого юмора, и сообщил, что его старшая дочь живет с молодым человеком, нееврем, что она не считает себя еврейкой, она современная женщина, училась в университете и ее не интересует дом Шломцион. Она не напишет ей никакого письма. И он тоже не напишет. Близнецы не умеют писать на иврите. Вот и все.

Мысль о том, что мама хочет, чтобы Хамуталь, которая вот уже десять лет замужем за чудесным парнем, вышла замуж за сына своей тети лишь для того, чтобы она, мама, получила какую-то каморку в этом старом, изношенном и разрушающемся доме Шломцион Большой, вызывает у мамы рыдания, подобные которым я слышал только, когда умер отец.

22

Годы промчались. На прошлой неделе Арт прибыл в страну. Мама писала ему несколько раз, и он в конце концов согласился явиться.

Мозг Шломцион обызвествляется все больше. Она теряет всякую связь с действительностью. Целыми днями сидит она в кровати, часами хнычет, а потом делает «чик-чирик» птицам.

«Она теперь заполнена птицами», — писала мама.

Прибыл Арт. У него молодая жена. Сандра живет с другим мужчиной в Массачусетсе. Его старшая дочь собирается замуж. Его жена и его дочь ровесницы. Он выглядит более солидным и простым. Он возбуждает любовь, снисхождение и удивление. Он приехал, чтобы проститься с матерью. Она будет жить еще день, а может быть, еще двадцать лет. Тело ее не умерло. Она не слабеет и не стареет. Волосы не выпадают. Она очень красива. Она до сих пор самая красивая женщина из всех, кого я встречал в жизни. Но мозг ее теряет всякую связь с действительностью. Она жалуется, что мы крадем у нее книги, тетради, карандаши, воздух.

Она полна ненависти, но она настолько поражена склерозом, что не способна больше произносить членораздельно злобные речи. Что-то потухло в ее глазах. Она обернута прозрачной кисеей отчаяния. Иногда она похожа на девочку, какой она могла бы быть.

Арт привез матери позолоченую клетку с попугаем. Он повесил попугая над ее кроватью. Сестры смеялись, но врач не смеялся. Он больше не делает ей особых осмотров. Мама позаботилась об этом. Он ненавидит маму смертельной ненавистью. Теперь он отворачивается и от Арта.

Старый судья Абрамс умер на этой неделе. Мы ходили на его похороны. Вместе с ним умер также секрет шифра финансового лабиринта тети. Арту придется потрудиться, чтобы разобраться в этой путанице. Он уже сидел с пятью адвокатами. Они повырывали у себя последние волосы, еще оставшиеся у них на голове. Никто не знает, с чего начать.

На похоронах Абрамса были только мама, Хамуталь, моя жена, дети, старик Нахуми и я. Сказали, что я родственник.

Я прочитал над ним кадиш.

Я был внуком цветов, которые он засушил, преступников, которых он посадил в тюрьму. Я был братом злобы и красоты. Так снова и снова обручался я с тетей Шломцион Большой, такой красивой и такой жестокой.

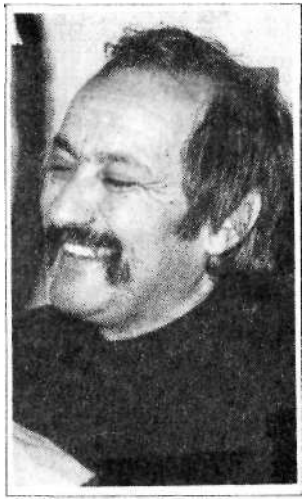
В частной больнице на севере Тель-Авива повысили плату. Теперь платят тысячу четыреста лир в месяц. (Была девальвация и все такое.) Арт повесил клетку над кроватью Шломцион. В ней попугай. Попугай не говорит. Он чирикает.

Она лежит в кровати и целыми днями произносит: чик-чирик, чик-чирик.

Она будет лежать так много дней, годы, может быть сотни лет. Попугай умрет, другой появится вместо него. Кто-то позаботится о плате. Нахуми скоро умрет. Он выглядит так плохо, что следовало бы забальзамировать его еще на похоронах Абрамса. Все умирают у меня. Дома Шломцион покрываются ржавчиной. Все так печально. Арт уехал. Я стою в коридоре больницы.

Тетя Шломцион Большая лежит там, разрушенный дворец, поверженный Бог, снаряды конца тысячелетия в ее волосах, гора праха, и человечность, и злоба, и красота. Чистая, как какой-то поддельный хрусталь, плывет в бесконечности, полной птиц, отчаяния и великолепия, и чирикает: чик-чирик.

Чик-чирик.



Борис НОСИК

ТРИ РАССКАЗА

Зависть

(Из книги «Города-побратимы»)

Под утро мне приснилось, что они согласились сделать маме аборт. Мама взяла узелок и ушла куда-то за барьер, в темноту. И тут я понял, что надо ее немедленно вернуть. Надо ей все объяснить, потому что она даже не догадывается, кто у нее должен родиться, а это очень важно для всех нас, для всей семьи. Но оказалось, что над барьером у них стекло, и крик мой до нее не долетает. Кроме того, все время мешал какой-то шум. Он нарастал и нарастал, стало дребезжать стекло над барьером, дрожал и сам барьер. Потом я понял, что я уже проснулся. Я не раз просыпался в эту ночь, ибо ночью так же неистово, как сейчас, дрожал мотельный барак (60 долларов за ночь) и также, словно бы в предсмертном усилье, ревели машины на автостраде, упиравшейся в стену барака. Для полного успокоения я вырубил сейчас гудящий кондиционер и

взглянул в темный угол, где спали сестричка с мужем. Все было в порядке. Они были там. Теперь я мог даже расслышать, как они храпят там, оба, но вразнобой. Сестричкин храп был приятней по тембру — все-таки она вышла из нашей семьи...

Эта история с маминым абортом была старая. И неотвязная. Как старший в семье (отец был все время на службе или еще где) это я повел мамочку на аборт, чтобы потом забрать домой ее вещички. Куда нам было еще четвертого ребенка, троих было не обуть... Но в больнице сказали, что у мамы температура, обычная ангина, и надо подождать с операцией. Мы ушли домой с облегчением и оба с головой ушли в дела (я учился тогда на редактора какой-то литературы). А потом выяснилось, что мы опоздали с абортом, так что по прошествии полугода мама подарила нам сестричку. Что бы мы сейчас без нее делали? Она была у нас самая умная — умела различать черное и белое, но не делала шума из-за того, что мир многоцветен, умела дружить со всеми и опекать всех шлюмазлов, которым она годилась в дочери.

Среди них я был далеко не последним. Конечно, у нее бывали промахи, бывали мелкие ошибки в ее бурной деятельности. Вот с этим мотелем, например, можно же было догадаться, что это будут адские кущи. Впрочем, искать ночью другой, у нас у всех уже не было сил: мы слишком долго пилили в тот вечер по шоссе, добираясь в город с прекрасным названием Санта-Клара в самом сердце прекрасной Калифорнии. Собственно не мы пилили: за рулем сидела бедная сестричка. А мы с ее мужем пахали: мы следили по карте за нашим продвижением и выбирали для визитов и ночлегов названия покрасивее — Паоло-Альто, Санта-Моника, Пальм-Спрингс... Города, впрочем, были все одинаковые, как гамбургеры: размером разные, но жрать все равно скучно.

Женино слово «срань» упорно вертелось у меня в голове. Женя был мой капитан в ту счастливую пору, когда, сбежав с редакторской службы, я плавал матросом в экспедиции спецморпроводок. Я был молодой энтузиаст и вечно уговаривал Женю (отношения у нас были

чудесные) постоять под берегом то в одном, то в другом волжском городе. Женя не поддавался на уговоры, у него у самого была большая сила внушения.

— Что тебе Ульяновск? — увещевал он меня, — это ж такая срань! И Рыбинск, Боря, поверь мне, то же самое.

Терминология Женина и настрой менялись, когда из конторы экспедиции поступали деньги и на коробке начинался запой (Женя, как и все на судне, был безнадежный алкаш).

— Вот мы сейчас встанем в Беломорске, — лихорадочно говорил мне Женя. — Пи-датнейший город. Бывшие Сороки. Увидишь. Ты ведь любишь историю.

Пройдя все шлюзы (швартовка на них была моим главным занятием), мы встали на рассвете где-то на окраине Беломорска. У меня даже не было сил подняться с кнехты и уйти в каюту. Я сидел и безутешно смотрел на берег: деревянные бараки, потемневшие от дождя штабеля бревен, опилки. По деревянным мосткам шаркала простоволосая женщина в резиновых сапогах и в телогрейке. Поравнявшись с нами, она ошалело взглянула подбитым глазом на нашу коробку, что-то попыталась сообразить, или сказать, но не сообразив, пошла дальше. Она была вдребезги пьяная.

— Боже, какая же она драная! — сказал я безутешно. Я был оскорблен и как народолюбец и как потенциальный половой партнер.

— А как же! — бодро подхватил Женя у меня за спиной. — Драная, как та селедка, что добралась до нереста. — И добавил заговорщицки: — вон в том доме, Боря, один старик круглосуточно... отметь, круглосуточно, — продает водку.

Жив ли еще Женя? Вряд ли — при такой-то нагрузке на сердце. Но словцо его, вот оно, просыпается в недрах памяти на всякой калифорнийской окраине («Ну и срань же этот Сан-Диего, эта Санта-Моника...»).

Предвкушая нынешний визит в Санту-Клару, я заранее, со смаком подставлял это гордое название в Женину коронную фразу. Впрочем, город ведь можно и не смотреть. Надо только получить большинство в один голос при

утреннем обсужденьи маршрута. То есть, убедить сестричку. В конце концов, не одни ведь только города в Калифорнии. Здесь есть пи-датнейшие пустыни, леса, национальные парки. Все, что создал здесь Господь, было удивительным! Ах, какие мы видели кактусы в пустыне Джошуа-три! А сами эти деревья «джошуа»? Это ведь живые существа, греческий хор, Стена Плача, плач на реках вавилонских...

Пусть американский народ (или русский народ, или еврейский, хорошо, пусть итальянский) посадит на моей могилке дерево «джошуа». Нет, вряд ли — для этого надо пасть счастливой смертью прямо в заповеднике или неподалеку. Да и во что это станет здесь, если они еще и не мертвого кладут за 60 долларов при дороге? Эти выжиги, наверно, не знают, сколько тут у них платят за статью в «старейшей русской газете Америки» («Понравилось, старичок, уже прошла...») Двадцатник! Ну да, двадцать долларов... На двадцатник не расхоронишься.

За завтраком и ежеутренними разговорами об истреблении вкуса усилиями счастливых колонизаторов Нового Света я попробовал протолкнуть идею о скоростном проезде через город Санту-Клару до ближайшего нацпарка, но наткнулся на непредвиденное препятствие.

— Надо повидать Эдика, — сказала сестра, — Юлик уже позвонил Эдику, что мы едем. Будет обида на всю жизнь.

— И сколько там этой жизни, — сказал я. — Он же еще лет на пять меня старше, ваш Эдик.

Сестра промолчала, и я понял, что это не подлежит обсуждению.

Юлика этого я видел в Паоло-Альто первый раз в жизни. И он все время нам рассказывал про свой пятиразовый джоггинг. Он бегал. Он хотел убежать от смерти. И ему казалось, что он уже убежал. Только оттого, что он еще был жив. Он был такой совершенный чудак на букву «м», каких я не видел с московских времен. Когда они сказали мне сутки спустя, что он какой-то там профессор чего-то и модный эссеист русской прессы, я поклялся завязать с русской прессой. Что было, конечно, пижонством, потому что никакой другой прессы для нас быть не может. И никакого другого занятия я для себя не выдумал.

А вот Эдика этого я встречал раза два в Москве у сестры. Он мне тогда активно не понравился. Он был шумный оптимист. Такой советский простой человек, меняющий течение рек. Работал он где-то в ЦК, при ЦК, делал там что-то хитрое и без конца ездил за границу. За столом он рассказывал как бы смешные истории про то, как хорошо принимали его там братские товарищи. В общем, все у него было путем. Конечно, может, даже это лучше, чем когда хвастают на людях своими несчастьями. И может, у сестры его и любили за этот публичный оптимизм. Я слышал от сестры, что у него были на самом-то деле какие-то неприятности. Не зря же он в конце концов оказался евреем и уехал в Америку в качестве беженца. Американцы его приняли без проблем. Наверно, он рассказал им, что большевики всю жизнь травили его черной икрой в цековском буфете. И посылали в свой пансионат на Холодную Речку — надеялись простудить. А может, им ничего не пришлось рассказывать: хочешь быть еврейским беженцем — беги. И он убежал в Санту-Клару...

Я и не заметил, как остался один за столом. Сестра куда-то слиняла. Ее муж курил за углом втихую, чтоб не возмущать некурящих. Я ковырял свою булочку, размышляя о том, отчего здесь все-таки так любят сырое тесто. И пришел к выводу, что чужая душа потемки. У меня вообще склонность к философствованию. В следующем рождении я буду писать философскую прозу. Дай только, Боже, родиться второй раз...

Сестра вернулась с сообщением, что Эдик ждет нас к обеду. Будут картошечка с селедочкой. По-русски. Оставалось перебиться до обеда. Мы въехали в Санту-Клару.

— Города-побратимы, — сказал я, — Рыбинск и Санта-Клара. Ульяновск и Санта-Клара. Где тут у них военный завод? Или хотя бы цементный завод?

Сестра сказала, что нам вовсе не обязательно ждать обеденного часа. Мы можем ехать в гости уже сейчас. Потреплемся, поедим вовремя и — в дорогу.

У Эдика была нормальная квартирка. Три комнаты. Дорого, конечно, но не так дорого, как у других. Он сказал, что квартира у него особенная: если прижаться к стене у окошка, то видны деревья, причем, это частный сад, в него никого не пускают.

В прочих отношениях квартирка была как квартирка. Никакой такой калифорнийской роскоши я в ней не усмотрел. Роскоши в Калифорнии вообще не увидишь. Все довольно скромно, даже на Беверли-Хилз. Говорят, что миллионеры прячут свои виллы под землей. Видны только ворота. Иногда два-три дерева. Иногда и деревьев не видно, но путеводитель сообщает, что там, за невидимыми деревьями, — лес и виллы, где в фараоновской роскоши живут миллионеры. Прогулки по миллионерским местам Калифорнии приносят разочарование. В Переделкине и Внукове все выглядело шикарней. Не говоря уж о Красной Пахре или кабардинских селениях Баксанского ущелья.

Эдик представил нас молодой жене. Он женился перед отъездом из России на русской молодке, похожей на француженку. Женитьба дело нехитрое. Мог бы жениться и на французской молодке, похожей на русскую (я, например, так и сделал). Главное — что будет потом... Но жена у него была вполне симпатичная. Она сказала, что пока не работает. Она ищет свой путь. Она рисует китайские иероглифы. Чтобы сделать ей приятное, я сказал ей, что я полюбил китайскую кухню. Если бы не китайская кухня, чем бы тут питались? Китайцы великий народ. Они живут в Америке и сохраняют свою кухню. И никто их в этом не упрекает. Напротив...

Эдик работал. Он был на пенсии, но нашел какую-то работу. Даже две работы. И работал как зверь. Он не помолодел, конечно, но лет ему уже было до черта. Вообще, он показался мне человеком мужественным. Он сообщил, что полюбил синагогальное пение. Что ходит, мол, в синагогу. Не часто, конечно, но ходит. Раз в год. В високосный год... Он не повесил на кухне американский флаг... Но, конечно, он хвалил эту свою Санту-Клару — очень интересный город. Космополитический город. Кругом мексиканцы. Есть даже сосед-датчанин. И вот — евреи. Вернее, один еврей.

Жена его сказала мне, что китайские иероглифы — это не просто красивые рисунки. В них есть какой-то там особый смысл. Духовный смысл...

Я с ней был полностью согласен. Но поддержать беседу не мог, так как был поглощен селедочкой. Она все-таки была, на мой вкус, недостаточно соленой. Вот когда я служил в армии, нам каждый вечер давали селедку. Видимо, еще из военного резерва. Вот та была соленая. Вырви глаз. Многие солдаты даже оставляли ее недоеденной. Знали бы они, как тоскует русский человек за границей по селедочке, не оставляли бы. Но кто из солдат мог об этом подумать? Что имеем, того не ценим. Впрочем, за границей селедочку часто выбрасывают в продажу. Вот с килькой у них перебои. И бычки в томате встретишь далеко не везде. Но если поискать...

После обеда Эдик вызвался показать нам Санту-Клару. Мы сказали, что мы ее, собственно, уже видели. Но он был неумолим. Он сказал, что Санта-Клара раскрывается не сразу. И не всякому. Потом мы наверняка не были в Сантакларском университете. Мы сознались, что таки не были.

— Ой! — сказала жена Эдика.

Нет, он все-таки правильно сделал, что женился на русской молодке... Ну какая иностранная женщина сможет так прекрасно сказать: «Ой!» А это ведь очень возбуждающий возглас. Просто, живя на родине, привыкаешь к нему и его не воспринимаешь так остро. Я имел в виду не «историческую родину», а нормальную — Россию. На «исторической», впрочем, это «ой» теперь тоже слышишь на каждом шагу. Несмотря на все ее недостатки, надо признать, что она тоже значительно обрусела, историческая. Так что, напрасно ее так ругают по московскому радио. Надо ругать фанатиков-интегристов. Можно ругать ихнего Натаниягу. Он ведь вообще из каких-то не тех евреев. К тому же американского воспитания. Чего от него ждать?

— Ой, — сказала жена Эдика, — сегодня ведь день

вручения дипломов. Вы не видели, какая это прелесть?

Эдик повез нас в Сантакларский университет. Там и правда было вполне симпатично. Какие-то не такие, как всюду, здания, что-то такое имитирующие. И главное — старая католическая миссия. Калифорния гордится этими бастионами испанской колонизации. И еще там были пальмы. Пальмы — это всегда приятно. И в Ялте. И в Версале. И в Калифорнии. И в Южном Марокко... Нигде я столько не валялся под пальмами, как в Южном Марокко...

Потом появились студенты-выпускники. Они радостно улыбались и щурились. Впрочем, им это было нетрудно. Они были китайцы. Все, как один, китайцы. Эдик объяснил нам, что теперь лучшие студенты в Америке — это китайцы. Нет, еще не все. Но у них большая тяга к знанию. «Китаец, — сказал Эдик, — это еврей XXI века. Лучшие математики в Америке сегодня китайцы».

— Это пускай, — сказал я. — Лишь бы они не закрыли свои рестораны.

Но Эдик не слышал моих предостережений. Он отвел мою сестричку в сторону и поверял ей какую-то свою тайну. Ей все поверяют свои тайны. Она к этому располагает. Чаще всего ей поверяют беды, и она тут же организует помощь. Но Эдик сиял, и видно было, что он делится с ней радостным известием. Впрочем, как знать... Он был все тот же оптимист, что и в Москве.

— Ну что там? — нетерпеливо спросил я, как только мы отъехали. — Что у него за радость?

— Она ждет ребенка, — сказала сестра. — Он на седьмом небе.

— Еще бы, — сказал я, темнея от доброй зависти.

Боже, как я ему позавидовал! Я подумал, что вдобавок она может родить ему китайчонка. А они такие прелестные, китайские дети! Впрочем, все дети прелестные — за этим открытием не стоит тащиться в Калифорнию. Но китайские детки — это конец света. Это надо чтоб человеку так повезло...

Калифорния-Париж, 1996

Как я всех, увы, понимаю!

Нелепые воспоминания тревожат меня по временам на холмах этого ненавидимого прокуратором, да и мне изрядно уже поднадоевшего города. Например, воспоминанье о том, как много лет подряд я мечтал совершить паломничество ко Гробу Господню и даже уговаривал както случайного соседа за завтраком в гостинице монгольского городка Даландзадгада, того, что стоит на краю пустыни Гоби, послать меня в Иерусалим с группой паломников. Сосед этот проникся ко мне вальяжной каникулярной симпатией, а был он, как выяснилось, какой-то там начальник в Комитете по делам религий. Подшефную Монголию он решил показать во время командировки своей жене, а гидом на побегушках у него был его молодой выученик, куратор здешнего ламаизма, вернее, того, что от него оставалось еще после всех кровавых репрессий.

Позднее, в Москве я посетил этого начальника в его религиозном ведомстве, и только там понял, под какие своды чуть не завела меня мечта о Святом Городе и беспечная живость характера. Я сразу пошел на попятный, да и он дал понять, что тут не пустыня, чтоб говорить глупости, а в Иерусалим у них ездят отличники боевой и политической подготовки, всякие там переодетые в рясы бойцы невидимого фронта...

Но вот прошло каких-нибудь десять-пятнадцать лет, и я сам стал ездить в этот город ежегодно — просто, чтоб навестить застрявшего там почему-то сына и убедиться, что хотя все у него не так, как мечталось, он все-таки живздоров и живет как хочет.

Конечно, в каждый свой приезд я снова и снова брожу по Старому Городу, карабкаюсь по улице Виа Долороза на печальную эту Голгофу (а может, и не эту Голгофу, потому что есть еще одна Голгофа в городе, а может, еще не одна) и стараюсь представить, как тут все это случилось две тыщи лет назад — стараюсь, но безуспешно. Потому что все тут не такое, каким тыщу раз представлялось мысленному взору, и за две тысячи лет все уже много раз

зарастало домами и разрушалось и зарастало снова, и даже теперь, когда любые холмы мне уже в тягость, эта Голгофа почти и не представляется больше холмом и Голгофой. Во всяком случае, в меньшей степени, чем, скажем, голые разноцветные холмы близ города Исфара бывшей Ленинабадской области, где я все это без труда себе воображал.

Город, конечно, неплохой, этот нынешний Иерусалим, даже можно сказать, красивый город, а если еще, избежав толчеи у главного Гроба Господня (есть и другой, не главный, в Восточном Городе), войти в укромную дверь справа от портала и пройти через эфиопскую церковь, то попадешь на крышу, где нищие хибарки коптских монахов, да иногда сушится белье, а иногда нет и ничего и никого. Можно лечь под стеной, и тогда над тобой будут синее небо, и густозвонные колокола, и ослепительное сияние золотого креста. Становится так сладостно и легко, и ты готов уже уйти, воспарить... Но потом спускаешься через дворик коптского монастыря в шумную торговую суету Старого Города, и тяжесть твоего креста вдруг снова ложится на плечи, еще ощутимей, чем прежде... И еще — затаенная враждебность вокруг, и остервененье неизбытой ненависти в этом городе, и умеренная западная элегантность в западной его части, и его неумеренная для незападного города дороговизна. Хотя надо с удовлетворением признать, что повсюду там теперь говорят по-русски, впрочем, только в некоторых местах — на том русском, к которому мы с детства привыкли у себя в Москве или в Ленинграде...

В эти некоторые места я и захожу поболтать, от нечего делать (а делать мне там, как правило, нечего — если ты объявился непрошенным, это не значит, что бедное твое дитя должно бросить всех и все и с тобой, нудным до ломоты в носу, без конца общаться) захожу в русские книжные магазины (их тут теперь много), в университет, в журнал «Беседер», в русские библиотеки, в ту, что за иерусалимской Таханой, и в ту, что в общинном доме на Яффо.

В первый свой приезд я даже нашел работодателя, в

крошечной газете (приложении к чему-то побольше), спрятанной в проулке за автостанцией, где работали тогда милейшие люди, которые целый год после этого печатали мои байки про старую русскую эмиграцию.

В мой новый приезд мне за это не только заплатили сколько-то денег, но и сообщили, что меня читают, да-да, читают. А милая библиотекарша Клара сказала мне, что читатели, узнав о моем приезде, очень просят ее устроить читательскую конференцию, как бывало в России, чтоб я непременно пришел и выступил. Честно говоря, я не люблю выступать и встречаться с читателями: у нас есть друг о друге какое-то там не вполне реальное представление, лучше при нем и остаться. Так что, я никогда не мог понять, зачем все эти посиделки и встречи и конференции, разве что для заработка. В России многие жили на эти деньги, но где ж еще в мире, кроме былой России, платят за такие глупости? Да и как им удается вне России (бывшей России) загнать кого-нибудь на эти посиделки, тоже не совсем понятно. Однако библиотекарша Клара сказала, что ее очень просят, так что и она меня очень просит, и я от удивления не сразу придумал, чем могу мотивировать свое нежелание выступать, что и было принято за знак согласия.

В тот вечер я тщательно вымыл шею и явился в библиотеку почти без опозданья. В большой комнате за длинным столом уже сидело десятка полтора старых евреев, еще более старых, чем я сам: читатели! Не книг, наверно, читатели, но все же читатели газет, в том числе, и этой крошечной, что была приложением к чему-то побольше и где печатали мои байки.

Я смотрел на них с жалостью и растерянностью и не знал, о чем же мы будем толковать целый час. Жалость относилась, конечно, ко мне самому, который выглядит, наверно, таким же (неужто таким же?) потертым и траченным молью, как они сами, а все еще летает куда-то и что-то пишет и суетится.

Библиотекарша поставила на стол графин со стаканом и объявила, что я специально пришел, чтоб рассказать им о своих книгах и путешествиях. Книг моих они сроду не

видели, да я и сам их давно не видел, к тому же мы с ними были теперь не в России, а на Западе (хотя и ближневосточном), где денег за книги не платят, где издают их люди безвестные — за свои деньги, для поддержанья престижа, или люди очень знаменитые — вроде актеров или министров: их издания имеют шанс окупиться и даже принести прибыль. В общем, я решил говорить про путешествия, однако и тут было не совсем понятно, почему и зачем. Почему я путешествую, и зачем, и за чей счет? И про какую страну им рассказать? Не про Америку же, про которую и так всем известно, как там прекрасно, не то что какой-то Израиль... Но в конце концов я все же начал рассказывать про путешествия и дальнюю страну. Таджикистан. В сущности, все равно было, про какую страну рассказывать, они ведь нигде не были эти старики, кроме своих Черновиц, и Киева, и Бобруйска. А потом они прилетели сюда — напрямую, или через Вену, и Остию-Лидо, и самым ярким их впечатлением навсегда остался заграничный завтрак в самолете, а тут... Тут было все сразу не так, и были сразу заботы, да и в Вене, и в Остии уже были треволненья, заботы, и уже было ощущенье, что все не так. Некоторые из них до сих пор ходили в удивленье, оттого, что не все тут говорят по-русски, так что они, уж на что евреи из евреев, как бы оказались в некотором смысле русскими. Так их тут и называли, и без особого, прямо скажем, почтения. Удивленье, и даже легкое головокруженье, можно было испытать и оттого что все здесь было словно бы наоборот и даже все надписи — справа налево, не говоря уже о буквах...

Конечно, все мало-помалу утряслось, и дети устроились на работу, а те, кто не устроились, стали выпускать русские газеты и приложения к ним, вдобавок для стариков открыли какие-то клубы, где можно собраться и спеть что-нибудь свое, нормальное, скажем, «Полюшко-поле», «Броня крепка и танки наши быстры» или «Хороши весной в саду цветочки»...

Обо всем этом я думал, оглядывая неулыбчатых стариков на протяжении всего своего рассказа. У меня было тяжкое ощущение, что они меня не слышат, но потом я

понял, что они просто не слушают. Что они просто ждут, когда я кончу про какой-то неведомый Таджикистан, в котором вдобавок жили мусульмане, да еще где-то в Совдепии. А чего они ждали, я тоже понять не мог — может, в заключенье беседы их чем-нибудь тут, как правило, угощают...

Одно понял по истечении получаса, что хорошо было бы элегантно так закруглиться, но потом я решил, что если даже я закруглюсь безо всякой элегантности, никто этого не заметит.

— Вот так они и жили... — сказал я. — А теперь вы можете задавать вопросы.

Они зашевелились, стали вытаскивать из карманов какие-то бумажки, заметки, расправлять их, откашливаться, а я с облегчением опустился на стул, улыбаясь идиотской и, как мне казалось, вполне приветливой улыбкой усталого гения. Они, видимо, и впрямь хотели меня о чем-то спросить, эти старики, и уже приготовились начать, как вдруг вскочил какой-то на дальнем конце стола, неистовый и краснолицый, и закричал, что он тоже из Москвы и что мы учились с ним в одной школе. Это была замечательная школа, может, лучшая в Москве, и что из нее вышло много гениев, он не помнит всех по фамилиям, но помнит зато, как звали директрису. Он хотел еще о чем-то сказать, но помялся и не мог вспомнить, о чем, и видно было, что это вообще экспромт. Зато уж остальные выступления (а их было много) были тщательно подготовлены и написаны на бумажке, но, может, оттого что ораторы говорили очень невнятно, а может, и оттого что им давно уже (или вообще никогда) не приходилось писать по-русски, понять, что они там понаписали и зачитывают, было очень трудно. Фразы начинались и никак не могли закончиться, и я долго и тщетно пытался понять, о чем идет речь. Окопы, да-да, война, да, амбразура дзота... Один раз мелькнула моя фамилия, и я подумал, что это естественно, и даже предположил, что и в остальных выступлениях речь идет обо мне. Прислушиваясь к интонациям горячечной их сбивчивой речи, я вдруг мало-помалу стал приходить к мысли, что, может, они вовсе не

благодарят меня за предоставленную возможность повидать при жизни (при их и при моей жизни) вполне еще живого писателя, а что они, напротив, недовольны чем-то или кем-то, скажем, «корзиной абсорбции» или «министром абсорбции», который, как у них водится, был одновременно и раввин и жулик. Но тогда причем тут я?

Через четверть часа особо внимательного перехвата я различил в этом потоке почти русской речи еще одно знакомое имя — «Эренбург». А может быть, «Оренбург». При чем тут Оренбург (хотя, может, их интересовал Свердлов, или судьба убиенной царской семьи)? И причем Эренбург? И тут мне вдруг пришло в голову, что может, очень даже причем... Среди полсотни баек, которыми я пытался через газету потешить русскоязычное население Страны Обетованной, а заодно и скромно увеличить свой нищенский доход, была одна, действительно имевшая отношение к Эренбургу. К знаменитому советскому писателю Илье Григорьевичу Эренбургу, который знаменит был как еврей, как военный публицист, как знаток Франции и крупный интеллектуал, имевший в запасе много заграничных слов и фамилий, как борец за мир во всем мире.

Что же я там, дай Бог память, рассказывал в этой своей статейке для низкооплачиваемой газеты, которая была приложением к чему-то еще более низкооплачиваемому? Ну да, про последнюю любовь Эренбурга...

Про другие его любови я ничего не знал, но эта, последняя, показалась мне очень трогательной и вполне забавной. В 1948, а может, чуть раньше, когда земля горела под ногами российских евреев, и те из них, что маячили на поверхности, стали один за другим исчезать в подвалах Лубянки, И.Г. Эренбург сумел выжить снова и даже стал главным мировым деятелем борьбы за мир. Конечно, это была международная гэбешная операция по мобилизации левой западной интеллигенции против ее гнусного западного истэблишмента и создания дымовой завесы над очередной попыткой Сталина добить уцелевший в той войне и еще не очень ставший коммунистическим Запад. Так что, вероятно, планировали и осуществляли эту операцию большие умы и стратеги Лубянки, но и Илье Григорьевичу выпала в осуществлении этой операции совершенно особая роль и, может, именно поэтому он не помчался в тюремном вагоне по маршруту известного фильма («Поезд идет на Восток»), а напротив, зачастил на Запад, где и соблазнял разговором, подарками, золотыми медалями героев и перспективой побед всех более или менее близких к компартии, к Коминформу и бывшему Коминтерну интеллектуалов Запада. И вот тут, в этом круженье во имя мира и лучшего друга мира, великого миролюбца Сталина Эренбург и повстречал в Стокгольме молодую (лет на тридцать его помоложе) Лизелотту Майер. Для нее имя его было овеяно славой и было любимо ею с детства. Это он писал в те годы, когда она бежала с коммунистами-родителями от фашизма в Россию, свое ежедневное, гневное: «Убей немца!»

Потом война кончилась и молодая, энергичная женщина стала мэром Стокгольма, куда вдруг и приехал легендарный победитель немцев, а стало быть, и защитник евреев, сторонник мира И.Г. Эренбург. Она, конечно, была тоже не против мира: мир Сталину, война дворцам. Но дело было даже не в мире: просто это была любовь с первого взгляда.

Любовь всегда прекрасна, особенно, когда любят нас, стариков, но эта любовь была еще и опасна. Она называлась в ту пору «связью с иностранкой». За такой роман великий миролюбец мог отрезать голову без колебаний. Так что требовались конспирация и хитрость. Влюбленные встречались, вероятно, в мэрии, под охраной местной полиции. Они там разрабатывали Стокгольмское воззвание, которое требовало совместных усилий. К тому же Стокгольм не Париж — там у КГБ еще не было, как выражались позже, «все схвачено». Такой вот был романтический стокгольмский роман. Из зова любви родилось Стокгольмское воззвание...

Мне эта история показалась трогательной. Для меня это была самая человечная история в жизни во все времена уцелевшего хитреца и предателя. Кажется, так я это там и сформулировал, в своей статейке. И здешние

старики ее (о ужас!) прочли. Я оплевал в ней все, что у них было самого дорого. Их Эренбурга, который был еврей и победил Гитлера. Которому доверял сам Сталин. Который бросался грудью на амбразуру дзота. Который говорил на всех языках мира, не считая еврейского. Который стоял за мир и отстаивал дело мира. Мы все за мир, клятву дают народы... Это, кажется, его стихи. А может быть, Евтушенко. На музыку Хренникова и Лядовой. Композитор Кобзон, который тоже за мир. Или еще за что-то... Я оплевал все чистое. Кто я такой, чтоб плевать? Вот и доказывай теперь, что ты не плевал. Что ты не верблюд.

Я стоял совершенно растерянно, когда вошла сияющая библиотекарша Клара. Она, конечно, ничего не слышала и вовсе ничего не поняла. Она поднесла мне огромный букет цветов и долгоиграющую пластинку, на которой хор младших офицеров ЦАХАЛа пел на иврите песню о Шестидневной войне на мотив любимой еврейским народом песенки «Хороши весной в саду цветочки». Клара поблагодарила меня от лица читателей. Она хотела еще поблагодарить меня и от себя лично, но тут краснолицый старик с золотыми зубами, который давно уже тянул меня за рукав пуловера, стал проявлять признаки нетерпения.

— Можно я вас обниму, — сказал он.

Клара просияла.

— Я говорила... — сказала она мне. —Я же вам говорила.

— Ладно, — сказал я старику разнеженно. — Только будем дышать в разные стороны.

Но ему и не нужно было дышать. Он должен был немедленно сообщить мне на ухо что-то очень важное, и я склонил к нему ухо.

— Как я вас всех, жидов, ненавижу, — сказал он.

Я глядел на него с безнадежностью и все еще идиотски улыбался... Наверно, дочка, нарожав ему полуеврейских внучат, вывезла его к старости в эту, извините за выражение, заграницу, оторвав от родной дачи, от коллектива отставников, от компании доминошников во дворе. И вот он оказался здесь, где все-все, в том числе и еврей Эренбург, и я, который обидел Эренбурга, — все были такие суетливые, непонятные, гнусные... Евреи. Да разве

это евреи. Евреев он видел немало в России. Они были там вполне нормальными, но здесь... Здесь они словно с цепи сорвались...

— Ответное слово! — крикнула Клава. — Слово автору.

— Как я вас всех... — начал было я и запнулся. Это была не моя, это была фраза золотозубого старика. Но в ней была некая страсть, и я недаром ее подхватил. В ней был жив темперамент, которого мне всю жизнь не хватало. Я и сейчас испортил песню, потому что меня распирало от бессмысленной жалости.

— Как я вас всех понимаю, — сказал я.

Старики смотрели растерянно. По-моему, они забыли, о чем шла речь. Зачем они сюда собрались.

Я тоже сразу все забыл, а вспомнил позднее, когда мы все шли и шли с племянником по берегу огромного, мрачноватого лесного озера, похожего на валдайские озера, хотя это было в Канаде, где-то близ Оттавы («так похоже на Россию, но конечно, не Россия...»). Племянник сказал, что он выписал стариков из Москвы и что они скоро приедут сюда насовсем. Он сказал, что немножко все же боится.

— Чего? — спросил я.

— Боюсь, чтоб крыша у них не поехала, — сказал он.

Вот тогда я и вспомнил эту встречу с читателями в русской библиотеке близ автобусной станции, мрачноватой Таханы Марказит, где вечно полно солдат и солдаток, и в очереди перед кассой в бок тебе кто-нибудь небрежно тычется автоматом, и все бегут и бегут куда-то странных габаритов непостижимые люди в средневековых пейсах...

Иерусалим-Париж, 1996—1997

В Истамбуле и в Константинополе...

Молодой дежурный был сыном хозяина гостиницы, албанца из Косова. Он довольно старательно изображал отчаянного уголовника, но может, он и был уголовник. Мы сторговались с ним на семисот пятидесяти тысячах за

ночь, что в переводе на русский язык означало десять долларов.

Комнатка оказалась узенькой, крошечной, койка занимала ее почти полностью, а умывальник (он же писсуар, на худой конец) был в коридоре. Я опустился на койку и почти сразу же задремал. Ночь в автобусе была мучительной и бессонной, а путешествие от средиземноморского Бодрума до Стамбула растянулось больше, чем на полсуток.

Проснулся я от журчанья голоса. Голосок был девичий, и говор показался мне русским. Я сонно усмехнулся: всякий нефранцузский говор казался мне в этом путешествии русским. Это была болезнь, от которой, мне казалось, я уже излечился за пятнадцать лет, но вот, видишь, снова...

В нынешнем путешествии особенно знакомой казалась мне издали турецкая речь. Может, она переносила меня в Бухару, в Ташкент, в Фирюзу. Наверно, сумятицу эту вносило еще и ожидание. Я слышал, что русские заполонили уже анатолийский берег и Трапезунд, однако в толпах туристов, бродящих по древнегреческим руинам, мне попадались все, кроме русских. Может, русские не за тем ехали в Турцию?

Больше всего попадалось отчего-то канадцев и австралийцев. Наверно, пришел их черед обогащаться знанием. А может, просто какая-нибудь австралийка вернулась домой из Турции и рассказала соседкам, что там все очень дешево в переводе на австралийские драхмы, а турки, о, турки! — они очень милы... Они и впрямь были вполне симпатичные, эти турки. А уж по-иностранному-то понимали куда лучше французов.

Нет, на сей раз девичий говор был определенно русским. Даже, я бы сказал, южнорусским. Неужели опять миражи, как в первые мои парижские годы?

Я поднялся и приоткрыл дверь. Теперь голос звучал вполне отчетливо. И впрямь, русский говор, да еще с южнорусской интонацией. Девушка говорила громко, с нажимом — кому-то жаловалась, кого-то убеждала. Объясняла, что уже три дня за гостиницу не «плочено», да и гостиница плохая, на боковой улице, черт-те где. Вчера

клиент два часа искал. Иногда она вдруг понижала голос, что-то там бормотала, почти шептала.

Я закрыл дверь. Подумал, что это все очень скучно: русские наташи штурмуют панель! Я уже видел их на Кипре. Вот еще вспомнить бы, отчего так интересно было когда-то читать купринскую «Яму»? По малолетству? А отчего так скучно сейчас? Из-за возраста? Не знаю. Интерес к сексу ведь, увы, не слабеет. Пропадает лишь интерес к производственной теме. Я стал припоминать, отдавался ли нам кто-нибудь за деньги там, в России? Пожалуй, что нет. Не то чтоб неизбывная любовь царила в том мире промискуитета, откуда мы сбежали из нетерпенья, нет. Отдавались нам из любопытства, из чистой симпатии, даже из уважения, из чувства долга и просто согласно ритуалу (вот уже и чай пили, и об искусстве беседовали, теперь что ж дальше?) Из корысти тоже, конечно, отдавались, но не без примеси чувств. И никогда, чтобы так вот — деньги на бочку! С последней прямотой. Нет, нет, декорум был всегда соблюден. Дома помогали стены (забитые книгами), родной язык (неплохо подвешенный). Да и возраст был иной, напор! Тут главное — напор. Ностальгия первых эмигрантских сочинений (а кто же не писал в те годы — и врачи, и социологи, и кремлеводы, и кремленологи, и стукачи) была не только тоской по березкам и молодости, но и по утраченному с потерей статуса мужскому достоинству. Помню вот дома, вот там! Наименее интересное вспоминалось, как брак, первый, второй, как браки, но тут кто ж тебе виноват? Об этом, впрочем, вообще лучше не вспоминать.

Я встал, сунул ноги в кроссовки. Надо было идти смотреть город Стамбул, Ай-Софию, Золотой Рог. Пока то, что я видел из окна автобуса, при въезде в город, было ужасно: многие километры неряшливых бетонных коробок, то ли оставшихся неотделанными — по небрежности, то ли вообще недостроенных — из-за недостатка средств. И то сказать, город вырос за недавние годы раз в десять-пятнадцать. Говорят: в нем уже больше двенадцати миллионов. Как живут, чем, зачем? Что-нибудь, наверно, продают друг другу? Или все вместе все подряд — туристам. Как

эта вот «Наташа» из соседнего номера. Или молодой бандит-албанец?

Я выбрался из нашего уютного переулка с его старика-ми, курившими кальян, копеечными овощными лотками и переговорными пунктами, которых в Турции больше, чем в целой Европе. На главной улице было полным-полно народу. Большинство турок что-то кому-то продавало в розницу. Остальные возвращались по домам, вероятно, уже обслужив свои торговые точки.

Посреди улицы горделиво и медленно двигался одно-вагонный трамвайчик, раскрасавец двадцатых годов, в целом мире ставший вдруг желанным признаком прогрес-са и спасением от вонючих машин. Ближе к базару Баязет толпа стала еще гуще.

Вдруг попалась надпись на русском, предлагавшая меха и брильянты. Совсем задешево. Дешевле пареной репы. Потом русских надписей стало много. Магазины наперебой извещали, что у них тут говорят по-русски. Можно было зайти в магазин, поболтать, подлечиться от ностальгии.

На углу, у светофора, я услышал русскую речь. Моло-дые женщины. Мордатые. Во всем кобедничном. Русской их речь можно было назвать только условно. В ней была густая примесь диалектов, акцентов, новых жаргонов, нанизанных на шампур недоученной украинской грамма-тики. Пахнуло Кишиневом, Херсоном, Одессой, Нальчи-ком. Глядели они, впрочем, опасливо, недружелюбно. При первых русских словах еще крепче вцепились в ог-ромные полиэтиленовые пакеты, которые они волокли в гостиницу. Что там было в пакетах, можно было только гадать. Вероятно, меха и бриллианты. Одна из дам корот-ко ответила на мое приветствие, две другие тут же взгля-нули на нее осуждающе. И то сказать, нынешний вид мой был мало привлекателен, а раньше мы с ними не были знакомы. Да и кем мог оказаться человек, заговоривший с вами по-русски «за границей»? Скорей всего, жуликом. В лучшем случае, конкурентом.

Сидя тем же вечером в скверике между прославленной Ай-Софией, перебеленной в мечеть, и какой-то другой,

огромной, в ползакатного неба мечетью, я вспоминал весь свой утомительный стамбульский день: дорогой и скучный, похожий на сувенирную лавку базар, ресторан, который тоже тщетно пытался быть дорогим, прохладный холл шикарной гостиницы, куда я зашел в туалет.

Что-то в ней было, в этой гостинице, предназначенной для более лучших, чего я не мог вспомнить и что теперь, сидя на скамеечке, припоминал. И вдруг забрезжило — да, да! Вертинский. Кумир моего отрочества, милый Вертинский. Он ведь тут долго кантовался, в Константи-нополе, а когда приехал, город был уже полон русских. Он вспоминал, что они с другом Путятой отчего-то сразу поселились в самом фешенебельном отеле, в каком-то «Паласе» (откуда деньги?), а потом, разутюжив свой актерский гардероб, пошли гулять по центру — молодые, роскошные, Путята даже гвоздичку воткнул в лацкан. Шикарно и по-домашнему, как «где-нибудь в Харькове, на Сумской».

От любования роскошным другом веет двусмысленно-стью, как от всех его рассказов (нежных о мужчинах, чуть насмешливых, и дружественных — о женщинах), но он ведь и был дитя двусмысленного века. Недаром, описы-вая этого, ко всему подходившего «боком», ломаку и как бы неженку, Петр Пильский вдруг вспомнил Оскара Уайль-да.

Двусмысленны все его воспоминанья, написанные в Союзе или перед приездом в Союз, в Шанхае, — то для нас, то «для них». «Они»-то ведь должны были прочитать их и впустить его, да еще, впустив, не заслать куда Макар телят, как заслали многих.

Не удивлюсь, если выяснится, что он им и раньше подыгрывал, играл в их игры, может, еще в ту пору, когда пел вместе с Плевицкой в Париже. Он мог: для него это была бы просто игра, воспоминанья-то вдруг эстрадно-игровые, прелестные, то бездарные или подловатые. Он был взрослый, здравый циник, актер, труженик, жуир, он хлебнул и тамошнего и здешнего убожества, и он знал, что рассказывать надо только про фешенебельные отели, публика это любит. Возвращаясь домой, я заглядывал в

раскрытые двери нарпита. Вдруг и впрямь он поет еще здесь где-то. Остановлюсь, дослушаю.

«В последний раз я видел вас так близко,

В пролете улиц вас умчал авто...»

Боже, какая магия во всех этих текстах, напетых им так нарочито жеманно! Как потрясли они меня, тощенького советского школьника, в то лето, в конце войны, в двух шагах от его валентиновской дачи (до этого пели мы всей дачей «На позицию девушка провожала бойца...»). Но разве одни школьники от него балдели — и тогда, и раньше, и позже?

В Шампани, где я в одиночестве коченею все эти годы на пустынном хуторе, жившая в нашей же глуши, за дальним лесом, сильно пьющая болгарка-певица рассказывала мне, как к ней за кулисы после какого-то ее парижского концерта пришел знаменитый писатель-француз и стал плакать, благодарить — за это вот «...в притонах Сан-Франциско» Вертинского.

А потом через месяц или два, ночью (они в эту пору обычно добивают вторую литровку виски с мужем ее, французским алкашом-сталинистом) позвонил из Парижа какой-то мужик и очень просил — сказал, что это дядя его очень просил — чтоб она спела у него над гробом что-то такое «про Сан-Франциско», а дядя он, видите ли, того... покончил с собой.

Она поехала петь, и оказалось, что похороны в военной церкви, в Доме Инвалидов. Кругом генералы, знамена, писатели, и сам он тоже был герой войны, вдобавок еврей. Она и спела им в церкви: «Лиловый негр вам подает манто...»

Голос у нее надтреснутый, пропитой. Я пытался понять, откуда взялся этот наш «лиловый негр» и эти предсмертные слезы у французского писателя-дипломата, голлиста, единственного дважды лауреата высшей их литературной премии. Может быть, я даже и догадался о чем-то. Юная его матушка (она, кажется, сразу прогнала скучного своего второго мужа Лейбу Кацева и предпочла быть матерью-одиночкой) в той довоенной счастливой Москве отиралась на театральных подмостках, когда юный, чуть

нюхнувший уже кокаину, вдруг запел и вдруг стал звездой молодой киевлянин Саша Вертинский-Пьеро. И вот потом, позднее, уже в третьей по счету эмиграции, прибирая отельчик в Ницце, она все пела и пела Сашины песенки своему ненаглядному малышу Роме Кацеву, будущему Роману Гари, — такое не забывается. Или вспоминается вдруг перед смертью...

Помню, как сталинист по окончании жениного рассказа выпил последний стакан водки и что-то залепетал, а я достал парижский портрет ненаглядного крунера — тот, где он с огромной собакой.

— Ого, — сказала она. — Он был голубой?

— Отчего? — спросил я ошалело.

— Да так, у них что-то у всех такие собаки... — она улыбнулась так загадочно и безумно, что я с невольной досадой взглянул на поклонника Сталина: жизни, бля, от вас нет... Шел бы ты себе...

— Нет, — сказала он. — Он не по этой части.

— Усталый алкоголик?

— Конечно... Но ведь и я, я ведь тоже вроде этого вашего...

Я кивнул, опечаленный своей ошибкой.

— Понятно, — сказал я. — Наш двусмысленный век...

Позднее я видел у нее нескольких вполне соблазнительных домработниц, за которыми она ездила к себе в «третий мир», даже присутствовал при ее с ними любовных разборках. А еще поздней они пропили дом за лесом и перебрались куда-то еще, оставив мне историю про это пенье над гробом — куда ее деть теперь?

В отеле, поднимаясь в свою келью, я встретил на лестнице юную деву и наугад сказал «добрый вечер». Она остановилась растерянно, призналась; что да, она русская, Эльвира из Ялты, а вы? Я видел, что она не рада земляку-свидетелю, что она вдобавок спешит и рабочий день ее не кончен, а может, только еще начался. Я отпустил ее с Богом. Подумал, что торговая деловитость в сущности идет в ущерб женственности, как у тех мордатых туристок на перекрестке.

Ополоснув виноград сомнительной стамбульской во-

дой над раковиной-писсуаром, я улегся в номере и, жуя виноград, стал вспоминать Ялту — нет не все 124 поездки в Ялту, в Гаспру, в писательский дом на Дарсане — солидный сталинский дом, с толстенными колоннами на индивидуальных балконах и только одним на всех сортиром в конце длинного коридора, с прекрасным садом, с вырезанным безутешной вдовой — хорошо, что не при жизни — сердцем Луговского в скале над тропкой, с огромной и шикарной, как дворец съездов, нищенской столовкой. И не утренние поездки в зимний бассейн, на Чайной Горке, и в чеховский грустный дом, не бродяжку Алису из Киева и не воспитательницу из сиротского дома, что под самым фуникулером, близ то ли улицы Войкова, то ли ихней Леси (хоть эта была Украинка), нет, нет! Мне вспоминалось подвальное кафе в «Ореанде» зимней порой, во время самого моего первого ялтинского «семинара молодых драматургов» (молодыми драматурги оставались до смерти, потому что под семинары старых Союз писателей денег не отваливал, а, помнится, были там на семинаре и совсем старые, например, один эстонец-кукольник, ну а мне-то, молодому подстарку, едва исполнилось тогда сорок, лучшие, можно сказать годы жизни...)

Вот тогда-то мы, помнится, и зашли как-то после зябкой прогулки по обледеневшей набережной в подвальное кафе при гостинице «Ореанда» — просто так, погреться за чашкой кофе. Там царил полумрак, о чем-то булькала музыка, а к бару, как птицы, на жердочках жались ялтинские девицы, лишенные по зиме клиентов (профсоюзные санатории обходились бесплатным самообслуживанием за счет самих исцелявшихся и персонала).

...Назавтра у меня еще оставалось полдня до отъезда в аэропорт. Я вышел из албанского притона, пересек одну шумную трамвайную улицу, потом вторую — по навесному мостику — и пошел в гору. Здесь были какие-то больницы, а также вполне уместные у входа в больницу похоронные магазины со странными, на длинной палке опахалами (вероятно, их здесь втыкают в могилу для красоты, а может, они имеют и какое-нибудь другое похоронное

предназначенье), и милые, словно бы сроду не видевшие туристов, неторопливые турки.

Я кружил по узким улочкам, среди мечетей и погостов, и вдруг увидел деревянные двух — и трехэтажные дома. Точь в таком я провел свое довоенное детство в Банном переулке, что между Первой Мещанкой и Большой Переславкой в Москве. Наши-то дома давно снесли, но эти, последние в квартале, дышали уже на ладан и были подперты столбами, чтоб не падали на прохожих.

Я присел на камень, чтобы перемотать отснятую пленку, и подумал вдруг, что в таких вот домах они и снимали себе комнаты или крошечные квартирки, те русские, что нашли тут какую ни то работу и остались в Константинополе, не потащились за море искать счастья в Германии, во Франции, в Аргентине или в Штатах («трудно плыть, а звезды всюду те же»). Вот, может, тут и писатель М. Агеев жил, он же Марк Леви, автор «Романа с кокаином», нашумевшего в узком эмигрантском кругу в середине тридцатых, а потом снова ставший популярным в восьмидесятые-девяностые, уже в переводах. Где-то он тут и похоронен, наверно, на константинопольском кладбище — на каком, интересно, языке надгробная надпись — на турецком, на русском? Чем он тут жил, как жил? О нем известно так мало, что один парижский профессор доказывает, что его сроду и не было, никакого Леви. Что это все Набоков-затейник написал — и роман, и рассказ, снова одурачив целый мир. Но только, если про Леви известно и вправду мало, то про загадочного Набокова теперь уже больше, чем нужно — так что романа он этого не писал. А написав, не смолчал бы дольше недели.

Дружила с ним, с этим Леви, сумасбродная и милая поэтесса Лида Червинская из «Парижской Ноты» мэтра Адамовича, «незамеченного поколения», обживавшего по ночам Монпарнас. Видно, этот Леви тоже наведывался в Париж. Может ездил к Лиде. Она, рассказывают, потеряла его паспорт, отданный ей на продление. Нашел кому доверить паспорт! И что он делал потом со своей славой в узком русском кругу, беспаспортный этот Леви? А она ведь еще жива была, эта Лидия Давыдовна, когда я

впервые приехал в Париж. Не успел повидать. Теперь уж там повидаемся.

А Сириным-Набоковым он, конечно, восхищался, как все, — может, отсюда и совпадения в их прозе, скрупулезно собранные парижским профессором наших дней. Было у них, значит, время все читать тут в Константинополе. И читать и писать по-русски, тут, на краю света. Да он, видно, забавный еще город был в те времена, космополит-Константинополь. С той поры все почти разбежались, кроме турок. Впрочем, и турки бегут, неплохо заселили Германию. А турецкая деревня тем временем освоила город. Стоя у перекрестка, вчера под вечер, я вглядывался в толпы людей — по-европейски одетых женщин, мужчин при галстуках. Они не были похожи на слишком уж усердных мусульман, и все же. И все же город уплывал куда-то, все дальше от европейского берега.

Пора было прощаться с ним, уезжать. Укрепив на плече сумку со спальным мешком (не на их же простынях валяться в гостиницах!), я покинул комнату-пенал, тысячевосьмисотый временный приют в этой временной жизни: прощай, прощай... Девица Эльвира-Наташа попалась мне внизу, в вестибюле: она отоспалась и была не такая деловая и пуганая, как вчера. Она даже улыбнулась мне и сказала:

— Пока-пока, счастливого вам странствования.

— Пока, — сказал я, — не слишком утомляйте себя, милочка.

Она смотрела мне вслед с завистью. Может, ей здесь уже обрыдло.

Молодой бандит-албанец стоял у входа на мостовой.

— Уезжаешь, — сказал он. — А тут сиди!

Как ни странно, в голосе его тоже слышалась зависть.

— Ну что тебе, — сказал я вполне беспечно. — У тебя русские девушки. С ними нельзя быть несчастным.

Он вдруг помрачнел, взглянул на меня угрожающе:

— Они с Украины.

— Еще лучше! — вскричал я, перевесив сумку на другое плечо. — Гарные дивчины, очи, зирки!

Он не понял того, что я сказал, а главное того, что я понимал. Не знаю даже, чего он боялся — лишних полицейских поборов или разборок с конкурентами?

— Слушай ты... — сказал он с угрозой.

— Да, зирки, зирки, ты мене пидманула! — сказал я вполне жизнерадостно: мы стояли посреди улицы, на нас таращились хозяин переговорного пункта и зеленщик, я был в безопасности, судьба снова выручила меня из беды, готовя к последней, окончательной передряге.

Я не дождался окончательного оформления его мучительно неповоротливой мысли и зашагал к трамваю.

«Терминал С» стамбульского аэропорта был полон ожидающих пассажиров. Об отправлении парижского самолета, видимо, лишь случайно угодившего на этот терминал, еще не было объявлено. Зато объявлено было об опоздании самолетов на Петербург, Херсон, Нальчик, Симферополь, Челябинск, Киев, Москву и Алма-Ату.

Ожидающие иностранцы, бывшие мои и друг друга земляки, сидели в обнимку со своими огромными тюками, замотанными в пластик. Иные убивали время, обматывая заветные тюки клейкой лентой, которая должна была уберечь товар то ли от воды, то ли от огня, то ли от любопытства сограждан.

Я отыскал свободный стул, рядом с каким-то кудрявым парнем лет двадцати трех, и без труда вступил с ним в беседу. Он летел в Москву, и я гордо сообщил, что я вообще-то тоже москвич. Он взглянул на меня насмешливо — я был уже не такой москвич, как положено. Сам он летал в Стамбул из Москвы каждую неделю: какой-то челночный бизнес, импорт-экспорт. «Свое дело», — сказал он. Всего делов-то. Он похвастал, что летает и в другую заграницу, в Киев, например. Но вообще, ему уже надоело.

Я вспомнил, что я впервые выбрался в эту капиталистическую заграницу (в тот же Стамбул) сорока шести лет отроду. Но он прилетал сюда по делу, так что он, в сущности, еще ничего не видел — ни в Москве, ни в Стамбуле. И ничего никогда не читал. Может, поэтому он

и был такой прекрасно-кудрявый, жизнерадостный. В общем-то, он мне понравился. У него не было этой сосредоточенной подозрительности и неизбывной торговой скуки в глазах. Мне даже захотелось расспросить его кое о чем, о секретах счастья, но тут объявили о начале регистрации на парижский рейс.

— Ладно, в другой раз, — сказал я.

И подумал, что и поздно уже, наверно, и бесполезно выведывать чужие рецепты...

Стамбул — Париж, 1996

ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ

«ДОСЬЕ БЕГЛЕЦА»

По следам неизвестного Пушкина

Настойчивое желание великого поэта добиться разрешения отправиться в Европу из ссылки в Михайловском и из Москвы (1824-1829). После отказов Николая I и Бенкендорфа - подготовка к побегу под видом слуги своего приятеля и для лечения болезни, которую он выдумал, подкрепив справкой ветеринара. История вербовки Пушкина в осведомители с обещанием выпустить в Европу. Путешествие поэта в Арзрум с целью нелегально перейти турецкую границу.

Hermitage Publishers, 1993, 271 c, $ 15
P.O.Box 410 Tenafly, NJ 07670

На основе критического изучения огромной литературы, писем современников и архивов тайной полиции известный писатель и профессор русской литературной истории Калифорнийского университета впервые в пушкинистике исследует страстное желание поэта покинуть Россию, в которой, как Пушкин сам выразился, черт догадал его родиться с душой и талантом.

Фото Марианны Волковой

Александр АЛЕЙНИК

ДРУГОЕ НЕБО

* * *

Как жизнь похожа на себя —
ну что присочинить, прибавить
к ней? Удивляясь, теребя
подол ее, еще лукавить

мальчишкой, сладкого прося,
пока еще не оскудела,
пока на сгибах и осях
к ней приспособленное тело

скрипит, и песенку свою
из воздуха, воды и хлеба
вытягивает и — на Юг
идет окном вагонным небо,
плывет само сквозь пыль огней
и кроны рощ, поля и крыши
и теплые ладони дней
на стыках рельс меня колышат.

Я в Харькове сошел купить
мороженое на вокзале
и просто на землю ступить,
чтобы ее мне не качали.
Там тоже жизнь и запах свой:
арбузов, теплых дынь и яблок,
и у меня над головой
луна, как проводница, зябла.

Я жил на влажных простынях,
когда придвинулся Воронеж,
стояла ежиком стерня
и пахла степь сухой ладонью,
и небо млело под щекой
под утро, грея неуклонно,
дымящийся в степи Джанкой
в звериных дерганьях вагона.

Хотелось жить, как не хотеть
курить, высовывая локоть
к звезде высокой и лететь
над этой далью белобокой,
огни в тумане размечать —
там, чай, играют на гармошке
и дышит девка у плеча,
да влажные заводит плошки
целуясь или хохоча...

* * *

Стучит по небу вертолет,
руками согнутыми водит,
качается его живот
совсем один в пустой природе,

и капает прозрачный снег,
и на вспотевших крышах баки
урчат, как толстые собаки,
но знают — выше человек

обломанным штурвалом крутит,
и греет мех его бока,
а острова лежат, как люди,
взлетающие в облака.

Свобода свой огонь возносит —
она в веночке из гвоздей,
стеклянный машет долгоносик
антенной тоненькою ей,

а сам поет свою молитву
красоткам уличных реклам,
пока, жужжа электробритвой,
Нью-Йорк глядится в океан.

* * *

Я буду детскую открытку
носить в советском пиджаке,
в американскую улитку
преображаясь вдалеке.

В немыслимой толпе Нью-Йорка
услышу — небоскреб шепнет
в ущелье улиц: «Бедный Йорик»,
и череп мой перевернет.

* * *

Прошла зима и облупился пласт
оштукатуренной стены,
как будто воспаленный глаз
глядит в меня из старины.

Он был бордовым — этот дом,
а двор под ним — в булыжных лбах
и небо с хлопавшим бельем
скрипело на шести столбах.

«Дом — это грусть», идешь назад,
но странно движешься вперед,
остановив в прошедшем взгляд —
увидишь в будущее ход.

Так электричкой на ходу
из — двери в — дверь — через вагон,
вошедшие назад идут,
но входят в новый перегон.

Подобье странного моста
уводит из тенет ночных
на отслужившие места
к покинувшим навечно их.

* * *

А. Межирову

В провинциальных городах России,
на переживших «ленинов» вокзалах,
еще стоят фанерные диваны
с крутыми вензелями М.П.С.

Трамваи, как аквариумы света,
несут покорных жизни пассажиров,
набоковскими поводя сачками,
в которые влетают фонари.

На привокзальных площадях деревья
стоят поруганной толпой в воронах,
а жизнь кипит: пельмени в ресторанах
от ужаса зажмуривают веки.

На улицах китайщиной торгуют,
многажды книг, как встарь «Политиздата»,
хихикая листают малолетки
картинки дивные про органы любви.

Так и выходит из кулис свобода
и гипсовые рушит изваянья,
и топчет обесцененные деньги,
и приобщает отроков страстям.

В Перми, Саратове, Новосибирске
штудируют язык языковеды,
«шнурки в стакане», «ваучеры», «лизы»
по алфавиту строят в словари,

и если «В родине» на той же ниве
ты продолжаешь поприще свое —
переведи меня на речь эпохи
чудесно оголенных постаментов.

93 г.

* * *

Когда я вспоминаю те края,
я вижу ряд предметов неподвижных:
луга и рощи не меняют места,
а мимо них бежит все тот же поезд,
и с той же проводницей пассажир,
терзая летную фуражку,
любезничает в тамбуре укромном,
но скоро станция и ей махать флажком.

Все так же там пылят дороги,
асфальт долбают в том же месте,
газеты продают в киоске том же
и церковь ремонтируют всегда.
Миграции строительных лесов,
таинственная вязь заборов
подчинены нордическим законам,
незыблемым, как восхожденье звезд.

Как девки в русском хороводе,
по кругу ходят милые явленья:
вот в этой подворотне пузыряют,
занюхивая водку рукавом.

А тот чердак — любви стоячей служит,
и сколько ж из него взошло детишек,
какие страсти он не повидал,
Там провожают юношу в тюрьму,
а здесь оттуда же встречают тятю.
Уж Ильича и Сталина не колют
подростки на томящейся груди,
но на плаксивых надписей набор
и на русалок мода не проходит,
как на восход светила в бирюзе
и купола, что означают «ходки».

И я, отрезанный ломоть,
на дне зрачков Россию осаждаю,
тюремно-праздничной архитектуры
Кремля приветный узнаю напор,
и заводных солдатиков кремлевских,
печатающих шаг, как сторублевки,
и трупно коченеющих у двери,
ведущей в подземелье, где живет
Кощей советский перед погребеньем...

* * *

Сердце спускающееся этажами —
сна содержанье,

гулкие лестницы и дворы —
всегда пустые, цвета норы,

небо прижатое к крышам и окнам
всей тоской одиноко,

в штриховке решеток повисшие лифты
на кишках некрасивых,

перила в зигзагах коричневой краски —
как сняли повязки,

шахты подъездов с тихим безумием
масляных сумерек,

любви, перепалок, прощаний
небольшие площадки

в геометрии вяловлекущей жизни,
склизкой как слизни,

город с изнанки — двери, ступени
в улиц сплетенья,

куст ржавеющей арматуры
из гипсовой дуры,

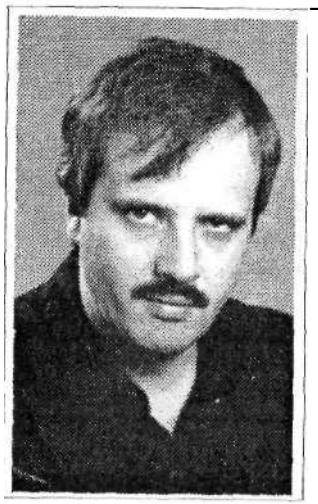
лиловые ветви спят на асфальте
смычками Вивальди,

скелетик моста над тухлой водою,
сохнущий стоя,

холмы, к которым шагнуть через воздух
не создан,

но можно скитаться в сонном кессоне,
расставив ладони,

врастая в обломки пространства ночами,
жизнью — в прощанье.



Сергей ШАБАЛИН

В МЕРЗЛОТЕ, МЕЖДУ РАЕМ И АДОМ

Под занавес

Не казни себя, чистильщик сапог.
Век истоптан. Нас не выручил Бог.
За размытой привокзальной чертой
Мы из горечи заварим настой.

Будь спокоен, городской шалопай.
Над тобою — облаков скорлупа
И пропеллера упругий цветок
В плошке дня взбивает солнца желток.

Не печалься, отставной арлекин.
Ты запуганные толпы лечил
От серьезностей, что хуже убийств,
Но отдал бы за щепотку любви

Смеха насыпи.
Блаженствуй поэт.
В богадельнях новых гунов нас нет.
И богемно-приблатненная мразь
Не твоя, чистильщик строк, ипостась...

За размытой привокзальной чертой
Мы горячий разливаем настой.
Но ледок в провалах выцветших век
Говорит, что проиграли мы век.

Мир — вокзал. Его утроба — дыра.
Развесной релятивизм — мура —
Отговорки для лоснящихся харь.
Заглуши их звездным звоном, звонарь!

Вечер. В лунки стадионов и урн
Сыпет лунность виртуоз-штукатур.
Мы на время покидаем посты
У размытой привокзальной черты...

* * *

Ноябрьский полдень — горечи глоток.
Рябого неба — пепельная ретушь.
В погасшем парке завершился срок,
Отпущенный на фестивали цвета.

Повеса парк — янтарных будней мот —
Стал пуританином безлиственно-покорным.
Как беспощаден вещий переход
Из безрассудной яркости в минорность!

Как незаметен роковой порог —
Под своды отчужденья шаг постылый.
Что ж, — говорю я, — трезвость — не порок,
Не серость, не бездушье, не бескрылость.

Развилки боли. Брошенность аллей.
Иероглифы окаменелых веток.
Подкрался вечер... Кубки фонарей
Заполнил эликсир электросвета.

И обозначил вязь забытых строк,
Плывущих в устье дня ночным нарядом.
Вслед за дождем, что нем и одинок,
Подобно парку, приютившему ноябрь...

* * *

Вечер пишет постскриптум. Прощальное солнце в пике.
Засыпающий пляж натянул одеяльце тумана.
Конференции чаек на забрызганном солью песке.
Оратории океана.

Керамический лайнер топорщит трехцветный закат.
Я лежу на спине, изучая воздушные трассы.
Я уже отсчитал свой тридцатник на грешных песках,
И провинции неба теперь не пугают пространством.

Хорошо жить на пляже, бежав от локтей и
От кривых Доу Джонса*, нелепости вечных цейтнотов.
Спать под стойкою пирса и пламенно верить в ничто.
В отрицание смысла... Да, только не верится что-то.

Мои мысли о них — о камнях отшумевших лавин —
Чародеях-строителях в небе потерянных лестниц.
Непростительно трезвый, я завидую им.
Как несбывшийся хиппи последней декады столетья...

Из дневника N2

Ночь нырнула в оконный пролет.
Отзвенела на кухне утварь.
Мир, в норе затаившись, ждет
Белозубой улыбки утра.

* Биржевой показатель.

До утра далеко, а пока,
Опалив парусину неба,
Ночь, докуривая,
облака,
Сорит пеплом
серого
снега.

Мир, в норе затаившись, ждет
Крика дня в колыбели завтра.
Девяносто четвертый год,
Умерщвленный
прицельным
залпом
Артиллерии неудач,
Как наследство, оставил сыну
Ощущение, что не сыгран
Подводящий
итоги
матч.

Что, похоже, потерян темп
И смещен ускоренья вектор...
Покосились
мачты антенн,
Утомленные
схваткой
с ветром.

В капитанских рубках — угар:
Мир во власти духовных бомжей.
Карты нет. Есть колода карт.
И надежда на милость Божью.

И фонарные скулы вывернув
И терзая прядь проводов,
Ночь подбросила
лунный гривенник
Над торосами
городов!

Далеко еще до утра.
Снег пропитан
мочой с методоном*.
И зловонный газетный прах
На обочинах
похоронен.

Мир, в ночи затаившись, ждет...

Февраль 1995

Не называемое

Я пишу для театра «Кривое эхо»
Несерийной жизни антисюжет.
Отражаюсь в зеркале — только я ли это?
На плечах пальто — но меня в нем нет.
Протыкаю кофе двурогой вилкой.
Зачерпнуть пытаюсь. Из года в год
Я вхожу в Ваш дом через черный выхлоп,
Выхожу через желтый вход.
Каждый миг на ось ошибки нанизан.
Застревают в челке намокшей пальцы.
Устою на тощем ребре карниза.
Подскользнусь на сухом асфальте.
Леденящим сном по кадык залит,
Вижу, как над постельной ванной
Расписное яйцо Земли
Вязнет в сетке меридианов.
Мне бы черной дыры недра
Вскрыть спиралью тысячелетий.
Но вокруг меня — жидкое небо,
Как в одной позабытой ленте.
Я пишу для театра «Кривое эхо»
Несерийной жизни антисюжет.
Вот мое отражение — только я ли это?
Вот пальто, душа... Но меня в них нет.

* Препарат, используемый при лечении от наркомании.

Не надо

Я из тумана занозы дождя вынимаю азартно.
Я разучил на губах твоих гулких Сирен серенады.
Только отшельную душу (нутро азиата)
Мучить рогатками игреков хитрых не надо.
В день, когда выкину лыжи без ложной бравады,
Вздыбьте над городом сонным созвездий бизоны.
Только кресты-магендовиды ставить не надо
На отсыревшие ребра... Я справлюсь без оных.
Все мы живем в мерзлоте, между раем и адом.
Ты в предначертанность веришь и в линии судеб?
Только кроить из меня хироманта не надо
И гороскопить в пространство мы тоже не будем.
В общем пока шевелюсь, приглашаю на площадь
В амфитеатр чудачеств моих, не ломайся.
Может, когда-нибудь вспомнишь о том, что усопший
Был в готовальне земли — инородный фломастер.
Был но по части расчетов по счастью невеждой.
Там, где толпы побеждала обрыдлость немая,
К стежкам оранжевых молний испытывал нежность,
Из пелерины тумана по нитке дожди вынимая...

Канатоходец

По окошку в небо утекают плавно
Стены стеклотелых зданий, как вода.
Над землей ни туч, ни лун, ни звездопланов.
Только эскапады ангелов. Когда
Он планирует в ночь неторопливо —
Флегматичный донор шляп, зонтов, ключей —
Фонари закидывают желтые гривы
Выстиранных в прачечной гроз лучей.
На подносе площади — пунш фонтана
Разноцветит стекловатой брызг.
Персонажи памятника тают в танго,
Но в руках у них — топоры.

Он говорит: — Век 21-й это молот
Над глиняной судьбой надеждок хрупких.
Не я один был надвое распорот
Бетонными клешнями душерубки...
Безвыходность. Зачем, ты площадь,
Жонглируешь колумбами предчувствий,
Как прочим скарбом раннего упадка —
Времен бескровных, но вполне кошмарных?..
Ему не просыпаться в пекле пляжа,
Ловя чаинки чаек в чашке полдня,
Где красных тел мясистые коллажи
И волны, что Копакабану помнят.
Где маскарад гостиничных парадных
И мякоть жизни за прибрежной дымкой.
Ему над пастью пропасти площадной
Идти канатоходцем-невидимкой...

ТРАДИЦИЯ НЕНАВИСТИ

Почему евреи страдают от юдофобии? Правда ли, что евреи "устроили" революцию 1917 года и развязали геноцид против русского народа? Действительно ли все чекисты были евреями? Совершили ли евреи "ритуальные" убийства царя Николая II и поэта Сергея Есенина? Что дали евреи человечеству?

Ответы на эти и многие волнующие вас вопросы вы найдете в новой основательно документированной книге Ефима Маневича *"Традиция ненависти".*

Цена книги (311 стр.) с пересылкой в США 12 долларов 50 центов, вне пределов США - 14 долларов.

Заказы по адресу: World Review, P.O.Box 1147, Fort Lee, NJ, 07024

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

ТЕАТР АБСУРДА

Комедийно-философское повествование о моих двух эмиграциях. Опыт антимемуаров

СОДЕРЖАНИЕ:

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. РОДИНА, ТЕКСТЫ И Я

Нью-Йорк; Правительство в изгнании; Шинау; Израиль; Бейт-Бродецкий; Рувен Веритас и другие; Снова Нью-Йорк; «Свободный мир»; Мой иностранный паспорт; Дядя Сол; Под знойным солнцем Тель-Авива; Что нужно бедному еврею?; Дом, в котором я жил.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗАЛП «АВРОРЫ»

Инженер Сэм Житницкий; «Оплот Израиля»; Мы жили... Мы ждали; Судьбоносный день; Сага о черемухе.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НАХМАНИ, 62

Мой Атлантик-Сити; Лорд Шацман и его персонал; Про Мейерхольда и Ворошилова; Странная штука — жизнь; Лефортовская одиссея; Ленин-Бланк и наша эмиграция; Мать и мачеха; Пир победителей; Облака плывут, облака.

Книгу можно заказать в редакции «Время и мы».

"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE
LEONIA, NJ 07605, USA
Tel. (201)592-6155

Цена книги 10 долларов.
В книге 254 стр.

Общение без позы

По сравнению с замечательными стихами все немного ложно. Может быть, вам знакомо, читатель, это чувство стыда (за себя), чувство собственной неполноценности. Речь, конечно, не о комплексе неполноценности, который агрессивен и в тайных и ненавидимых собеседниках держит автора. Речь о вполне чистом чувстве, вызванном чем-то абсолютно правдивым, но — не о благодарной (благодарящей) его стороне, обращенной к художнику, а о другой, обращенной к себе: до этого мгновения я был хуже, чем следовало, хуже, чем эти стихи, я был немного фальшивым и немного уродливым. Я говорю об этой, «стыдной» стороне не случайно, но, если угодно, предлагая тебе, читатель, свою собственную и очень простую меру подлинности произведения. Эта мера особенно актуальна в случае стихов Александра Рихтера. Все, повторю, кажется в сравнении с ними немного ходульным и наносным.

Более высоколобые рассуждения оставим литературоведам, которые, впрочем, своими лбами не обойдутся и призовут на помощь В. Ходасевича, или позднейшего Г. Иванова, или еще кого-то.

Но очевидная произвольность этих привлечений мне не по душе.

Итак, поэт Александр Рихтер

Владимир Гандельсман

Александр РИХТЕР

Я ТУТ ЖИВУ — ВДАЛИ ОТ ВЕЧЕ

Пустырь корявый, серенький залив.
Кораблик мешкает у моста.
День пасмурный нетороплив.
Мне зонтик служит тростью просто.

При шаге в щиколотке хруст.
Тик деликатно тянет веко.
Недавно поврежденный куст,
не верьте сантиментам человека.

* * *

Я мог бы спать довольно долго,
но раннюю смерть прозевал
и вот с утра, в рубище долга,
плетусь на ближний карнавал.

Чтобы в разгаре свистопляски
торчать, твердя свой алфавит,
как бы в углу холста Маньяски
фигурой гнусною на вид.

* * *

Вот-вот прервется канитель.
Все тяжесть-опыт, суд да дело.
Как паралитика, в постель
веду мое чужое тело.

Сознанье долго держит речь —
расчетливей, чем папский нунций.
А ведь хотелось просто лечь,
без обязательства проснуться.

* * *

Где наяву так вольно деться?
Не исчезай, еще побудь.
Опять ловлю тебя, как в детстве
из градусника выпавшую ртуть.

Прекрасный сон, побудь со мной.
Все высохнет, что горечь пропитала.
Спасибо жизни ледяной
за шерстяное одеяло.

* * *

Что кануло, что промелькнуло.
Немного грусти, больше хруста.
Сирень сухая прозы Пруста
или сырая соль Катулла.

Привычно, отраженьем отражений,
гляжу в ночной квадрат окна
и, если в доме нет вина,
пью старый уксус поражений.

* * *

Смущают проблески сознанья
не хуже сказок братьев Гримм.
Рыдают ангелы над нами,
хотя все тише говорим.

Круг дружеский покоится квадратом.
Остры углы семейного стола.
Как должно отнесясь к утратам,
находим ванну, в поисках тепла.

* * *

Ни Кант задумчивый, ни вдумчивый Аврелий —
никто не блещет здравием теперь.
Мы как-то сразу скопом постарели.
Где скрип затянется, где просто хлопнет дверь.

Твое письмо на возраст мягко ропщет,
и сострадает, и скорбит.
Ты далеко... Найдя на ощупь,
сам глажу свой тромбофлебит.

* * *

Я тут живу — вдали от вече.
Здесь жженных пустырей сиена.
Здесь к вечеру сдвигают стены
волнений оплывающие свечи.

Здесь шаркаю как маятник Фуко.
Хандра пристегнута английскою булавкой.
Напротив храм, вблизи спиртная лавка —
здесь все под боком, то бишь, далеко.

* * *

День неподвижный в кольцах сплина.
Бессонницей издерганная ночь.
Мне, Шуре, самодисциплина
могла бы здорово помочь.

Азы благие альтруизма.
Полезный труд. Общение без позы.
На ужин фрукты. Ванна. Клизма.
В постели томик старой прозы...

* * *

По всем статьям черкнуть пора.
Но правда чрезмерно сурова,
а лгать — нет ни красного слова,
ни легкости чудной пера.

Молчанье предпочтительней. Тем паче,
тебе все в сущности знакомо.
Как прежде, фланирую дома
с застывшей гримасою плача.

* * *

Сердечный друг! Мы стали вялы.
Нас не влекут былые идеалы.
Теперь стараемся пореже
воспоминать, как розы были свежи.

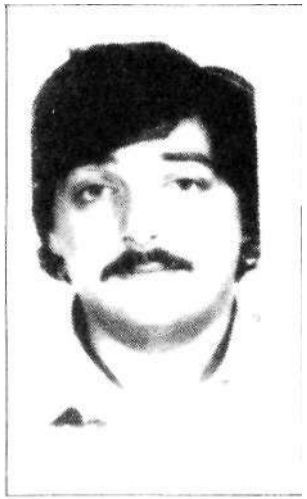
И, если слышим краем ушка,
почем больничная подушка —
не смеем даже думать, милый,
о тайных прелестях могилы.

* * *

Заплеван вавилонский ярус.
Мне слово нравится — урон.
Теряет перышки Икарус.
Бренчит монетками Харон.

Еще есть время дотемна.
И вот скамья на повороте.
Старинный аргумент несет волна.
Присядем, если ты не против.

Нью-Йорк, 1994



Дмитрий БЫКОВ

ГЕНОЦИД

Слово «геноцид» применительно к тому, что происходит с российской образованщиной, мне подсказала девушка, которую я любил когда-то. Мы случайно встретились в центре и вместе шли к метро. Зовут ее Лена, она кандидат исторических наук и работает секретаршей в некой фирме по продаже недвижимости. Научилась профессионально варить кофе и со скорбной гордостью сообщила мне, что шеф доволен. Почему она не работает по специальности, я спрашивать не стал, будучи человеком тактичным. Она-то, долгое время занимаясь мрачным первым периодом советской истории (1917—1920), и подсказала мне этот термин.

Сразу объясню, почему я не пользуюсь нелюбимым мною словом «интеллигенция» и употребляю еще менее любимое солженицинское слово «образованщина». Андрей Синявский был прав, говоря, что «образованцы» слишком напоминает «оборванцев» или «засранцев», но «интеллигенция» — понятие размытое, общее и слишком

часто позволявшее себя ошельмовывать. Под образованщиной я, вслед за Александром Исаевичем, понимаю всех людей с высшим образованием.

В последнее время телефон мой содрогается от шквала звонков и я содрогаюсь вместе с ним. Звонят коллеги, друзья и вообще братья по прослойке. Все просят хоть о каком-то трудоустройстве. В большинстве случаев я ничем помочь не могу, потому что сам работаю на трех работах, едва свожу концы с концами и ищу, кто бы меня так трудоустроил, чтобы оставалось время и на личную жизнь. Один коллега сообщает мне, что его газета перекуплена неким концерном, кардинально перепрофилирована и журналисты его типа там больше не нужны: нужны молодые крепкие ребята, способные писать репортажи о ночной жизни или опрашивать бизнесменов, где и почем они купили вот эти ботиночки.

Вузовский преподаватель со знанием двух языков просит найти учеников.

Близкий друг, инженер-системотехник, мастер — золотые руки, спрашивает, нельзя ли ему через мою протекцию устроиться в газету «Ее трусы».

Физик сидит на телефоне, нанятый фирмой, сдающей и снимающей квартиры.

Знакомая девушка-скульптор подвизается на поприще гувернантки в богатом доме.

Редактор двух моих книг, вышедших в его издательстве, доводит до моего сведения, что у издательства нет денег на аренду крошечной комнатки, где оно размещалось, и переквалифицируется в грузчики. Впрочем, возможно, ему подкинут должность корректора.

Лидия Гинзбург в 1929 году писала в дневнике: она зарабатывает сочинением детского детективно-просветительского романа «Агентство Пинкертона», Тынянов и Шкловский пишут сценарии, Чуковский живет гонорарами за лекции... «Нам платят за то, что мы не занимаемся своим делом», — беспощадно формулирует она. Нам тоже.

Возникает естественный вопрос: почему я говорю о геноциде только применительно к образованцам, а не

распространяю это понятие вслед за патриотической прессой на весь русский народ? «Геноцид русских!» — кричат прохановцы вот уже шесть лет кряду, но можно было бы пойти и дальше — на территории России живут не только русские. Геноцид российского населения, вот это будет вернее; но даже самый пылкий любитель пролетариата согласится, что возможностей трудоустроиться сейчас меньше всего у людей, занятых умственным либо высококвалифицированным трудом.

Чернорабочие требуются везде. На даче у моего соседа живут сейчас два кандидата наук из Молдавии — вскапывают огород, перекрывают крышу и делают фундамент для его особняка (сосед работает в Газпроме и собирается возводить на своем участке нечто трехэтажное, с паровым отоплением).

— Сволочи! — крикнет мне пролетарий. — Так и надеялись всю жизнь просвистеть на халяву, за столиками да за машиночками, чтобы ручек не замарать? Дулю! В деревню марш, за птицами ходить! Лопату в руки — и вперед, поешьте нашего хлебушка!

Ай, ай, ай, что-то знакомое! Слыхали мы про этот хлебушек, видали эту дулю, а также знакомы с гордым заявлением «Мы академиев не кончали, в платок сморкаться не обучены!» Это имело место в двадцатые годы нашей славной истории, когда «интеллигузию» истребляли вполне сознательно: она, по красочному ленинскому определению, была «говном» (см. ПСС.) Говно это мешало строить новое государство, потому что оно много и несвоевременно мыслило. Жить своим трудом ее приучали на Соловках, а потом и в местах более отдаленных. Но тогда она, понятное дело, была идеологически неудобна. А сейчас? Подозреваю, что сейчас она удобна не более. И присутствуем мы не при издержках рынка, а при сознательном и целенаправленном истреблении всех, кто пытается думать. Потому что если начать думать о том, что сегодня происходит в стране, — либо с ума сойдешь, либо за оружие возьмешься.

Давайте по порядку. В 1986—1991 годах интеллигенции были даны беспрецедентные права, журналы выходили

миллионными тиражами, к образованцам прислушивались, их любили. Потому что нуждались в них — именно они привели Ельцина к власти! Именно их лозунгами, их приемами, их имиджмейкерами пользовался наш народный президент. А как схлынул информационный бум, а книжный голод сменился более низменным, продуктовым, — тут-то наша власть и пошла на попятный, усиленно соглашательствуя.

Чтобы купить расположение красных, коричневых, бурых и иных «дизентерийных», стали «интеллигузию» помаленечку сдавать. Перестройщика Егора Яковлева — вон с телевидения, образованца Гайдара — подалее с глаз, и чтоб не смел давать советы, Новодворскую — под суд, а во власть призвали точно таких же дилетантов, что и раньше, но без высшего и вообще без всякого образования. То есть с философским образованием образца Зверюганского пединститута, кандидатская диссертация на тему «Роль комсомольской требовательности в деле воспитания борцов за экономную экономику».

В общем, интеллигентов отовсюду поперли под тем предлогом, что они прекраснодушны и с практикой дела иметь не могут. Поперли-то их на самом деле потому, что знание обычно приумножает совесть и убавляет решимости рубить сплеча. Интеллигент, он же образованец, удобен чем: своим вселенским чувством вины. Что с ним ни сделай — ему кажется мало. Напоминаю известный анекдот: интеллигент идет по улице, под мышкой книжка, на носу очки, в душе осень. Подбегает амбал, в нос — хрясь, книгу в грязь, очки хрусть.

— Что вы делаете?!

— А х... ли ты? — говорит амбал и убегает.

Интеллигент собирает книжки, поднимает шляпу, ищет очки. И все это время думает: в самом деле, а х... ли я?

Вот и во мне уже поселился комплекс вины, так что я все время отвечаю предполагаемому оппоненту: конечно, мне скажут, что стране не нужно такое количество образованных людей. Поэтому пусть учителя продолжают кормиться с собственного огорода, инженеры роют другому яму под фундамент, зоологи и ихтиологи ездят за рубеж «челноковать», редакторы нанимаются в сезонные рабочие, а журналисты постепенно забывают, что такое публицистика и журналистское расследование, и учатся писать о размере «сисек» и «диаметре пиписек».

Все это очень справедливо. Но позволю себе спросить: а такое количество торгашей стране нужно? А такое количество фирмачей, перекладывающих бумажки в офисах? А такое количество халявщиков, которые в ночных клубах делают комфортным отдых двух вышеназванных категорий? А такое количество политиков, наконец, — губернаторы со штабами, отставной козы президенты со штабами, — это все нужно стране? Не нужно? Тогда почему существует? Видимо, потому, что все действительное разумно...

Весь мир постепенно избавляется от низкоквалифицированного и ручного труда. Во всем мире давно непрестижно быть чернорабочим. И только в России престиж любой интеллектуальной профессии по-прежнему под вопросом, потому что «здесь мерилом работы считают усталость», а идеалом экономического устройства остается натуральное хозяйство: сам пашу, сам кормлюсь! Выходит, то единственное, ради чего стоит жить, то, что после нас останется, та самая душонка, обремененная трупом, — все эти культуры и науки, искусства и чувства, — все это подлежит временному истреблению, поскольку не входит в сферу ручного труда.

На самом деле виноват не рынок — на него валить бессмысленно. Во всем мире рынок, и почему-то США свою великую депрессию за три года благополучно перевалили. Максимум — за пять. Но когда вся страна погружена в великую депрессию седьмой год подряд, а то и десятый, и главной заботой все это время остается забота в буквальном смысле о куске хлеба, и хуже всего чувствуют себя самые умные, — нет, это даром ни для кого не проходит. Это нормальный возврат в пещеру.

И все это время мы говорим о престиже высшего образования. Ах ты Господи, действительно престиж! В этом году в МГУ подано на 11 процентов больше заявлений, чем в прошлом! И ни одной живой душе не приходит

в голову, что происходит это никак не вследствие возросшего престижа МГУ, а в силу той элементарной причины, что рабочих мест для молодежи нет, а выталкивать свое чадо во взрослый мир непосредственно после школы наш человек еще не готов. «Макдоналдсов» в Москве всего пять, и потому устроиться в кафе, подобно западному сверстнику, наш подросток не может, даже если бы хотел. Молодежных строек, на которых хоть и жить было тошно, но платили бешеные бабки, в стране больше нет. В армию не хочется. Молодому человеку некуда деваться, и он идет в вуз, потому что всегда в СССР было так принято: после школы — институт. Одно время мы перестали быть Советским Союзом и поступить в институт стало легче. Теперь прежняя ментальность вернулась окончательно. И потому возрос конкурс даже на такие непопулярные и сугубо непрестижные факультеты, как почвоведческий и геологический: абы куда, лишь бы не на улицу!

А теперь спросите меня, сколько прошлогодних выпускников МГУ работают по специальности? А я вам отвечу, что такой статистики нет. Распределение умерло, и никто не следит за тем, чтобы выпускник отрабатывал потраченные на него деньги. Слава Богу, что принудительного распределения не существует в свободной России, — но хоть отслеживать, кто куда делся, мы имеем право? И мне сообщают весьма приблизительную цифру: из выпускников МГУ по специальности работают, по разным подсчетам, от восьми до пятнадцати процентов. КПД рассчитайте сами!

Собственно, и раньше выпускники филфаков не рвались в школу, но сегодня школа задыхается без кадров и продолжает сидеть без зарплат. И раньше инженеры, случалось, прирабатывали грузчиками. И раньше врачи предпочитали не работать в больницах, а практиковать на дому, ибо консультации на дому были и в самые тоталитарные времена. Но сегодня, когда везде не хватает людей нужнейших профессий, делается все для того, чтобы их не хватало и впредь. То есть учителям и врачам создаются невыносимые условия. Общество живет в информационном вакууме, общество жаждет знать правду о

механизмах власти, а журналистов напропалую перекупают издательские концерны, и государство уже не позволяет себе содержать объективные издания. Оно если кого и содержит, то разве что проправительственные вестники. А по хваленой свободе печати наносится удар за ударом: издание, не принадлежащее магнату и не лоббирующее его интересы, едва сводит концы с концами! Удивляться ли, что по последним опросам общественного мнения, прессе и электронным СМИ доверяют от 9 до 20 процентов читателей и зрителей?

Все это мало похоже на цепь случайностей. Гораздо больше напоминает это целенаправленную политику, главная цель которой — люмпенизация образованных людей. Падение их авторитета. Устранение их из власти, из обихода, а лучше бы и вообще.

Чиновники пишут с ошибками. Офицеры не знают техники. Выпускник вуза зачастую понятия не имеет, что в России было трое Толстых (на самом деле больше, но помнил бы хоть трех китов). Человеку с высшим образованием сегодня точно так же негде заработать, как и студенту в застойные времена. Репетиторствовать могут только те, кто впоследствии войдет в приемную комиссию и поможет при зачислении в институт. Переводчики не нужны: места синхронистов, а также переложителей фантастических саг уже заняты. Да и не надо нашему народу столько фантастических саг. Что ж, читатели, прикажете в дворники?

Честность, верность себе, чувство собственного достоинства — в сегодняшней России может себе позволить только богатый. Работу по специальности, работу, которая интересна, — тоже. В результате полстраны на ненавистных местах, на чужих должностях работает спустя рукава. Интеллигенция перестала размножаться — детей кормить не на что. Да что там? — Интеллигенция перестала жениться, ибо жить с родителями, сами понимаете, не пряник, а снимать? Где уж тут снимать, когда кушаешь не ежедневно! Словосочетание «интеллигентная семья» на глазах теряет смысл: десятки моих друзей, женившись, не могут жить вместе. Им негде.

Одно время, когда верховная власть была еще крепка и народ не проявлял наклонности к бунту, ему внушали: выживут те, кто достоин, а кто недостоин — пусть с голоду сдыхают. Хочешь жить — умей вертеться. Эта идеология порождала глянцевые портреты селф-мейд-менов и подробные их рассказы о том, как они своим собакам покупают набрюшники от Версаче. Народ покраснел от гнева (а местами и покоричневел) — и любимым героем телевидения стал коммунальный тип с супругой, гегемон-щеки-брюквой. Интеллигент, он же образованец, при такой перестройке остался личностью маргинальной и мало кому интересной. А сетования о бедственном положении культуры с легкой руки академика Лихачева всегда приправлены словами о том, что подлинную культуру у нас хранят провинциальные библиотекари. Ненавижу я этих провинциальных библиотекарей, имеющих дело исключительно с картотекой, злобных, придирчивых дам без личной жизни! Настоящая культура у нас бедствует не только потому, что денег нет, — это как бы дело десятое! — а потому, что ей внушили: ее место — в канаве. Нужно то, что прибыльно. И вот теперь: без культуры, без науки, без образования и без совести сидим мы в своей дыре и полагаем, что так и надо.

Так и надо: воевать в Чечне и выгонять миротворца, заключать союзы на время выборов и без долгих комплексов расторгать после. Так и надо: генеральские пресс-конференции, подковерная возня, ложь слева и справа, суды над журналистами, нищета интеллигентов... Все в порядке вещей. Видите, какие у нас театры? А какой отечественный сериал «Королева Марго»? А то, что у нас поэты торгуют старыми своими вещами, а историки варят кофе нуворишам, так это их вина: не вписались! Интеллигенция сегодняшней власти так же нужна, как и в ее обкомовские времена. От интеллигенции одна совесть, а от совести одни неприятности.

Почему я уверен, что проблема интеллигенции на самом деле разрешима и геноцид ее вовсе не обязателен? Потому и уверен, что легко представляю себе ответ на вопрос: «Что делать?»

Налогов у нас собрать не может никто. Не действует даже гипноз страшного названия «ВЧК». Но обязать каждого крупного предпринимателя с определенным уровнем дохода содержать хотя бы одну школу, регулярно ей помогая, — вполне реально. Повысить учительскую зарплату и срезать всем без исключения государственным служащим в гигантском бюрократическом аппарате — не менее реально. Каждый банк, каждую биржу заставить целиком обеспечивать ближайшую к ним больницу — несложно. И первым делом — как я мог забыть! — строжайшим образом проверить всякого рода благотворительные фонды, существующие исключительно для того, чтобы отмывать грязные деньги и бегать от налогов. Все эти «Надежды», «Добрые дома», «Фонды развития творческой молодежи» и прочая, прочая, прочая шелупонь, во главе которой сидят жирные люди в цепях и дамы с придыханием.

А главное — если нашей стране не нужно столько образованных людей, хватит, наверное, крысоловствовать. Пора позакрывать к чертям собачьим половину вузов — да что половину! Сколько там выпускников работают по специальности? 15 процентов институтов оставить, а остальные закрыть. Без работы, правда, останутся миллионы преподавателей, но их все равно меньше, чем выпускников. Их можно отправить в школы, в которых, случается, учитель математики преподает уже заодно и черчение и пение.

Вся пресса пишет о самоубийствах от нищеты среди учителей, врачей, писателей, художников, актеров, инженеров, ученых. В Новосибирском академгородке — гордость науки нашей, легендарная Телемская область! — не каждый научный сотрудник может на зиму пальто ребенку купить. Кандидаты и доктора впахивают на земле уже не по разнарядке, в виде помощи дружественному колхозу, а по насущной необходимости, обзаводясь запасом на зиму. А когда слово «интеллигент» становится синонимом слова «нищий», в обществе начинают господствовать такие нравы, что уже через год труп, валяющийся на улице, не привлекает ничьего внимания, а перестрелка, так сказать,

норма жизни, и вообще все можно. Вот! Вот он, корень! Нашей власти и сросшимся с нею нуворишам надо, чтобы потерялся критерий. Чтобы его не было. А чтобы умники перестали вещать, достаточно их снять с котурнов и заставить просить подаяния, тогда их не послушает никто, а нам позволят все.

Образованцев истребляют только за то, что они понимают чуть больше других и потому мешают остальным жить так, как им хочется. ...Ой, голубчики, не внушали бы вы интеллигенту, что он сам виноват! Иначе он поверит и снова устроит семнадцатый год.

Издательство EFFECT PUBLISHING , Нью-Йорк

Григорий МАРК

„ГРАВЕР"

Григорий Марк - ленинградский поэт, до сих пор не напечатавший на Родине ни единой строчки, - стал широко известен читателям русского зарубежья по своим публикациям в журналах „Континент", „Грани", „Новый журнал", „Время и мы", „Стрелец", газете „Русская мысль".

„Искусство для Григория Марка, - писала газета „Новое русское слово", - одна из высших форм служения Богу, бесконечный полет просветленной талантом души". Новый сборник содержит исключительно яркие лирические стихотворения и миниатюры, которые представляют интерес для всех тех, кто любит и ценит настоящую, серьезную поэзию и внимательно следит за появлением в ней новых крупных имен.

СЕКСОТЫ ДЛЯ ДЕМОКРАТОВ

Документ, появившийся в коридорах российских властей

Мы не знаем, кто авторы предлагаемого документа, также не известно, по чьей инициативе он написан и с чьим участием и помощью циркулирует по коридорам Белого дома. Однако, нам кажется, что сам текст этой неофициальной записки не может не вызвать определенного интереса у читателей. И понятно почему. Независимо от того, стал ли этот документ для кого-то «руководством к действию!» или находится в стадии изучения и апробирования, — он достаточно, красноречиво и не без знания предмета раскрывает нравы и жизнь тех, кто распоряжается жизнью российского общества. В этом главный смысл предлагаемой публикации.

Документ приводится с некоторыми сокращениями, однако без какой-либо дополнительной редакции с нашей стороны, то есть с сохранением стиля и грамматики подлинника, Итак, редакция предлагает читателям для ознакомления следующий текст.

Безвластие федерального центра, крайне развитые его коррумпционные аппетиты, примитивизм региональных властей, криминализация экономики поставили управленческий процесс в России на грань полного хаоса...

Российские правоохранительные органы первыми стали создавать собственные службы безопасности и аппараты пресс-секретарей под названием Центров общественных связей с прямым подчинением министру. Действуя как единый механизм, эти подразделения развернули бурную активность в области разведки и контрразведки в интересах своих министров, в области сыска и оперативного контроля за заместителями, руководителями главков, их связями во вне и наверху федеральной власти, занялись активной лоббистской деятельностью и работой с прессой.

Почему именно правоохранительные ведомства первыми пошли на формирование таких структур? Они просто больше знали о реальном состоянии все более криминализирующегося общества и государства.

Вслед за правоохранительными органами созданием собственной системы безопасности стали заниматься всерьез коммерческие предприятия, политические организации, а затем и гражданские федеральные ведомства.

...Сам Президент создал собственную службу безопасности... Коржакова А.В. сняли, службу эту разогнали, а теперь заново ее воссоздают под руководством уже заместителя Главы администрации Президента Е.В. Савостьянова. Свои мощные службы безопасности создали В.С. Черномырдин и Ю.М. Лужков, ряд министров и политиков. Среди министров наиболее эффективно действующие службы безопасности у С.Г. Шойгу и А.С. Куликова, наиболее слабая — у министра юстиции Валентина Ковалева, правда она начинает уже разворачиваться. У Председателя ГТК А. Круглова служба безопасности работает не очень эффективно... и в основном занимается «замыванием» и «замазыванием», уже всплывших наружу «нехороших дел» Председателя ГТК. Хорошую службу безопасности формируют себе Егор Строев. Среди политиков самая «крутая» служба безопасности, конечно, у В.В. Жириновского. У Г.А. Зюганова служба безопасности не прошла проверки на прочность в ходе президентских выборов и фактически была перекуплена службой безопасности «Нашего дома России»...

Таким убожеским образом формируется качественно новый управленческий процесс в России — управление переходного периода. И такой системой управления максимум через два года будет окутана вся Россия от колхоза до Минсельхозпрода, от завода до вице-премьера, от бизнесмена до Президента.

Какие основные направления деятельности этих структур? Главное, что они занимаются решением тех вопросов, которые не правомочно решать само министерство в рамках отведенной ему компетенции, а с другой стороны — это те вопросы, которые открыто, без применения специальных сил и средств в условиях крайней коррумпированности власти и криминализации всего государственного организма по-другому и не решишь. Направления такого рода деятельности сводятся к четырем основным блокам:

а) Безопасность отрасли
б) Работа по конкурентам и клиентуре
в) Лоббирование интересов отрасли
г) Имиджмейкерская деятельность

Обеспечение безопасности отрасли и ее руководства в идеальном варианте включает в себя следующие основные направления деятельности:

1. Обеспечение физической безопасности министра и при необходимости членов его семьи, первых заместителей по месту работы и жительства, на маршрутах передвижения;

2. Обеспечение физической безопасности указанных лиц в ходе поездок;

3. Осуществление... оперативной работы по месту работы, жительства, в местах пребывания охраняемых лиц с целью получения упреждающей информации или принятия заблаговременных мер по... безопасности.

Описанное выше становится все более актуальной проблемой, особенно в странах с наличием российской криминальной диаспоры (США, Израиль, Германия, Польша, Турция, Испания, Кипр, страны Прибалтики). Наш российский криминалитет использует три основных способа установления доверительных контактов с представителем российской федеральной власти:

— в ходе поездок за рубеж под видом или через иностранного бизнесмена, как правило, ранее проживавшего в СССР. Так были установлены некоторые контакты с В.С. Черномырдиным;

— в ходе поездок по стране по рекомендации местных властей, которые представляют бандитов в качестве крупных инвесторов, как правило, не ведая даже о том, что это просто «Измайловская» или «таганская» братва;

— через установление коррумпированных связей с помощниками министра, которые со временем вводят представителя криминалитета в близкое окружение самого министра. Неделю назад был вскрыт такой очередной факт, когда первый помощник министра по просьбе и на деньги одной из организованных преступных группировок в течение восьми месяцев вел работу по внедрению в близкое окружение одного известного министра представителя криминалитета, ввел его в окружение министра, решили уже вопрос о назначении бандита в качестве третьего помощника министра и только перед подписанием приказа благодаря вмешательству извне удалось сорвать это мероприятие криминалитета, за что от своей должности был освобожден и сам первый помощник министра.

4. Создание оперативных позиций на основных объектах отрасли, где может сложиться критическая ситуация, укрываемая руководителями предприятия, выход которой в средства массовой информации или на правительство способен привести к отставке министра.

5. Создание оперативных позиций в близком окружении заместителей министра и руководителей основных предприятий в целях:

— знать их реальное положение и настроение;

— выявление их реального финансового положения и личных связей на федеральном уровне;

— своевременного выявления фактов того, что они могут примкнуть к тем группировкам федеральной власти, которые недоброжелательно относятся к министру. Используя это обстоятельство заместители министра или руководители ведущих предприятий начинают организовывать с позиций федеральной власти против министра разного рода «наезды», нацеленные на смещение министра и занятие его поста. Многие министры жаловались нам на это. Уже который год от этого страдает чуть ли не ежеквартально Председатель ГТК А. Круглов, который вынужден был всех своих родственников вывести из коммерческих структур, только бы его не обвиняли в коррупции и контрабанде. У Круглова А.С. просто голова кругом ходит от того, как его первый заместитель Кругликов и особенно заместитель Валера Драганов через свои связи на федеральном уровне постоянно «третируют» Председателя ГТК и не дают ему спокойно спать...

— заблаговременного получения оперативным путем компрометирующих материалов на заместителей и руководителей основных предприятий, вынашивающих намерение войти в состав альтернативной группировки федеральной власти для последующего ее использования в нужный момент в собственных интересах;

6. Приобретение оперативных позиций на ключевых должностях в министерствах и контрольных органах... в целях эффективной защиты отраслевых интересов и успешного лоббирования интересов министерства и его руководства (например, Центробанк, Минфин, Федеральная служба налоговой полиции и т.п.).

7. Работа по предупреждению проникновения криминалитета в руководство отрасли.

8. Осуществление оперативной проверки новых контактов руководства ведомства и новой клиентуры министерства на предмет причастности к определенным группировкам федеральной власти или при наличия устойчивых связей с криминалитетом.

9. Формирование и функционирование нейтральной, не привязанной прямо к ведомству силовой структуры, способной решать специальные задачи и проводить специальные мероприятия как внутри страны, так и за рубежом, в том числе и по физическому воздействию на определенные группировки криминалитета и обеспечению физической безопасности объектов охраны, при проведении крупных ведомственных мероприятий.

10. Осуществление криминалистической экспертизы финансовоемких документов и соглашений, подписываемых министром или министерством в рамках их компетенции.

11. Проведение оперативно-технических мероприятий по личным заявкам руководителей отрасли, по конкурентам и клиентуре по заданиям руководства ведомства.

12. Ведение информационно-аналитической работы в интересах обеспечения безопасности ведомства и его руководства.

Работа по конкурентам и клиентуре обычно является наиболее трудоемким и тяжелым делом и в то же время крайне необходимым. Какие здесь основные направления работы:

1. Оперативная проверка и изучение всех вновь возникающих или ставших сомнительными личных контактов первых лиц министерства и даже ближайших членов их семей.

2. Приобретение оперативных позиций в окружении министров близких по роду деятельности министерств, которые соприкасаются по компетенции (допустим Государственная налоговая служба и Министерство финансов, Минюст и Генпрокуратура, Минсельхозпрод и Министерство природных ресурсов, МВД и ФСБ и т.д.) и во взаимоотношениях с руководством которых в силу его возможной личной капризности, коррумпированности и криминализированности может возникать конкуренция.

3. Проверка хозяйствующих субъектов и их руководителей, выступающих в качестве клиентуры отрасли;

Лоббирование интересов отрасли в идеальном варианте предусматривает прежде всего приобретение устойчивых контактов на необходимых «этажах» управления:

1. Приобретение оперативных позиций в ключевых точках окружения руководства федеральных органов власти в целях заблаговременного получения информации, способной повлиять на положение министра (окружение Президента, руководство Правительства, руководство Совета Федерации, руководство Госдумы), и осуществление через использование этих позиций акций влияния, лоббирования интересов министра или отрасли;

2. Приобретение оперативных позиций в руководящих звеньях федеральных и московских правоохранительных органов для получения заслуживающей внимания руководства ведомства оперативной информации, решения вопросов о защите от «наездов» объектов заинтересованности, прикрытия всплывающих время от времени прорех в работе министерства, огласка которых или доклад о которых в Инстанции способны поколебать устойчивое положение министра.

3. Установление и поддержание периодических оперативных

контактов «под чужим флагом» с руководящими представителями ведущих политических партий, депутатских фракций, для лоббирования и защиты нужных министерству или министру интересов.

Некоторые ведомства предпринимали попытки по формированию собственных фракций и депутатских групп под самым разным названием. Особую активность при этом проявил Минтопэнерго. Однако функционирование и фактическое финансовое содержание таких фракций не оправдало себя. Гораздо эффективнее — поддержание контактов с различными фракциями. Эффективно также продвижение своих депутатов-отраслевиков на должности руководителей думских комитетов.

4. Лоббирование интересов отрасли в федеральной законодательной и исполнительной власти в случае, когда интересы отрасли расходятся с интересами руководства субъектов РФ:

5. Лоббирование в федеральной законодательной и исполнительной власти интересов руководства тех субъектов Федерации, с которым налажено тесное сотрудничество.

Имиджмейкерская деятельность представляет собой единственное публичное направление деятельности, имеющее цель формирования и постоянного поддержания через средства массовой информации такого имиджа отрасли и ее руководителей, которые бы не позволяли кому бы то ни было просто так, «наобум» совершать резкие телодвижения по отношению к отрасли и к ее руководителям. Важно добиваться формирования такого образа ведомства и его руководителей, чтобы ни у кого не возникало соблазнов совершать на нее «накаты», а в случае появления таких потугов, СМИ должны реагировать настолько резко и негативно, как это было с деньгами А. Чубайса, задержанными при выносе из здания Дома правительства, или как это было с Указом Президента РФ № -1215 «О налогообложении физических лиц».

...Важно понять, что в имиджмейкерской деятельности собственно «правда», как правило, играет десятое дело. В целом, такого рода деятельность скорее напоминает службы дезинформации... Допустим, одного из заместителей министра мы постоянно ангажировали в средствах массовой информации в качестве доктора наук, профессора, хотя на самом деле он был простым кандидатом наук... Целый год замминистра засвечивался на доктор-профессора, а затем за определенную сумму купили ему членство в Международной академии информатизации, он стал официальным Академиком.

...Итак, задачи:

— налаживание... неформальных контактов с непоследними журналистами российских информационных агентств, программ

телевидения, радио и газет. Критерий отбора таких СМИ один: тираж и популярность;

— ведение постоянной пропагандистской деятельности, направленной на поддержание должного (а точнее нужного) имиджа отрасли и ее руководства...

— использование устоявшихся контактов с журналистами и их руководителями для создания негативного имиджа в отношении конкурентов...

— немедленное выгодное руководству отрасли реагирование на любые события, связанные с интересами отрасли (заявления, опровержения или выход в свет комментариев как бы «со стороны», чтобы не было заметно «заказного» характера публикации);

— формирование выгодного руководству отрасли имиджа в средствах массовой информации ведущих иностранных государств. Использование связей с представителями зарубежных СМИ в интересах отстаивания за рубежом интересов отрасли и ее руководства, компрометации иностранных конкурентов.

Описанное выше со всей убедительностью показывает, что... руководству министерств и ведомств далеко не всегда следует выступать от имени министерства. Нужна какая-то теневая, закрытая структура безопасности, прямо не связанная ни с руководством отрасли, ни с самой отраслью. И практика идет именно по этому пути.

К примеру, Иван Петрович Рыбкин на парламентских выборах удивил не созданием блока, а теми значительными финансовыми средствами, которые выложил «Блок Ивана Рыбкина» в ходе выборов. И только сведущим людям было известно, что с момента избрания Председателем Государственной думы в 1994 году благодаря активной финансовой поддержке чеченской диаспоры Москвы под И.П. Рыбкина был создан «Благотворительный Фонд помощи жертвам вооруженных конфликтов», который И.П. Рыбкин даже разместил прямо в здании Госдумы и который персонально для И.П. Рыбкина работал в качестве службы безопасности и занимался сбором финансовых средств...

По пути создания «фондов» в качестве-прикрытия служб безопасности пошли все основные политики и государственные деятели России. Система безопасности, работающая непосредственно на В.С. Черномырдина, скрыта под пятью разными фондами, типа «регионального развития», «федерального развития» и пр... не считая служб безопасности «Газпрома», «Лукойла», «Юкоса». Иногда службы безопасности функционируют под прикрытием страховых компаний.

Такая практика уже испытана годами. Как практически она выглядит? Несколько физических или юридических лиц регист-

рируют под совершенно нейтральным названием фонд, приобретают в аренду для него помещения, подбирают кадры, и механизм начинает постепенно формироваться.

Практическая работа начинается со следующего. Руководители отрасли — совместно с оперативным руководством фонда составляют реестры:

1. Реестры имеющихся и уже наработанных оперативных позиций, порой даже без указания конкретных фамилий. Конкретные фамилии может знать только руководитель фонда.

Реестр содержит в себе следующие позиции:

А. Администрация Президента, в том числе Совет безопасности

— уровень контакта

— характер контакта (близкий, разовый, родственный и т.п.)

Б. Аппарат Правительства (уровень, характер)

В. Федеральное собрание (уровень, характер)

Г. Правоохранительные структуры (федеральный, московский уровень, уровень контакта, его характер)

Д. Контрольные и финансовые органы (уровень, характер)

Е. Конкурирующие ведомства и организации

Ж. Криминалитет

2. Реестр недостающих оперативных позиций с указанием уровня необходимых оперативных контактов,

3. Реестр реальных и потенциальных конкурентов руководства ведомства.

4. Реестр основных предприятий и коммерческих структур, созданных с участием министерства.

5. Реестр основной клиентуры (партнеров) руководства отрасли.

6. Реестр объектов традиционного пребывания руководителей министерства и способы экстренной связи с ними.

7. Список руководящего состава отрасли с указанием объектов первоочередного изучения с приложением их анкетных данных.

8. Перечень тех должностей в самом министерстве, которые следует постепенно негласно заменить сотрудниками фонда в интересах обеспечения безопасности руководства отрасли.

И так, в путь, дорогу! Пожелаем друг другу успеха.

Сентябрь 1996 года.

'Московские новости"

Станислав ЛЕВЧЕНКО

ДЛЯ БЫВШИХ ЧЕКИСТОВ ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ РАБОТА

Читая опубликованный выше документ, испытываешь смешанное чувство. Лично мне не кажется, что он написан несколькими «авторами» — уж слишком безграмотен язык и неряшлива его структура. Впрочем вряд ли имеет большое значение, кто составил чем-то напоминающую манифест бумагу. Важно, что она «гуляет по коридорам «Белого Дома».

Итак, что можно сказать о содержании этого бесспорно необычного анонимного письма, адресованного неизвестным высокопоставленным бюрократам нынешнего правительства России.

Как известно, КГБ — в его бывшей ипостаси — больше не существует. Вадим Бакатин, занимавший в течение примерно ста дней должность председателя этого уникального в истории человечества ведомства, успел коренным образом его реорганизовать и расчленить на шесть-семь в общем-то самостоятельных организаций. Неизвестно, сознательно ли Бакатин разрушал гигантскую машину угнетения многомиллионного населения России, но так или иначе его акции, без преувеличения, имеют историческое значение. Нынешние и бывшие чекисты будут вечно ненавидеть этого необычного человека.

В силу ряда причин, администрация Ельцина была вынуждена резко сократить размеры бывших управлений КГБ, в первую очередь — внутренней контрразведки, «командовавшей» примерно шестью миллионами стукачей и боровшейся против инакомыслящих и представителей всех религий. Многие тысячи чекистов потеряли работу. Но на улице они не остались. Почти все структуры нового псевдодемократического режима «впитали» их в себя. Как грибы, стали расти разнообразные частные службы охраны и сыска. Их хозяевам потребовались «на-

---

Автор - в прошлом сотрудник Главного разведовательного управления КГБ

стоящие» профессионалы, получившие образование в многочисленных школах КГБ, умеющие владеть оружием и устанавливать подслушивающие и «подглядывающие» устройства. Клиентами таких «компаний» стали банки, миллионеры, политические партии.

Но наиболее острую ностальгию по КГБ испытывали многие руководители Кремля и подчиненных ему ведомств. Ведь за редким исключением все они были воспитаны советской социалистической системой, командиры которой в течение долгих десятилетий успешно контролировали мышление и политические взгляды народов, населявших сверхдержаву, и собирали любую информацию о своих подданных. Поэтому вполне естественно их стремление создать собственные отделы и организации, сотрудники которых помогли бы удержаться новым боссам у власти и защитить их от интриг конкурентов и политических противников. Всеобъемлющая, бесстыдная коррупция власть имущих, циничное безразличие к интересам населения собственной страны породили у них стремление как можно дольше удержаться на своих постах, приумножая свои личные, как правило, нечестным образом «зарабатываемые» доходы. Создалась парадоксальная ситуация: советские лидеры пользовались, казалось бы, сказочными привилегиями — жили в огромных квартирах, имели роскошные дачи, «кремлевский паек», открытый счет в сберкассах и т.д. Но даже эти привилегии были ограничены. Существовали секретные «табели о рангах», в которых четко определялось, кому что «положено». После развала Советского Союза у рядящихся в тогу демократов «власть предержащих» появилась возможность «сколачивать» огромные состояния. Некоторые из них стали миллиардерами. Открыли счета в зарубежных банках, купили дворцы в Европе, Америке, Багамских островах. Детей отправили учиться в дорогие престижные заокеанские университеты. Даже любовниц стали награждать квартирами и лимузинами. Поэтому большинство из них цепляется за власть, пытается удержаться на плаву как можно дольше. Но их бывшим коллегам и нынешним противникам тоже хотелось бы отхватить большой кусок пирога, пока еще не разворовано все национальное богатство. Это привело к беспределу и безнаказанности.

Автор упомянутого документа напоминает своим адресатам, что первым кремлевским боссом, создавшим собственную, оплачиваемую государственной казной, огромную службу безопасности был президент Ельцин. Как известно, до прошлого года ее возглавлял пользующийся теперь международной известностью генерал Коржаков. Лидеры утратили доверие даже к ФСБ, в котором, так же, как и в МВД, царит почти поголовная коррупция.

Задолго до появления на свет анонимного документа, была создана система шпионства и слежки друг за другом, за своими приближенными и подчиненными, за депутатами Думы, руководителями политических партий и общественных организаций. Воровство в особо крупных масштабах требует секретности. Втайне от конкурентов также пытаются держать политические и экономические планы. Дело дошло до маразма: не только ФСБ и бывшие управления КГБ, но и частные службы организовали повальное подслушивание всего, что бюрократы обсуждают на работе, дома и на дачах. Многие сотрудники «Белого Дома» теперь не «в голос» обсуждают требующие решения вопросы. Они обмениваются записками, зная, что у «стен есть уши».

Новая система сыска стала настолько сложной и запутанной и, к тому же, дорогостоящей, что наиболее рационально мыслящие лидеры решили ее упорядочить. Доказательством этого служит опубликованный выше документ. Явно выражая точку зрения каких-то «избранников народа», его автор предлагает, по сути дела, возродить методы работы КГБ — вербовать осведомителей в министерствах и ведомствах, собирать компромат на конкурентов, внедрять профессиональных «неочекистов» во все организации, создавать и распространять дезинформацию.

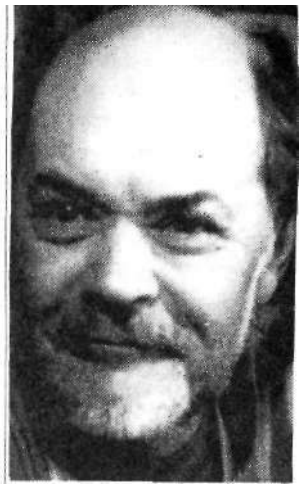
Аноним также ратует за разработку новых способов контроля над органами печати, телевизионными компаниями, вербовку агентов среди журналистов, «лоббирование» среди членов законодательных органов и т.д. Все эти

предложения противоречат элементарным принципам демократии и, по сути дела, являются компиляцией методов работы, давно применявшихся советскими контрразведкой и внешней разведкой. Если изложенные в документе идеи будут воплощены в жизнь, на многих граждан снова начнут заводить «дела» и накапливать в них полученные от информаторов сведения, которые при необходимости можно использовать для шантажа.

Но автор почти ничего не говорит о другом, не менее важном феномене «новой России» — сращении государственной, экономической и криминальных структур. А ведь давно ни для кого не является секретом, что большинство заправил мафиозных группировок имеют своих представителей почти во всех министерствах, в том числе и в армии. У них тоже есть свои стукачи, «консультанты по вопросам безопасности», отряды телохранителей. Эти «специалисты» работали в КГБ или служили в спецподразделениях советской армии. «Криминалы» даже имеют свою разведку, в которой «служат» профессионалы. Известно много случаев, когда сбежавших за рубеж от мести конкурентов «новых русских», находили через несколько недель и «ликвидировали». Такими навыками воры в законе никогда не владели. А ведь именно мафия контролирует большинство российских банков и вкладывает огромные средства в прибыльные предприятия. Поэтому ее главари вовсе не страшатся ни ФСБ, ни МВД, ни других служб безопасности. Большинство «нужных людей» давно закуплены на корню и вряд ли будут препятствовать деятельности своих настоящих хозяев, имеющих секретные или открытые связи среди представителей высших эшелонов государственной власти.

Думаю, что, если в России не произойдут коренные политические, социальные и экономические реформы, большинство кремлевских руководителей будут продолжать укреплять отношения с мафиози, некоторые из которых тоже являются воспитанниками КПСС. Для бывших чекистов всегда найдется работа. Они будут продолжать способствовать сохранению системы, в которой пока обеспечена только свобода воровать...

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА



Лев АННИНСКИЙ

БАРДЫ

«Я устал от белил и румян»

Это было на одном из последних концертов Вертинского. В 1957 году, весной. Если не ошибаюсь, в Театре киноактера. В полном, благоговейно слушавшем зале.

Я слушал не благоговейно, скорее с любопытством. Я многое знал; «Бразильский крейсер» все время крутили в наших потылихских дворах, да и близость «Мосфильма», в цехах которого работало чуть не все взрослое население нашего «жилдома», делало Вертинского фигурой не столько всемирно-легендарной, сколько знаменитой в местном масштабе. Искать билеты на его концерт мне, «мальчику с окраины», и в голову бы не пришло. Пригласила — «девочка из центра».

Мы устроились в задних рядах и присоединились к овации, когда на сцену медленно вышел прищуренный старик с красным лицом, цвет которого показался мне каким-то болезненным, в обвисшем фраке, который показался мне каким-то пыльным.

Слушал я странно. Ждал некоторых строк, которые по тогдашним моим понятиям должны были прозвучать вызывающе. Например, о Камчатке, где культура в зачатке.

Допев до этого места, Вертинский на мгновенье притормозился, а затем с неуловимой издевкой спел:

— Где культура... теперь уж не в зачатке!

Залп ответил солидарным вздохом. Моя комсомольская совесть встала торчком: ах, он еще и кусается!

Через недолгое время я вспомнил о своей реакции с чувством неловкости — увидел в газете траурную рамку.

— Кончилось его время, — подумал, довольно впрочем безучастно.

Оставалось два года до первых записей Визбора. Три — до первых записей Анчарова и Окуджавы. Четыре — до первых записей Высоцкого.

И сорок лет — до времени, когда Александр Вертинский оказался перевосприят — уже как провозвестник того неслыханного в официальной советской культуре явления, как «авторская песня».

Он вроде и не придавал значения тому, что слова для своих песен сочинял сам. Пел чужое вперемежку со своим, не уточняя, где чье. Пел Блока, Волошина, Северянина, Есенина, Цветаеву, Ахматову, Тэффи, Гумилева, Симонова. Иногда переиначивал их тексты «под себя», — это считалось в порядке вещей. На заре «гласности», когда стало «можно», какие-то новаторы выпустили «Избранное» Вертинского, где в качестве ЕГО песен тиснули «Китайскую акварель», «Сероглазого короля», «Среди миров, мерцающих светил»; даже «До свиданья, друг мой, до свиданья» — беспардонно перелопаченное в «Письмо к даме» (я не помню, чтобы по этому поводу знатоки-стиховеды выразили протест). Как-то было привычно, что все, исполняемое Вертинским, — «его»: его легенда, его мир, его Я, — а сочиняет ли он сам слова или ноты или берет их, где хочет, не очень важно ни слушателям, ни ему самому.

В сущности, это было начало того метода перекрестного авторского опыления, который уже в наше время позволял Визбору петь тексты Городницкого, а Анчарову — тексты Грина вместе со своими, не уточняя авторства. Не уточнял и Вертинский: текст — ценность не самодовлеющая, это лишь составная часть даже не песни, а — «представления». Это потом Вертинского «расчленили» на «поэта, композитора и исполнителя»; сам он называл себя однозначно: «артист».

Это существенно. Не поэт, не композитор, не певец. Артист.

С этим ключевым словом мы входим в тайну его завораживающего мира.

Артист — магическая поза, маска, сверхзадача, удивительно подходящая тому состоянию, в котором находился окружавший его мир. Театр — не то, что отражает и выражает реальность, а то, что заменяет и вытесняет ее. Реальность именно и ждет такой подмены, такого освобождения от самой себя.

В воспоминаниях Вертинского с замечательной откровенностью и проницательностью воссоздано то «предсостояние», которым определился его выход к рампе еще до того, как он впервые открыл рот, чтобы спеть первую песенку. Лейтмотив с первых осознанных шагов: задержать на себе взгляды. Добиться успеха, признания. Сделать сценическую карьеру.

Это не только в годы киевского отрочества. Попав в Америку уже зрелым человеком, артистом, известным в Европе, он сталкивается все с той же вечной задачей: надо «заинтересовать собой». Личность и идеи мало что определяют — определяет «внедрение». Никаких «идей» и нет у молоденького лицедея, а «личность» свою он старательно замазывает мелом и красками, рисует себе белые щеки и малиновые губы. Маска — изначальна. Публика ждет именно маски, а не личности, потому что маски носят все. Это не тот случай, когда личность приходит в мир, переполняемая «содержанием» и жаждет поделиться с миром. Тут все наоборот: сначала надо найти «место», вписаться в «форму», именно «формой» привлечь, а опыт нужен именно для овладения «формой», то есть «модой».

Какая мода царит в 1910-е годы?

Богемная. Мода на усталость, на «сны и иллюзии», на «истерику», на жеманное выламыванье.

Вертинский виртуозно вписывается в эти ожидания. Обязательное, программное притворство при этом на-

столько непритворно, что грань между реальностью и пародией на нее исчезает:

Я устал от белил и румян
И от вечной трагической маски,
Я хочу хоть немножечко ласки,
Чтоб забыть этот дикий обман...

Не верьте, он не устал. Ни от белил, ни от румян, ни от «обмана». Потому что «обман» — это и есть для него реальность, бездонная, бесконечная и всамделишная. Гениальное попадание Вертинского в «жанр». По верности моде — это несомненно «богема», вписывание в стиль «Позорного десятилетия». По культурной парадигме — на пару веков глубже: маньеризм XVIII (в Европе — XVII) века: садовые романы, парики, музейная мебель. Однако по глубинной духовной основе — это тысячелетнее русское скоморошество, демонстративное отрешение от бесовской жизни через ее пародированье.

Русский человек такого склада с равной вероятностью идет либо в преступность, либо в святость, либо в инсценированье того или другого — только не в добропорядочную жизнь. Не удается инсценировка — он протыривается в зрительный зал, но все равно попадает в круг зрелища. Нет билета — так без билета, это тоже « в стиле» — когда тебя «не пускают», гонят или за тобой гонятся. Две позы: или презрительная, или юродская. Или это артист, надменно скрестив на наполеоновской груди руки, глядящий вокруг себя «невидящими глазами», или, когда «хочется хоть немножечко ласки», — это плут, который пролезает тайком в гостиницу, где остановилась приглянувшаяся ему дама; даму он застает с толстым жандармским полковником; при виде артиста боров приходит в ярость.

Надо совместить два эти «балладные сюжета»: фатоватый сноб в непременном «фраке», гений, презрительно оглядывающий публику, и вдруг чешет по гостиничному коридору, а за ним — в одних подштанниках — похожий на кабана жандармский полковник!

А между тем, в этой сцене нет ничего ни постыдного, ни странного, и Вертинский воспроизводит ее в своих воспоминаниях с должным юмором. Потому что той реальности,

где полковник носит свои звезды и свои подштанники, — для артиста «нет».

Есть что-то другое.

Есть сказка. Есть шутка. Есть вечные гастроли. Роли и гримы. Ложь и пудра. Синий край, светлый рай.

Место действия чаще всего — «пляж». Для нормальной жизни — странно, но нормально — для сказки, как символический «краешек» жизни, где люди выпадают из деловых и прочих «оболочек», в том числе и из одежд. Другое излюбленное место — ресторан, или, точнее, «ресторанчик», где люди не столько насыщаются, сколько заполняют пустое время, глазея друг на друга. «Глазеющая публика» — непременный фон действия. Поклонники преследуют артиста. И никто из них не знает, кто он на самом деле: клоун или апостол? Но он всегда — «под взглядами».

Кладбище — тоже «край» жизни, как бы противоположный «пляжу». А в центре — театр. «Балаганчик». Туфли к фраку. Капризы, шалости. «Кинокапризы» в стиле Великого Немого. «Голубые пижамы» — как опять-таки славно ложатся эти исподние оболочки шаловливых кинозвезд в один стилевой пласт с подштанниками ревнивого борова, гонящегося за нафабренным фатом!

Только иногда шевелится в подсознании какое-то смутное предчувствие или догадка:

Мне нужна не женщина. Мне нужна лишь тема,
Чтобы в сердце вспыхнувшем зазвучал напев.
Я могу из падали создавать поэмы,
Я люблю из горничных делать королев.

Революция в феврале 1917 года некоторым интеллектуалам казалась воздушно-нереальной, пока сады и парки не заполнились вышедшими на гулянья горничными: прислуга плясала, веселилась, кружилась, качалась на качелях с кавалерами... Хлопанье юбок этих горничных и было первым знаком перемен, более красноречивым даже, чем хлопанье далеких выстрелов.

Кружевной оборочный мир, с масками вместо лиц и с ролями вместо реальности, — абсолютно соответствовал психологическому состоянию «публики» того времени. Всеволод Никанорович Иванов, замечательный литератор, одной фразой о Вертинском, сказанной уже в поздние годы, в Шанхае, схватил самую суть его артистического амплуа:

«Вертинский — это то, что думает масса, толпа. Толпа вечна, с ней вечен и Вертинский».

Толпу он и выявил. Вписался в ее ожидания. В ее вкусы, мечты. В ее «жанр».

Между прочим, это «вписывание в жанр» — единственное, в чем Вертинский действительно предвещает «авторскую песню» второй половины XX века. Все остальное: характер лирического героя, антураж, фактура, настроение — начисто несовместимы.

Авторская песня, для которой в сталинские (да и послесталинские) времена было наглухо закрыто официальное искусство, протыривалась боковыми ходами, полузабытыми «тропами». Искала ниши брошенные, полуобвалившиеся. Какие-нибудь сбоку «пристегнутые» к официозу «жанры», вроде «туристской песни».

Визбор и Городницкий вписались в туристскую песню. Высоцкий — в песню «блатную», Окуджава — в полузабытый городской романс.

Так что и они пели то, чего ожидала «масса», «толпа». Это ведь как понимать и «массу», и «толпу». В 50-е и 60-е годы советская молодежь охотно изображала «массу» на комсомольских собраниях и «толпу» — на праздничных демонстрациях. И она же, рассыпавшись по «дворам» и «кухням», по «маршрутам» и «тропам», ждала и искала «свою мелодию». Которую уловили и дали ей «барды»-шестидесятники.

«Толпа», «масса» революционной эпохи была или сбита в площадные митинги, или разбита на осколки, потерявшие все. Эта масса ощущала главное: потерю страны, утрату реальности, зияющую пустоту на месте привычной жизни.

Это зияние и очертил Вертинский своими оборочками. Своими шуточками. Своим фатоватым скепсисом. «Костюмом Пьеро», белилами, малиновыми губами — маской, прикрывшей лицо.

Когда эти лицо открылось, обнаружились настоящие слезы.

«Жизни как таковой нет! — записал Александр Вертинский на склоне лет. — Есть только огромное жизненное пространство, на котором вы сможете вышивать, как на бесконечном рулоне полотна, все, что вам угодно».

...Жена, которой я напомнил, как сорок лет назад она водила меня «на Вертинского», сказала:

— Мы запомнили разное. Меня совершенно не задело, как он спел про культуру Камчатки, и это даже странно и нехорошо, что ты это ему ставишь в упрек. А вот одну очень важную деталь ты упустил.

— Какую?

— Когда Вертинский делал жест, у него на руке сверкал бриллиант. Я тебе тогда же сказала. Ты забыл?

На что настроишься, то и видишь. Чтобы отличить настоящий бриллиант от поддельного, надо один раз увидеть настоящий. И понять, что он настоящий...

Идут года, тускнеет взор и серебрится волос,
А я бреду и радостно пою,
Пока во всех сердцах не прозвенит мой голос,
Пока не испою всю Родину мою.

«Лыжи у печки стоят...»

Возможно, я опоздал с этими воспоминаниями. Наши песни, «рожденные в года глухие», теперь история. Мало сказать, история — история давно прошедшая, конченая. Плюсквамперфект. Пели у костров. Потом запели у микрофонов. Дым сразу повыветрился, стало меньше огня и больше блеска. К нашим поэтам приставили странные зарубежные определения: «шансонье», «барды», «менестрели». Потом возникло косноязычное, заикающееся буквосочетание «КСП». Расцвело это КСП в 60-е годы: из интимного «я» песня вышла на всеобщее обозрение, завоевала эстраду и продемонстрировала всесоюзный размах. Потом мероприятие свернулось, измельчало; «каэспешники» из знаменитостей «всесоюзных» стали «местными», городскими, районными.

По ходу 70-х жанр, порожденный поколением послевоенных мечтателей все более воспринимался как нечто сентиментально-слабосильное: по словам Юрия Гребен-

щикова, «должны были прийти ребята более нервные, ироничные, непримиримые, «крутые» — представители поколения, вовсе не знавшего общественных взлетов, выросшее в годы, когда все предлагалось принимать на веру»...

«Нервные ребята» пришли, и наша бедная самодеятельная песня пала под ударами рока. Кто в нее теперь вслушивается, когда и «рокеры» вот-вот сойдут под давлением более молодых конкурентов? Кто станет теперь вживаться в тихие вздохи, вырывавшиеся когда-то у молодых людей, которым сейчас за шестьдесят? Кто вспомнит, что эти вздохи были первой формой протеста против бодрого обязательного официоза — формой спасения личности? Кому все это теперь понадобится, если бодрый официоз сам давно помер, и не просто помер, а настолько странен на нынешний вкус, что как бы «вообще не существовал»?

Так кто же начал? Кто эту «костровую» песню вывел на уровень поэзии? Кто первый взял гитару и, подойдя к микрофону, стал не читать стихи, а петь их? Кто — у истока традиции? Многие полагают: Окуджава. Еще чаще говорят: Высоцкий. Но если быть точными, то у истоков современно звучащей лирики стоит Визбор. Юрий Визбор.

Было время недолгое, полтора-два года в конце пятидесятых, когда именно он, как бы выплывший из волн широко разлившейся тогда студенческой песни, единолично овладел сердцами слушателей. Это было до Окуджавы, до Высоцкого, до Анчарова, до Галича, до Кима, Коваля и Новеллы Матвеевой.

Магнитофонные ленты, передаваемые из дома в дом, и живые голоса, подхватывающие песню от костра к костру, были словно отражением облика самого Визбора, веселого, желтоволосого, круглолицего парня в ковбойке, который не то пел, не то шептал, не то рассказывал:

Лыжи у печки стоят...
Гаснет закат за горой...

Было в самом начале шестидесятых годов недолгое время, когда мы довольно часто встречались. Я переживал первую безоглядную влюбленность в его песни. С огромным допотопным магнитофоном в рюкзаке я таскался к нему на Неглинку, в старинную комнату за широченной лестницей, о двух окошках на скверик ЦУМа. Древний дом, казавшийся памятником архитектуры, где и жить-то неловко, — дом, который для меня теперь тоже навсегда памятник, — память о нем, о Визборе, о его стихах, его окружавших: «И в этом доме два окна не спят из-за меня...»

Записавши тогда очередную катушку его песен, мы вспоминали, кто в каких был маршрутах, и он показал мне несколько горных пейзажей, свежо и романтично исполненных в гуаши. Я спросил: «И это тоже ты?» — Он скромно улыбнулся и кивнул. Я сказал: «Зачем ты разбрасываешься? Тебя сгубят твои таланты. Все разлетится». Улыбка сошла; я подумал тогда, что попал на больное место, и не возвращался более к этой теме.

Он был и впрямь ярко, раскидисто, нерасчетливо талантлив. Песни его пело студенчество. Это был главный его дар, его судьба. Но писал он и прозу, которую уже начинал, кажется, понемногу печатать. И эти гуаши на листах ватмана: «Зеленые озера да черточки лесов...» И, наконец, в секунду покоривший вас, уверенный артистизм его! Внешность проказника, «рыжего Шванке», и потаенная печаль в уголках рта — ясно же было, что кино не должно пропустить такого прирожденного артиста.

И не пропустило. Он сыграл свои роли, написал свои пейзажи, издал свои рассказы. Он прокрутился, пробезумствовал, пропел, проликовал, прогрустил отмерянные ему пятьдесят лет. Теперь, слушая его смеющееся пение, я думаю о том, что судьба отманила в сторону, отвела от самого главного его дара. От того главного, что он все-таки сделал. Он создал современную студенческую песню. Дал своему поколению голос, дал жанр, и с его голоса, с его легкой руки пошло уже поветрие, и явились менестрели следующих поколений. Принцип был распознан, почин подхвачен, создалась традиция, артистическая система, оказавшая влияние на поэзию и ставшая ее частью.

Визбор немного потерялся в этой лавине им самим вызванной. Аудитория множилась и дробилась. Из студенческой среды новый песенный стиль взлетел в профессиональную литературную сферу, где немедленно воцарился Булат Окуджава. Новая песенная культура пробудила дальние от студенчества края народа, всколыхну-

ла массу, которую выразил и покорил Владимир Высоцкий.

Визбор уступал первому в чистоте тона, второму — в остроте и резкости типизма; он остался певцом студенчества, мальчиком оттепельных лет, а жизнь бежала дальше. Песенная его лирика летала над Хибинскими и Забайкальскими лесами, над ледниками Кавказа и песками Средней Азии.

В нем было что-то от бродяги, от счастливого гуляки — в Визборе-репортере, Визборе-журналисте, Визборе-шутнике, и все это запойное кружение, эта «халабала» вдруг раздавалась в его стихе внезапной и непонятной тревогой.

...И лишь меня
все ждут в порту,
где замолчат
турбины «ТУ»...

И кончилось. Замолчали турбины.

Пришла пора собирать его стихи и вчитываться в них. Пришла пора понять то место, какое занял Юрий Визбор в истории новейшей русской поэзии.

Вернуться бы сейчас в тот далекий шестьдесят первый год, когда сидели мы вдвоем около огромного доисторического магнитофона и рассматривали оранжевые и синие горы на его гуашках, а за окнами летел снег на кустарники у ЦУМа, да сказать:

— Не думай-ка, брат, ни о чем! Разбрасывайся! Пой, пляши, рисуй, играй! Не бойся! Не пропадут твои песни! Не пропадут.

Тогда шутили: у Визбора даже гитара смеется! В его голосе искрилось какое-то полускрытое ликование, у него улыбалось каждое слово, каждый звук; эта свободно играющая радость окрашивала у него любую песню, даже грустную. Вечер его памяти в декабре 1984 года (готовили для его живого пятидесятилетия, а вышел — траурный) показал, сколь прочна его популярность. Я не забуду этот гигантский зал: люди словно замерли от переполнявших их слез, но не решались их пролить — такие со сцены неслись ликующие, искрящиеся его песни.

Визбор был и остался поэтом товарищества, поэтом тесных человеческих связей. Это чувствуешь, когда сравниваешь его душевную контактность с одиночеством маленького солдата из песен Окуджавы. Или с крутой мятежностью героя песен Высоцкого: тот полагается только на свои силы. А герой Визбора всегда в связке, в цепочке. Его человек с рюкзаком и ледорубом. Человек на крутом склоне. На накренившейся палубе. За рулем мчащейся машины. За штурвалом взмывающего самолета.

Он — певец сильных людей. Притом все «по-домашнему» просто: лыжи у печки, качнувшийся вагон, намокшая палатка... Дом на колесах. Романтическая мечта выношена не в воображении джеклондоновского героя, а в сознании реального послевоенного студента из тех самых детей войны, что выжили в страшные годы, выросли на «горбатых улицах», а потом, освоив книжные премудрости, закинули за плечи рюкзаки и пошли осваивать эту землю. Визбор — поэт поколения, не утратившего юношеской мечтательности. Он — поэт эпохи, которая завещает свою мечту сильным людям будущего. Таким он и останется в истории современной лирики — рыжий Визбор со смеющейся гитарой.

Гениальный всплеск похож на бред

Я стою, как перед вечною загадкою,
Пред великою да сказочной страною —
Перед солоно- да горько-кисло-сладкою,
Голубою, родниковою, ржаною...

Владимир Высоцкий

Кажется, разгадка на поверхности: выдержал бой с Советской властью! В самые мутно-застойные годы пробил стенку! Взял штурмом, напором, нахрапом! Беззаконная комета! Одинокий волк, медведь-шатун, изгой, штрафник, заложник. Огни, воды, медные трубы прошел. Сказка!

Да, напор был. Лез на стенку. Но был и подпор: та самая почва, на которой все стенки стоят. Километры магнитофонной ленты от Таганки до Магадана выстилали беззa-

конный путь. Под благовест собственного хрипа из выставленных на подоконниках динамиков — хаживал от вертолета до гостиницы на Северах. А начальство? А начальство все эти пленки первым же и получало из рук собственных детей. Начальство звало автора в кабинет, слушало «Охоту на волков» и плакало так же беззаконно.

А как умер — шлюзы открылись — хлынула любовь, безоглядная, яростная, через все цензуры. И все, что он, ерничая и юродствуя, демонстративно отвергал, посыпалось навалом. О газетном некрологе «на последней странице в углу» даже и не мечталось? Получил — на последней, а там и на первой. «Памятник в сквере где-нибудь у Петровских ворот»? Получил и памятник, нарочно и именно в том сквере. Аршинные рекламы «в гробу видал»? Получил все это за гробом. Разве что «на монетах заместо герба» еще не отчеканили... Да при нашей русской широте, да при девальвации — могут.

Если отсчитывать от стенки, которую проломил Высоцкий, разгадка — в его волевом вольном напоре. Если отсчитывать от того, насколько легко подалась стенка, какая гнилая была и как быстро завалилась, — то разгадка Высоцкого в том, КУДА он ткнул и КАК. Удачно ткнул, точно.

Не повторить ни хриплого голоса, ни хулиганской повадки. Скопировать можно, найти «равнозначное» — вряд ли.

Но тогда — что останется от этого громогласного эпизода в истории русской культуры? От этих шестисот песен, живущих только в ТОМ голосе? Может, и в ТОМ ВРЕМЕНИ только? Легенда осуществилась сказочно быстро, с исполнением всех желаний. И только теперь начинается испытание временем.

Стремительность, с которой было сразу найдено все: тон, мелодика, образ — поразительна.

«Крутая слеза» — тот самый стиль, в который, как в стенку, будет идти игра. И мотив (чужой), на который запелось, — блатной, рыдающий.

«Я был батальонный разведчик» — это же та самая канва, по которой будет вышит весь Высоцкий, вернее, прошит, если учесть обилие ножей и пуль в его творчестве. Только капля и нужна была, чтобы пролилась струя и пошел поток.

Капля потребовалась традиционно русская: сивушная. С первых песен, где герой выпивает, буянит, засыпает, просыпается и снова выпивает, — до последнего предсмертного парафраза из Блока: «Мы тоже дети страшных лет России, безвременье вливало водку в нас».

И тут же — патентованно-русский ход мысли: не мы ее пьем — ее в нас «вливают».

Блатной антураж строится на перманентной обиде, что кто-то нас ЗАСТАВЛЯЕТ безобразничать, что-то нас заедает. А мы — «не виноватые». Но — осужденные. Чего кореш не прохрипит в бреду! Важнее общая мелодия: этот хулиганский треп-бред все время идет на такой запредельной ноте, что ему не то, что веришь, а веришь ему именно как шебутному, притворному, залихватски-игровому, шалому, бесшабашно-лихому, невменяемому.

По общему абрису хулиган должен быть падок «на баб». Оно вроде бы так и есть: тот, который «головой быка убил», — он и баб режет бесперечь, хотя и «не каждый год». Но если вслушаться, — так ведь там нечто совсем противоположное. «Я теперь на девок крепкий!» — куражится насильник. То есть, он на девок не обращает внимания!

По шаблону хулиган должен быть антисемитом. И вроде бы он на этот счет сильно много высказывается. Но опять-таки, если вслушаться, — ни намека обидного в его речах насчет евреев нет. А есть даже некоторое братание. На почве водки, естественно. То есть: Мишка Шифман пьет, как хороший русский биндюжник. И немецкие бомбы, между прочим, сыплются в 1941 году одинаково «на Евдоким Кириллыча и Гисю Моисеевну». И вообще если вы умеете и желаете СЛУШАТЬ песни (то есть сказки), вы не обманетесь: антисемитизм у Высоцкого, разумеется, есть, но загадочно-сказочный:

Запретили все цари всем царевичам
Строго-настрого ходить по Гуревичам...

Герой — все по тому же шаблону — должен, как рыба в воде, плавать в толпе, то есть в артели, то есть в общине вместе с «Евдоким Кириллычами», «Колянами» и «Иванами». Что он и делает, демонстративно пластаясь с ними то в пьянке, то в поножовщине. Да вот только «толпа» у него — если вслушаться и вдуматься — жуткая. Смертельно опасная. Дыбом стоит. И единение с народом включает все ту же скоморошину, которая, если не вдумываться и не вслушиваться, просто потешна. А если...

Я из народа вышел поутру —
И не вернусь, хоть мне и предлагали.

Станислав Куняев, понимающий эти проблемы без всякой скоморошины, просек этот балаганчик моментально. И отверг Высоцкого начисто и бесповоротно от имени того самого «народно-патриотического фронта», к которому Высоцкий, по всей своей народной «звукофизиономике» вроде бы должен принадлежать. Не к высоколобым же диссидентам! Ибо есть «бега», а есть «балеты». Втихаря Высоцкий, может, и смотается на балет (то есть на Метерлинка, то есть туда, где водится Лета-Лорелея), но на балете его наши мужики сроду не увидят, а вот что он заявится на бега, да не пропустит и биллиардной, — это факт, и тут наши мужики его не только увидят-усышат, но и признают все-таки своим. В отличие от Станислава Куняева.

Загранку — и ту простили! Это же вообще — неслыханно: чтобы наш, коренной, народный, в доску свой, женился бы на парижанке и вдарился в заграницы! Да ему в спину должны заорать, как иуде: «В Париж мотает, словно мы — в Тюмень!»

И что же? Ничего похожего. Он мотает. А мы не только не клянем его, но даже одобряем, а если и завидуем, то исключительно по-хорошему. И не по той причине, что он там ведет себя по-нашенски, то есть лузгает на Елисейских полях семечки, а в кабаке садится на колени французу, ест из его тарелки руками и кричит: «Друг! За что боролись?!» Ему вовсе и не обязательно там, в загранке, так русопятствовать. Он там может надеть фрак и цилиндр — и все равно будет наш. Народ все чует, это, как с Маяковским, который щеголял по Парижу и Нью-Йорку в модных шмутках, а российский пролетариат, по проницательному наблюдению Цветаевой, не только не корил его за измену синим блузам и красным флагам, но даже и гордился: наш-то вона куда залетел!

Вот так же наш российский «люмпен» гордился Высоцким, когда тот пошел гулять по Парижу.

Да что говорить: ему сошло даже то, что он сыграл положительного... милиционера — оперативника Жеглова. Да он «мусоров» ненавидеть должен! А он: «Побудьте день вы в милицейской шкуре — вам жизнь покажется наоборот. Давайте выпьем за тех, кто в МУРе — за тех, кто в МУРе, никто не пьет». И что? Выпили. И еще раз выпили. И еще. Все свои.

Высоцкому простили, от Высоцкого приняли, из рук Высоцкого сожрали все, хотя вроде бы он воплощался в таких героев, которые начисто, напрямую противостояли и противоречили первоначальному анархо-бунтарскому «разносу».

Да так ли уж противоречили?

Система его воплощений по-своему логична. Элементарный ход: от забулдыжного хулигана — к картинному пирату с ножом в зубах. Далее — к пещерному человеку с дубиной. Далее — к какому-нибудь зверю-хищнику, соседу по ветви на древе эволюции. А там и до «жирафа» недалеко: «Жираф большо-ой — ему видней!» Фантазия железно срабатывает, потому что построена по безошибочно найденной стилистике «тюремного рОмана».

Другая цепочка не менее логична: хулиган — псих с Канатчиковой дачи — смертник из штрафбата — десантник, которому жизнь недорога...

В сущности, так или иначе все у Высоцкого упирается в войну. Дубинами или танками-самолетами, но всегда у него драка, схватка, атака, напор, прорыв, рваные глотки, разбитые черепа, выпущенные внутренности. Солдатский надсад — самый точный адрес для уникального хрипвокала.

Поколение «последних идеалистов», выдвинувшее Высоцкого, выварилось добела в «социализме», «коммунизме» и прочих идейностях; поэтому трудно было понять, что «сталинские лагеря», Троцкие «трудармии» и прочая советская казарма — не от марксизма-ленинизма, а от двух мировых войн, располосовавших Россию и от ожидания третьей... Высоцкий — не философ, но что в основе всей той вывернутой реальности, которая ему досталась, лежит ярость дерущегося солдата, он почуял шкурой. Экипировка 1941 года приросла к нему сразу и замертво. Его записали во фронтовики, не вдаваясь в возрастную арифметику, так что, отвечая на письма слушателей, он должен был объяснять, что войну первоначально вычитал из книжек. Все равно по психологической первооснове он был тем, кого пел: окопником, блокадником.

«Я вырос в ленинградскую блокаду...» — и все тут. И никакого никому нет дела до того, что «вырос» Высоцкий на семь лет позже в отвоеванном польском городке, в семье советского офицера («оккупанта», — сказали бы еще на семь лет позже), — ведь по типу, по складу, по устремлению души он действительно — шкет, чинарики собирающий «с-под платформы», сирота, сын полка.

А вот дальнейшие превращения воина уже в мирное время: подводник — аквалангист — спасатель... Альпинист-скалолаз... Далее «силовики» выходят на Большую Спортивную Арену. Впереди боксер. За ним штангист. Затем — футболист, кумир послевоенной публики. И дальше — по олимпийской программе: метатель молота, прыгун в высоту, прыгун в длину...

Смех смехом, но если к этой славной галерее типов добавить шахтера да шофера, — о которых Высоцкий тоже сложил вдохновенные и достоверные песенки, то получится не что иное, как шеренга положительных героев, освященных всеми идеологами Советской власти за все ее восемьдесят лет. И сотворил эту шеренгу — тот самый Высоцкий, который от лица бунтующего народа всю свою сознательную актерскую жизнь разносил эту Власть! И она его простила. И понятно почему. Но почему ему все простил народ? Простил именно эту череду официально-признанных героев — от альпиниста до милиционера, — шеренгу, которая начисто, казалось бы, вывернула первоначальную фигуру «своего парня» — выпивохи и дебошира — во что-то положительно противоположное.

Вывернула. Но не отменила. Тут — главная загадка поэтической и артистической судьбы Высоцкого и, я думаю, ее разгадка. Выворот смыслов. В кого угодно может воплотиться и превратиться лирический герой: в бандита из подворотни, в грека из анекдота, в невменяемого психа, косматого жлоба или героя-летчика, — но вы не ухватите, где же его «подлинность». Потому что подлинно здесь — само превращение, невесомость перехода, упоение маской.

Иногда герой берет себе напрокат имя. Иногда это «Ваня», чаще «Николай», но между прочим никогда — Владимир. Точнее всего вот что: «У меня было сорок фамилий, у меня было семь паспортов». Смена паспорта — экстатическое мгновенье, обретение вожделенного лица, нервный катарсис. Если бы поэзия Высоцкого была бы ориентирована на один какой-нибудь тип, — это и было бы

«припечатано»: одна мелодия на все песни! Но непрерывное и бесконечное перевоплощение — это та самая внутренняя горячка, которая выплавляет неподдельную строфику-мелодику Высоцкого. Это веселое наращиванье абсурда. Этот покупательский кавардак мужика в городе: «Где же все же взять доху, зятю — кофе на меху? Тестю — хрен, а кум и пивом обойдется. Где мне взять коньяк в пуху, растворимую сноху? Ну а брат и самогоном перебьется!» В чем прелесть? В непрерывном вывороте смыслов. Жизнь — наоборот. Входишь через черный ход — выходишь в окно.

Очень русский, очень народный ход воображения: все, что имеется, «не считать», а начать все заново. Очень русский, очень народный инстинкт — инстинкт народа, собранного с гигантских пространств и в гигантские пространства глядящего. Хорошо там, где нас нет. «Опоньское царство» — вечный магнит для русского скитальца. Наш, если и сидит сиднем, то просто разрывается от соблазна «все спалить», «бросить» и податься «на край света».

...Гениальный всплеск похож на бред,
В рожденье смерть проглядывает косо.
А мы все ставим каверзный ответ
И не находим нужного вопроса.

Еще более важный и тревожный вопрос: насколько состояние героя совпадает с состоянием народа?

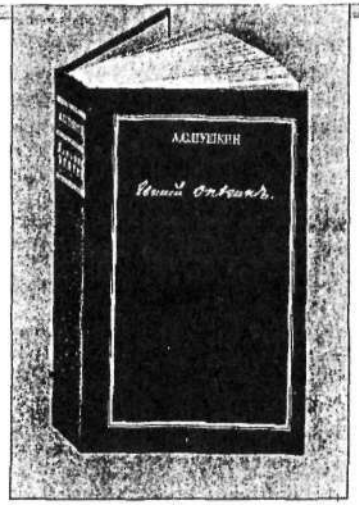
«Я из народа вышел...»

Лучше сказать не «вышел», а «сбежал». И правильно сделал. Потому что и в народе главное потаенное желание — «сбежать».

«Сбежать куда-нибудь туда»...

Куда же? Круг возможностей — при всей парижской визуальности — в сущности недалек от Тюмени. По пьянке подраться и побрататься с французом — это, конечно, экзотика. Но братание Высоцкого с русскими народными скитальцами — не экзотика, это тот самый глубинный, подлинный, реальный духовный контакт, который и обеспечивает ему фантастическое народное признание.

Окончание в следующем номере



Издательство „АТРИУМ“
предлагает
вниманию коллекционеров
и любителей книжных редкостей
издание романа А.С.ПУШКИНА
„ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН“
Текст романа сопровождает
серия новых иллюстраций художника А.КОСТИНА;
впервые публикуемое
цветное факсимильное воспроизведение
рукописи „осьмой главы“;
фундаментальный комментарий
известного семиотика Ю.М.ЛОТМАНА.
Общий объем – 752 стр.
Тираж книги – 5000 экз.
999 экземпляров нумерные
Контактный тел. (095) 258–1992

Евгений МАНИН

НЕНАВИСТЬ РОЖДАЕТ НЕНАВИСТЬ

или фанатики в еврейском мире

За последнее время в современной печати раз за разом появляются статьи, посвященные казни Иисуса, которая явилась причиной последующего, растянувшегося на два тысячелетия антисемитизма. В статьях этих логично и настойчиво доказывается, что в упомянутой казни нет ни малейшей вины евреев, что последние вообще не имели к этому событию никакого отношения, что все евангелисты, подобострастно юля перед римлянами, скопом лгут и клевещут, а римляне — они-то и есть настоящие и единственные виновники всего происшедшего.

Если учесть, что два римских первосвященника официально сняли с евреев вину за распятие Иисуса и что миллиард христиан, невзирая на это, все равно испытывает к евреем прежние чувства, мы оказываемся перед загадкой: на кого, собственно, рассчитаны эти статьи и кого именно те, кто их написал, так настойчиво убеждают?

Кажется, что авторы этих статей стараются убедить только самих себя, и если они так поступают, то не означает ли это, что сами пребывают в некотором сомнении?

В связи с этим интересен ответ знаменитого философа и «отца» еврейского Просвещения (Хаскалы) Моисея Мендельсона (1729—86) известному швейцарскому теологу-протестанту Йоханну Каспару Лаватеру. Лаватер спросил, считает ли Мендельсон справедливыми приговор, некогда вынесенный Христу, и его казнь на кресте. «Как я могу оценить справедливость или несправедливость приговора, вынесенного моими предками семнадцать или восемнадцать столетий назад?» — ответил Мендельсон.

Этот ответ примечателен тем, что Мендельсон обошел молчанием казнь, но признал, что приговор был вынесен его предками (т.е. евреями), хотя судить о его справедливости или несправедливости, находясь в совершенно иной эпохе, просто бессмысленно.

Если оставить теологию в стороне, то все книги, составляющие Новый Завет, как и все книги, составляющие Ветхий Завет (Еврейскую Библию), представляют собой литературные произведения. В них есть сюжет, положительные и отрицательные герои, и, естественно, присутствуют приемы, обычно применяемые в литературе для воздействия на эмоции читателей.

В этом смысле знаменитый евангельский эпизод с толпой беснующихся евреев и воплями: «Распни его! Кровь его да будет на нас и на наших потомках!» — разумеется, чистейший литературный вымысел, способ максимального воздействия на эмоции читателей. И ни о каком «подлизывании» к римлянам не могло быть и речи: евангелисты, как и все ранние христиане, испытывали только ужас и ненависть к беспощадно истреблявшей их римской государственной власти. И, самое главное: необходимо отметить, что ни этот евангельский эпизод, о котором современники Христа понятия не имели, ни сама казнь по приказу прокуратора, которая в то беспокойное и жестокое время была явлением самым обычным, не стали источниками той жгучей ненависти к евреям, которая растянулась на тысячелетия, принимая самые различные формы.

Да, спустя столетия «отцы церкви» действительно сделали из евреев ненавидимых и гонимых «христоубийц», но в первооснове эту ненависть породили совсем иные причины, о чем и пойдет речь.

1

По исключительно точному выражению известного историка ранней церкви Б.Г. Стритера, «диссидентское движение в иудаизме — христианство — пришло из Галилеи». Этой земле было просто самой судьбой предопределено стать родиной «религиозных диссидентов». Галилея, территория которой была расположена таким образом, что обеспечивала свободную торговлю на ней и непосредственные контакты с народами, населяющими смежные страны (арамеи, финикийцы, ассирийцы, вавилоняне), одновременно служила постоянным объектом нападений алчных завоевателей. Ассирийский царь Тиглатпаласар в 732 г. до н.э. вообще отделил ее от территории, населенной иудеями, и с этого в Галилее началось угасание Иудаизма.

Ко времени Маккавеев (династии иудейских правителей) иудаизм в Галилее с ее весьма пестрым этническим составом (включая семитов и не семитов) теплился едва заметной искоркой. Так что Симон Маккавей вывез оттуда ничтожные остатки еврейского населения и расселил вывезенных в Иудее (163 г. до н.э.). Галилея же стала называться с тех пор не иначе, как «Галилея языческая».

Но около 105 г. до н.э. нееврейская Галилея вместе с нееврейской Идумеей* была завоевана одним из правителей Иудеи Гирканом. Ее жители, принадлежавшие к самому различному этносу, были насильно обращены в иудаизм, подвергнувшись обряду обрезания, или изгнаны (этот прецедент будет впоследствии неоднократно повторен по отношению к самим евреям), и там же вновь было расселено большое число «настоящих» евреев из Иудеи.

---

* Территория нынешней Иордании.

Поэтому к 1 веку н.э. иудаизм полностью доминировал в Галилее, хотя галилеяне еще помнили насильное обращение, а население Иудеи видело в галилеянах неполноценных, второсортных, «не настоящих» евреев. Иисус с его апостолами вызвали к себе пренебрежительное отношение именно потому, что они были родом из Галилеи, и их выдавал даже особый акцент. (Ср. Марк, 14,70: «Точно ты из них, ибо ты Галилеянин, и наречие твое сходно», или Иоанн, 1,46: «Нафанаил сказал ему: Из Назарета может ли быть что доброе?»)

Первым галилейским «диссидентом» может считаться Иоанн Креститель. Именно он оказался в роли как бы последнего еврейского пророка, обличавшего испорченность нравов Избранного народа и призывавшего его возвратиться на стезю, предназначенную ему провидением. Он еще не посягал на ортодоксальный иудаизм как таковой, но и эти обличения стоили ему жизни по приказу Ирода Антипы (37 г.).

С Иисусом дело обстояло иначе. Иисус принес в Иудею учение всепрощения и милосердия. И хотя формулировки этого учения весьма часто имеют соответствие у еврейских пророков, в них было нечто совершенно новое: максимы, высказываемые и пророками, и, тем более, Торой, видели в «брате», в «пришельце», в «ближнем» — е в р е я. К неевреям, к тем, кто не принадлежал к избранному народу, отношение было, мягко выражаясь, враждебное.

Проповеди же Иисуса касались человека и его нравственных качеств в о о б щ е (вспомним, например, притчу о добром самаритянине и вспомним, что евреи Палестины ненавидели и презирали самаритян, считая их неевреями и чужаками).

Евангелия раз за разом повторяют манеру изложения Иисусом своего учения: сначала он цитирует ортодоксальный еврейский закон, после чего предлагает свою альтернативу, начинающуюся словами: «А я говорю вам...» Вот это было уже посягательством. Если же к этому добавить, что последователи Иисуса (презираемые галилеяне) видели в нем Мессию-Христа, т.е. помазанника и

Сына Божия, то его участь была предрешена: он должен был предстать перед судом Синедриона, сурово пресекавшего любые отклонения от ортодоксального еврейского закона.

2

И Талмуд, и историк Иосиф Флавий, описывая деятельность «Великого синедриона» в 1 веке н.э., говорят, что под этим учреждением понималось некое смешение законодательного собрания, государственного совета и Верховного суда. Все говорит о том, что наибольшим влиянием в Синедрионе пользовались представители высших классов общества — члены древних родов, богатые люди и храмовые священники. Все они принадлежали к с а д д у к е я м, религиозно-политической партии правящего класса. Талмуд прямо называет Синедрион «судом саддукеев». Эта доминирующая группа почти всегда действовала в прямых интересах римлян, даже в ущерб интересам своего народа. Саддукеи были также сторонниками активной ассимиляции, перенимая греко-римские идеи, образ жизни, моды, и насаждая все это среди своего народа, — чему яростно сопротивлялись их противники, представители небогатых слоев населения и защитники чисто еврейских традиций, ф а р и с е и.

В 57 г. до н.э., завоевав Иудею, римляне изменили прежний характер Синедриона. По древней традиции, уходящей в глубь веков, Синедрион обладал широчайшими правами: от объявления Новой луны и решения спорных вопросов еврейского Закона до суда и предания смертной казни евреев, нарушивших закон Торы. Теперь же Синедриону были оставлены все права, включая право п р и г о в а р и в а т ь виновного к смертной казни в соответствии с еврейским Законом, но такой приговор должен был утверждаться римским прокуратором Иудеи, а саму казнь должны были приводить в исполнение только римляне.

Синедрион во главе с первосвященником, так сказать, «принял к сведению» решение римлян, но отнюдь не

отказался от своего права, при возможности, предавать нарушивших Закон смертной казни (мы убедимся в этом несколько дальше). «Синедрион» — так называется в Талмуде 4-й трактат раздела Мишны «Незикин», состоящий из 11 глав. Речь в нем идет, в частности, о судах и судебной процедуре. И отдельные главы посвящены методам казни для нарушивших закон против восставшего сына (Втор. 21, 18-21), закон о богохульстве (Левит, 24, 16) и закон о городе, искушаемом злом (Втор. 13, 12-15). Так что, когда возникает вопрос, мог ли Синедрион присудить Иисуса к смертной казни за богохульство, из всего сказанного вытекает ответ: да, мог, но не имел права приводить приговор в исполнение. Сам же закон о богохульстве звучит так:

«И хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его все общество. Пришелец ли туземец ли станет хулить имя Господне, предан будет смерти».

Вот как Евангелие от Матфея описывает суд над Иисусом (главы 26-27):

«А взявшие Иисуса отвели Его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. И первосвященник сказал Ему: Заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?

Иисус говорит ему: ты сказал; даже сказываю вам: ныне же узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных.

Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: Он богохульствует! На что еще нам свидетелей? вот, теперь вы слышали богохульство Его! Как вам кажется? Они же сказали в ответ: повинен в смерти.

Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти. И связавши Его, отвели и предали Понтию Пилату, правителю.

И спросил Его правитель: Ты царь иудейский? Иисус сказал: ты говоришь».

Если человек говорит членам Синедриона во главе с первосвященником, что он не только помазанник Божий (мессия, Христос), но и сын Бога, то подобное заявление в их глазах (и в глазах любого верующего еврея) — не что иное, как богохульство, караемое по закону Торы смертью. Здесь не имело значение деление на саддукеев и

фарисеев: тот факт, что Иисуса его последователи приветствовали как мессию и сына Божьего, не мог не вызвать возмущения у приверженцев традиционного иудаизма, и они несомненно приговорили его к смертной казни, не имея права, однако, привести ее в исполнение.

Римскому прокуратору были глубоко безразличны теоретические тонкости иудаизма, который он от всей души презирал, и сведись вина Иисуса только к оскорблению еврейского Бога, он, скорее всего, остался бы жив. Но — мессия, помазанник Божий, претендент на престол Иудеи, — это уже было нечто совсем иное!

До появления Иисуса римляне имели дело уже с несколькими лицами, объявлявшими себя мессией, и появление каждого такого претендента на престол сопровождалось волнениями и мятежами. «Мессия» был обычно личностью незаурядной, воинственной и фанатичной, кончавшей свою жизнь распятым на Голгофе, но успевший причинить властям массу неприятностей.

В отличие от своих предшественников, Иисус был противником всякого насилия и его цель отнюдь не заключалась в призыве народа к восстанию и в восшествии на престол Иудеи, но это не могло спасти ему жизнь.

Трагедия заключалась в том, что Синедрион доставил его к римскому прокуратору не как богохульника, а как человека, объявившего себя мессией и, значит, тем самым подписавшего себе смертный приговор: судя по Евангелиям, он не отрицал, что он, как мессия, — царь иудейский, хоть царство его и было не от мира сего.

3

К какой бы дате не было отнесено рождение новой религии, то ли к великой исповеди Св. Петра в Цезарее Филиппийской, то ли к вечеру, когда воскрес Иисус, — не может быть никакого сомнения, что Двенадцать апостолов полностью осознавали суть своей миссии: пропагандировать идеи своего Учителя. Идеи же эти представляли собой не столько новую религию, сколько некий новый вариант старой. Апостолы постарались сохранить уста-

новленное Иисусом число их — на место убитого изменника был выбран дополнительный собрат. Начав впервые свою пропаганду под водительством Петра, они провозгласили, что долго ожидаемый мессия явился в лице Иисуса, и что хотя он был приговорен к смерти и казнен как преступник, его божественный авторитет был доказан его воскрешением. Вскоре он явится вновь во всей своей славе, дабы провозгласить царство праведных и повсеместный мир. И те, кто хотят вкусить блаженства в этом новом мире, обязаны признать в нем мессию, усвоить мораль его учения и присоединиться к верующим в него, подвергшись обряду крещения.

Их, однако, ожидало жесточайшее разочарование: хоть желающих присоединиться к ним оказалось довольно много, основная масса их единоверцев отнеслась к их призывам более чем равнодушно. Зато в официальном Иерусалиме немедленно появилась и стала быстро расти яростная оппозиция. Ибо Иерусалим был, естественно, главным местом проповедей апостолов, и именно там началась жестокая борьба ортодоксального иудаизма с этой пропагандой.

Поначалу немногочисленные последователи новой религиозной организации практически ничем не отличались от прочих верующих евреев. Различие проявлялось лишь в том, что к обряду обрезания добавлялся обряд крещения, и в том, что они, посещая синагоги, стали в обычных положенных еврейских молитвах поминать Иисуса как пришедшего на землю мессию-спасителя.

Синедрион незамедлительно объявил «раскольников» неевреями и наложил запрет на посещение ими синагог совместно с прочими «настоящими евреями». «Раскольники» (сами себя, естественно, считавшие истинными израильтянами) нашли выход в том, что начали посещать синагоги тайно по ночам. Эта уловка была быстро раскрыта, и синагоги стали охраняться в ночное время. Тогда отлученные начали использовать в качестве синагог помещения детских школ — по вечерам, но были изгнаны и оттуда. И вот тогда-то в Иерусалиме и была построена первая собственная синагога новой еврейской секты — первая церковь (ок. 40 г.), а вскоре после этого появился термин христиане — название этой мятежной секты. В такой синагоге-церкви во всем сохранялась привычная еврейская традиция — эти новые евреи-христиане были именно евреями: у них во главе синагоги тоже стояли старейшины, у них была та же суббота, те же праздники, те же псалмы и молитвы.

Остановись все на этом, и христиане навсегда остались бы незаметной еврейской сектой, вроде эссенов. Но Синедрион пылал одним желанием — истребить зловредных инакомыслящих раскольников с корнем. Преследование их в это период дважды доходило до самых верхов. Первый раз это было в 41 году, когда Агриппа I, друг императора Клавдия и Калигулы, наследовал также и власть прокураторов Иудеи. Этот царь, восстановивший государство Ирода Великого, горел желанием любой ценой завоевать популярность среди своих еврейских подданных и во имя этого начал преследование «богохульников». В результате апостол Иаков был в соответствии с законом Торы забит камнями до смерти, а Петр посажен в тюрьму, из которой ему удалось бежать. Остальные Двенадцать также бежали кто куда. Иерусалимские синагоги-церкви были разрушены. Так пролилась первая кровь.

Агриппе I наследовал его сын Агриппа II, неофициальный царь Иудеи, настроенный проримски и всеми силами старавшийся погасить разгоравшийся огонь взаимной ненависти в Палестине. Власть прокураторов была восстановлена, право казни и заключения в тюрьму снова перешло в их руки, и на некоторое время здесь воцарился мир. Но когда внезапно умер прокуратор Фестус (64 г.), а его преемник в Иудею еще не прибыл, первосвященник и глава Синедриона Анания II сумел воспользоваться моментом междуцарствия и приговорил к смерти за богохульство Иакова, сводного брата Иисуса, главу иерусалимских христиан, и Стефана, казначея иерусалимской общины. За это своеволие Анания был смещен с должности Агриппой II.

Иерусалимская христианская община была сокрушена, и результатом этого стало перемещение центра проповеди евангелизма в Антиохию. Когда там, стараниями апостола Павла, к новой секте стали активно приобщаться новые члены — эллинизированные неевреи из Сирии, Малой Азии и прочих районов империи, возникла затруднительная ситуация. Пока к секте присоединялись только

евреи, они и оставались евреями, верящими лишь в то, что Иисус был мессией. Но как надлежало поступать с неевреями-язычниками?

Должны ли были они становиться сначала евреями, прежде, чем стать христианами? Павел отказался требовать обряда обрезания от тех неевреев, кто принимал его интерпретацию Иисуса, и это подняло судьбоносный вопрос: должна ли христианская церковь по-прежнему считать себя неотъемлемой частью иудаизма? Или она должна быть организована как религия, независимая от всех прочих религий? Вопрос этот решался на соборе в Иерусалиме, где присутствовали представители всего христианского сообщества. Было решено, что новообращенные неевреи не должны подвергаться обряду обрезания, но они должны обязательно усвоить стандарты еврейской морали, и устраивая совместную трапезу со своими соседями-евреями, они обязаны предусматривать исключительно кошерную еду, дабы не оскорблять ничьих религиозных чувств.

Едва появились первые христианские синагоги-церкви, произошло то, что определило историю евреев на последующие столетия. Иерусалимские синагоги были, как уже говорилось, разрушены, христиане-сектанты ушли из Иерусалима и начали строить их за пределами городской черты и в других городах империи, в том числе и в еврейском квартале Рима, и отправлять там службу в соответствии со своим ритуалом. Против этого еврейские религиозные власти были бессильны.

Обращаться к римским властям тоже не имело смысла: римские власти так же не отличали христианство от иудаизма, как в Палестине этого не могли сделать прокураторы Пилат, Галлий, Феликс и Фест.

В 51 году, когда в еврейском квартале Рима евреи учинили погром христианским проповедникам, тогдашний император Клавдий, как и его прокураторы, не разбиравшийся в теологических тонкостях, вышвырнул вообще всех евреев, «настоящих» и христиан из столицы. Этот факт засвидетельствован Светонием в его «Жизнеописании Клавдия»: евреи, пишет он, были изгнаны за

беспорядки impulsore Chresto, т.е. «инспирированные Хрестом» — так историк передает имя Христа. Это был второй и последний шанс укротить свою нетерпимость и предотвратить ужас будущего. Он не был использован.

В 64 году, «во имя сохранения единства и чистоты еврейского народа», Синедрион отрядил в Рим специальную делегацию, умоляя императора Нерона избавить мир от «опасной, нечестивой и неразрешенной властями секты, опутавшей своими щупальцами всю империю».

В другое время полусумасшедший цезарь не обратил бы на эту просьбу ни малейшего внимания, но два обстоятельства, к сожалению, сопутствовали ее успеху. Во-первых, именно в это время на вершине своей славы находился Иосиф Флавий, имевший большое влияние на императрицу Поппею. Нерон же, убивший в приступе ярости беременную жену ударом ноги в живот годом позже, был влюблен и находился под полным влиянием Поппеи. Симпатия императрицы к еврею Иосифу обусловила ее интерес к иудаизму, симпатию к евреям вообще и просьбу к своему супругу: отнестись благосклонно к прошению Синедриона.

Просьба была рассмотрена сочувственно, и Нерон приказал немедленно арестовать и заключить в тюрьму представителей не разрешенной властями религии. Евреи могли быть вполне удовлетворены: христианство отныне стало считаться religio illicita(Т.е. религия, непризнанная государством), и, следовательно, представлявшая собой секту, тайное, незаконное общество, официально гонимое государством. Подобное общество должно было жить в вечном страхе доносов и преследований.

Христианство было официально запрещено, и с этого года (64) начинается почти трехвековая история его беспощадного преследования. Евреи принимали самое активное участие в розысках христиан и выдаче их властям. В ответ на это преследование, новая церковь должна была ответить усилением внутренней дисциплины (искоренение ересей), резким отмежеванием от традиций иудаизма и все нараставшей ненавистью как к гонителям римлянам, так и к иудеям, жестоко поплатившимся впоследствии, когда религия гонимых стал официальной религией империи.

При Нероне церковь понесла тяжелейшие потери. Апостолы Петр и Павел были казнены. Прочие, как рассказы-

вает Тацит в своих «Анналах», предавались жестокой и позорной смерти. Их одевали в звериные шкуры, выпускали на арену цирка, а там их рвали на части собаки. Или они умирали распятыми на крестах, или их обливали нефтью и зажигали привязанными к столбу — это были живые факелы, освещавшие Нерона, величественно стоявшего в колеснице на арене цирка. Короче, сумасшедший император развлекался как мог.

Второе же из двух упомянутых обстоятельств заключалось в том, что, кто-то из приближенных подсказал Нерону: эту «зловредную секту» вполне можно использовать в качестве козла отпущения за недавний пожар Рима — ходили упорные слухи, что столицу поджег сам император.

Теперь беспощадное преследование христиан осуществлялось на всей территории империи. Тацит говорит о христианах как о «врагах рода человеческого». Это, в свою очередь, говорит о том что они считались выброшенными из общества изгоями, подвергавшимися полицейским налетам в любое время. На них доносили соседи-евреи, им устраивала погромы чернь по своему капризу, их арестовывали городские чиновники, и они незамедлительно представали перед судом. Там им предлагали очистить себя от подозрения путем воздаяния почестей статуе обожествленного императора: власти требовали за свою терпимость к различным религиям соблюдение чисто имперского религиозного обряда — признания божественности цезаря-императора. Это не было религией в точном смысле слова, это была церемония без молитв и исповеди веры — просто знак лояльности. Евреи, известные своей яростной приверженностью к чистоте собственной веры, были освобождены от этого церемониала. Но для христиан, теперь уже отличных от евреев, исключения сделано не было, и они поневоле встали перед выбором, которого из двух предпочесть: имперского Цезаря в его багряной тоге или своего Мессию, умершего как преступник на кресте в багрянице из собственной крови. Они предпочитали второе и шли на смерть.

4

Если оставить в стороне многократно описанные тонкости, отличающие религиозный антисемитизм от расового, а последний — от социального, можно в итоге прийти к небезынтересным результатам. Вот мысль, высказанная Альфредом Розенбергом в его книге «След евреев в изменении эпох» («Die Spur der Juden im Wandel derZeiten», 1920) и ставшая «научной базой» нацистского антисемитизма:

«Этот разрушающий цивилизации микроб можно нейтрализовать, только уничтожая его без остатка».

Не в обиду покойнику будь сказано, он затратил весьма немного умственной энергии на это положение, поскольку оно представляет собой лишь слегка видоизмененную известную фразу известного же немецкого философа Дюринга из его сочинения «Еврейский вопрос как вопрос расового характера» (1881):

«От этих паразитов невозможно избавиться, если не применить самые современные средства дезинфекции».

Но и знаменитый философ отнюдь не был оригинален — его мысль покоится на общеизвестном высказывании Мартина Лютера, теолога и реформиста церкви, — высказывании, сделанном за три с половиной века до Дюринга (1544):

«Сжигайте эту заразу вместе с их синагогами и домами. Сгоняйте их в лошадиные стойла, чтобы эти исчадья ада, эти слуги сатаны в конце концов поняли, что они не хозяева нашей страны, как они полагают, а ничтожнейшие из ничтожных и презираемые всеми богохульники».

Страстный призыв Мартина Лютера тоже не был оригинален. Это был перепев формулы знаменитого оратора, теолога и «отца церкви» Иоанна Златоуста (340—407):

«Евреи — это воплощение сил зла, их души одержимы демонами, а их синагоги — блудилища, где они устраивают свои оргии с дьяволом. Это зло должно быть выкорчевано с корнем, ибо для евреев нет и не может быть ни искупления, ни снисхождения, ни прощения. Евреи прокляты Богом навеки».

Иоанн Златоуст, между прочим, не ограничился одними

призывами, но в 405 году, во время празднования Пурима, он натравил христианских фанатиков Антиохии Сирийской на разгром еврейского квартала города.

Так этот призыв истреблять евреев и сжигать их синагоги протянулся кровавой нитью через века — от Иоанна Златоуста до «Хрустальной ночи» и «окончательного решения». Но можно ли при этом утверждать, что именно Иоанн Златоуст, грек-язычник, крестившийся и ставший светилом церкви, был, так сказать, «крестным отцом» современного антисемитизма? Вообще-то традиционно так и считается, что Иоанн Златоуст первый увидел в евреях мистические «силы зла и тьмы», противопоставившие себя «божьему свету истины», и тем самым положил начало религиозному антисемитизму, откуда пошли и все прочие его виды.

К сожалению, эта традиционная картина на практике выглядит несколько иначе. Если мы отодвинемся во времени на 310 лет назад от сакраментальной формулировки грека Иоанна Златоуста, то попадем в 95-й год — год, когда другой Иоанн, еврей, сподвижник и последователь Иисуса, написал свою знаменитую Книгу Апокалипсиса. Да-да, тот самый Иоанн, один из двенадцати апостолов и автор Четвертого Евангелия и трех Посланий. Ужас, испытываемый тогдашней христианской общиной, нашел свое отражение в Книге Апокалипсиса, в которой можно увидеть совершенно очевидную ненависть к евреям-гонителям, ненависть к государству-истязателю и ужас перед тем, что мертвый Нерон может вернуться на землю в виде Антихриста. Именно у него — у еврея Иоанна — евреи, не уверовавшие в Иисуса, впервые именуются «сатанинским сборищем», а Иисус — «Князем света».

Вот характерные примеры, рассыпанные по Апокалипсису:

«...Злословие от тех, которые говорят о себе, что они — Иудеи, а они не таковы — но сборище сатанинское». (2,9). Или: «Вот, Я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, что говорят о себе, что они Иудеи, но не суть таковы, а лгут, — вот Я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что Я возлюбил тебя». (3,9).

«Сатанинское сборище» — это и есть «синагога сатаны» у Златоуста и всех последующих «отцов». Так что, как бы неприятно это ни звучало, «крестным отцом» современного антисемитизма является еврей-сектант, будучи сам жертвой фанатичной нетерпимости своих соплеменников.

5

Итак, все началось с того, что фанатически нетерпимые евреи ортодоксальные видели в евреях, воспринявших учение Иисуса и отклонившихся, так сказать, «от генеральной линии», отщепенцев-богохульников достойных смерти. Римляне же вообще понятия не имели тогда об их существовании. Потом евреи, отстаивая древнюю чистоту веры, начали жестокую борьбу с этой сектой, призвав на помощь римлян. Потом начатые таким образом гонения на христиан шли рука об руку с языческим антисемитизмом. И наконец, христианство одержало победу, и теперь евреям предстояла долгая и жестокая расплата.

В 315 году был издан знаменитый эдикт императора Константина о преимуществе христианства перед прочими религиями империи и об ограничительных мерах по отношению к евреям: запрет участвовать в муниципальной службе, запрет прозелитизма, запрет смешанных браков между христианами и евреями, запрет христианам, перешедшим в еврейство, возвращаться в лоно церкви. Все эти меры были приняты, как говорилось в эдикте, потому, что «евреи представляют собой бесчестную и извращенную секту», — определение, почти дословно повторяющее слова из петиции евреев Нерону.

В 412 году, на волне все возрастающей мстительной ненависти к евреям, Кирилл, архиепископ Александрийский, добивается от императора Гонория изгнания евреев из Александрии — самой крупной и самой богатой из всех общин диаспоры.

А в 529 году выходит Кодекс Юстиниана, ставший основой официального христианского антисемитизма.

«По отношению к евреям не должно проявлять никакого уважения, — говорилось в Кодексе. — Их статус должен отражать всю низость их души, которую они сами пожелали избрать себе».

Евреям отныне запрещалась гражданская и военная служба, запрещалось иметь рабов-христиан, свидетельствовать против христиан в суде, праздновать еврейскую Пасху, если она совпадала с христианской.

В 553 году был издан эдикт, регулирующий синагогальную службу и запрещавший раввинам выступать с толкованием текстов Ветхого Завета — ведь это была священная книга и для христиан.

В 555 г. в Северной Африке синагоги были вообще запрещены, а евреи города Бориона впервые крещены насильно, как когда-то были обрезаны и обращены в иудаизм жители Галилеи, родины христианства.

Совместное восстание евреев и самаритян в Цезарее против притеснений в 556 году было подавлено с неслыханной до того жестокостью. И все это было лишь началом долгого и страшного пути и подтверждением аксиомы: нетерпимость рождает нетерпимость, ненависть рождает ненависть.

6

« Еврейский народ стоит перед угрозой раскола исторического значения. Угроза эта столь велика и чревата такими последствиями, что североамериканские евреи просто не имеют права молчать!» Так заявил рабби Чарльз Кролофф, представитель Центральной конференции американских раввинов, после визита в гостиницу, где остановился израильский премьер Беньямин Нетанияху, посетивший Штаты в феврале этого года.

Причина столь тревожного заявления и посещения премьер-министра — вновь выплывший из небытия вопрос о пресловутом законе «кто является евреем», законе, который после долгих отсрочек выносится теперь на обсуждение и голосование в израильском Кнессете. Суть этого закона, как известно, заключается в том, что «настоящим» евреем может считаться либо тот, кто документально

докажет, что у него мать еврейка, либо тот, кто будет обращен в иудаизм ортодоксальными израильскими раввинами в соответствии с законом галахи.

История словно отскочила на два тысячелетия назад. Снова ортодоксальные раввины Палестины объявляют вне закона тех, «кто не такие». На этот раз по одну сторону баррикады находятся ортодоксы, составляющие абсолютное меньшинство в Соединенных Штатах, в Европе и в Израиле, но обладающие в Израиле монополией на все религиозные обряды, монополией, официально признаваемой государством. По другую сторону — огромное большинство (90 процентов) американских и европейских евреев, представляющих реформистский и консервативный иудаизм. И если вне Израиля полным-полно синагог и школ упомянутых выше течений, то в Израиле их число ничтожно: они «не дозволены», так же, как две тысячи лет назад.

Делегация, состоящая из восьми взволнованных реформистских и консервативных американских евреев посетила, как уже было сказано, Нетанияху и предупредила его, что принятие предлагаемого закона о том, «кто является евреем» превратит большинство американских евреев в «граждан второго сорта» на своей исторической родине. Со всеми вытекающими отсюда последствиями и для Израиля, и для единства евреев.

Точно такую же бурную реакцию вызвало обсуждение этого закона и в самом Израиле: здесь живет много тех, кто пережил Катастрофу, и они с горечью замечают по этому поводу, что последним политическим режимом, усердно отделявшим евреев от неевреев, был нацистский режим.

Если для ортодоксов проблема «истинного еврейства» определяется только галахой, без каких бы то ни было отклонений от нее, то для американских евреев, более половины детей которых состоят в смешанных браках, вопрос о «чистоте расы» представляется особенно чувствительным и носящим личный характер.

Буквально сразу вслед за делегацией либеральных раввинов Нетанияху посетила делегация раввинов орто-

доксальных, категорически настаивающих на принятии «закона о евреях», чтобы, по их выражению, «предотвратить кошмарное вырождение еврейской нации».

«Евреи должны строго придерживаться единого Закона. Альтернативой может быть только раскол Израиля на две раздельные общины, одна из которых не будет признавать другую», — заявил после визита ортодоксальный рабби Моше Шерер, президент партии «Американский Агудат Исраэль».

Вопрос «кто является евреем» последний раз вызвал бурю возмущения в 1988 году и быстро был отставлен в сторону после того, как американские реформистские и консервативные евреи открыто выразили свое негодование тогдашнему премьер-министру Ицхаку Шамиру. Но теперь, когда судьба коалиционного правительства целиком зависит от поддержки ультраортодоксальных партий, «закон о еврействе» имеет огромные шансы на принятие: ортодоксальные лидеры утверждают, что Нетанияху, когда подписывалось коалиционное соглашение, поклялся официально узаконить то, что сегодня существует де факто, — исключительное право ортодоксальных раввинов признавать или не признавать человека евреем «в законе».

И весьма многозначительно звучит постановление конференции ультраортодоксальной партии Шас, входящей в коалицию, гласящее, что «никакое обращение в иудаизм не будет иметь силы закона, если оно не будет совершено в Израиле или не будет признано израильским Главным раввинатом», состоящим исключительно из ортодоксов.

Приходится вот уже в который раз повторять, что новое — это всего лишь хорошо забытое старое, и вспомнить, что евреи однажды уже стояли перед проблемой «кто есть кто», и кого надлежит не признавать во имя сохранения нерушимых традиций. Тогда последствия обернулись для евреев неслыханной катастрофой.

Неронов теперь нет, и преследовать «ненастоящих евреев» израильские «настоящие» уже не могут — руки коротки. Но не признать еврейство они могут. Могут и не дать разрешение на брак, или на погребение. Словом, отравить жизнь. А если вспомнить убийство Ицхака Рабина, то приходится признать, что они, как когда-то, могут отобрать и жизнь.

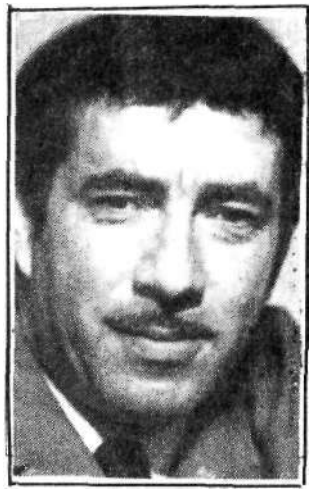
По сообщению агентства Ассошиейтед Пресс из Иерусалима, тамошняя небольшая реформистская община в последнее время терроризируется ортодоксами с использованием так сказать современной техники — по телефону. Чаще всего это звонки с угрозой взорвать бомбу или убить активистов движения. Представитель реформистов Анат Галили пожаловался в интервью, что те, кто угрожает, дошли до того, что даже оставляют на автоответчике свои имена. Полиция же не предпринимает никаких мер. «Мы взорвем вас в вашем офисе, и вас постигнет судьба Рабина!» — теперь уже типичная телефонная угроза.

И вот эффектный финал. 21 марта 1997 года старейшая в Штатах организация ортодоксов — Союз ортодоксальных раввинов США и Канады — выступила с декларацией в газете «Лос-Анджелес таймс».

«Мы поддерживаем право израильского Раввината блюсти еврейский Закон, — говорится в декларации. — Настоящая декларация заявляет ясно и открыто: несмотря на наглую узурпацию таких терминов, как «Иудаизм», «Еврейское наследие», «Еврейская традиция» и «Сохранение еврейства», реформистское и консервативное течения вообще не являются иудаизмом. Это иная религия. Они пребывают вне закона Торы и вне иудаизма. Мы надеемся, что множество евреев, совращенных реформистским и консервативным движениями, одумаются и поймут, что они злонамеренно и бессовестно обмануты. А поняв, они навсегда уйдут из этих так называемых «синагог». Чем осквернять себя пребыванием там, лучше уж обращаться к Богу у себя дома».

Поистине это заявление не требует комментариев.

ИНТЕРВЬЮ "ВРЕМЯ И МЫ"



КАПИТАЛИЗМ: УГРОЗА ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА!

Вокруг статьи миллиардера Джорджа Сороса
Беседа главного редактора журнала «Время и мы» Виктора Перельмана с профессором Уортон Бизнес-скул Ароном Каценелинбойгеном

В январском номере журнала «Атлантик мантфли» была опубликована пространная статья миллиардера Джорджа Сороса, в которой тот выступил с резкой критикой свободно-рыночной экономики и капиталистической системы хозяйствования. Статья эта, вызвавшая в мире широкий резонанс и перепечатанная рядом других изданий, в том числе немецкой «Ди Цайт» и даже российской газетой «Московские новости», рассматривается рядом обозревателей (естественно, прежде всего, потому что автор — крупнейший западный финансист) как сенсация года.

«Если в нашем сегодняшнем обществе и преобладает какая-либо вера, то это вера в магические свойства рынка, — заявляет Джордж Сорос. — Доктрина бесконтрольного, без вмешательства государства, капитализма гласит, что общественному благу наиболее плодотворно служит ничем неограниченное преследование своекорыстных интересов».

По мнению Сороса, сегодня «главная опасность открытому обществу грозит не от коммунизма и социализма, которые до основания дискредитированы, а от чрезмерного индивидуализма, от избытка конкуренции и недостатка сотрудничества». Финансовые рынки, утверждается в статье, являются исходно нестабильными, при этом действующая в свободно-рыночной экономике «доктрина невмешательства» «противится любым формам государственного участия, направленного на сохранение стабильности».

Автор статьи пишет, что в условиях современной экономики неуверенные в собственных принципах люди «все в большей степени полагаются на деньги и на успех как критерий ценности... Культ успеха вытеснил веру в принципы. Общество лишилось якоря».

По словам Джорджа Сороса, в реальности богатство скапливается в руках «владельцев», и, если нет механизма перераспределения, неравенство может стать нестерпимым. Автор статьи считает, что практическое применение «доктрины невмешательства» способствует тому, что дарвинский постулат естественного отбора — «выживает сильнейший» — становится ведущим принципом цивилизованного общества. Пороки псевдодарвинизма проявляются и еще в одной лженауке — геополитике. «Геополитики заявляют, пишет он, что у государств нет принципов, а есть только интересы».

Таким образом, рассуждения Сороса подводят читателя к выводу о том, что без активного вмешательства государства в экономическую жизнь общества, само существование цивилизованного мира окажется перед лицом смертельной угрозы.

С рассмотрения взглядов Джорджа Сороса на свободный мир и начинается наша беседа с Ароном Каценелинбойгеном, в прошлом видным советским экономистом и специалистом в области плановой экономики, а ныне авторитетным американским ученым, профессором Уортон бизнес скул Пенсильванского университета.

В.П. Вначале заявление Сороса, которым он открывает свою широко нашумевшую статью: «Я сделал состояние на мировых финансовых рынках, пишет Сорос, тем не менее сегодня опасаюсь, что бесконтрольный капитализм и распространение рыночных ценностей на все сферы жизни ставят под угрозу будущее нашего открытого и демократического общества. Сегодня главный враг открытого общества — уже не коммунистическая, а капиталистическая угроза».

А каково же мнение профессора Каценелинбойгена?

А.К. Нет, я не разделяю взгляды Джорджа Сороса, — начинает мой собеседник, — То, как он представил рынок, — это, скорее, карикатура на рынок в представлениях, примерно, 18 века. Он просто-напросто проигнорировал все то, что было сделано более чем за два века в экономике Запада, хотя именно это и определяет истинное место рынка в жизни свободного общества. Странным образом Сорос не видит того, что сам рынок за 18, 19 и 20 века пережил огромную трансформацию, превратившись из «базара» в современный свободный рынок, являющийся экономической основой свободного общества. Если вспомнить советских экономистов, которые начинали при Горбачеве, то вот они-то как раз и путали базар с рынком. Что, собственно, отличает базар? Все очень просто: вы произвели, вышли, чтобы реализовать... Если покупатель одобряет — вы на коне, если нет — вы с катушек! Ясная, как слеза ребенка, ситуация, четкая обратная связь. Вот это и есть базар. Что касается рынка — и тут я хочу говорить языком экономики, — так вот, рынок прежде всего отличает то, что он формирует так называемый «механизм упреждения», то есть налицо некая заранее планируемая деятельность. В чем это выражается? Если опять же на языке экономики — то это прежде всего огромная и бесконечно разветвленная система договоров, которые заключаются между фирмами и в которых заранее делаются попытки согласовать действия участников. Чего, естественно, мы не видим и не можем видеть на базаре. К тому же, с конца 19 века фантастически вырос финансовый рынок, который в огромной степени влияет на всю хозяйственную жизнь общества, осуществляя распределение капитальных вложений. Последнее значит, что в рыночной экономике появились всякого рода финансовые институты, вроде фондовой и товарной биржи, федеральной резервной системы, которая контролирует денежное обращение. Все это даже отдаленно не напоминает то самое Laissez-faire («Пусть все идет как идет!»), против которого выступает Сорос. Если пойти дальше, то в экономике появились так называемые нерыночные горизонтальные структуры. Что это такое? Когда технический прогресс стал важной составляющей развития экономики, то как раз и оказалось, что для производства новых идей необходимы нерыночные, горизонтальные институты. То есть все они частные, сами себя финансируют и вступают в отношения между собой без вмешательства государства. Но они не продают свои товары на рынке. Таковы, например, университеты, фонды, которые дают гранты для развития науки, но повторяю, это не рыночные институты.

В.П. Однако, если конкретнее, то в чем же все-таки их роль?

А.К. А вот в чем. Рынок, как известно, предполагает, что все определяет его величество потребитель — если удовлетворяешь потребителя — ты на коне. Но когда в сферу экономики включается производство идей, то важно (особенно на первых стадиях) защитить их производителя, вывести его из-под зависимости от потребителей. Это и делают прежде всего университеты, которым на этот счет предоставлены огромные права. Вот я 24 года в Пенсильванском университете — и довольно часто имею дело с фирмами — но никто, ни один человек за эти четверть века не сказал: «А ты делаешь не то или в твоих идеях не нуждается потребитель. Нет, такого не было!» Не случайно, когда пришли к Бенджамину Франклину и сказали, что в Америке нужна Государственная Академия наук, он ответил: «Ни в коем случае: наука должна делаться в частных университетах, чтобы никто не был вправе ценить то, что они делают!»

В.П. Вы хотите сказать, что ничего этого не увидел Джордж Сорос.

А.К. Не только это. Он не увидел и самого важного, что произошло, — это Кейнсианская революция. Что оказалось? Что на Западе дихотомия, о которой все время говорит Сорос — «или капитализм, или государственное вмешательство» — была характерна до наступления 30-х годов. С одной стороны, были сторонники свободного рынка (впоследствии Милон Фридмэн и его Чикагская школа, да и многие другие). В противоположность ей,

существовал либо корпоративный социализм (позже называемый фашизмом), либо коммунистическая идеология, которая предполагает сильное государство и его командную роль во всех областях жизни.

В.П. И что же нового внес Кейнс? Планирование рынка? Планирование капитализма? Как-то все это нелепо звучит.

А.К. Отнюдь. Когда пришел Кейнс (то есть Кембриджская школа), они вовсе не сказали, что они за план, а сказали просто — ни рынок, ни планирование не надо доводить до крайностей. Вот и все. Можно найти такую меру вмешательства государства, которая сохранит рыночную экономику, демократию и вместе с тем обуздает рынок, не даст ему пойти в разнос. Над ними хохотали. Несогласные Кейнсу говорили: де, вы напоминаете нам девушку, которая хочет быть немножко беременной. Однако Кейнс выстроил теорию, которая подсказывала, как конкретно нужно вмешиваться, какие параметры, как определять их численное значение, чтобы воздействуя на свободную экономику, с одной стороны сохранить ее принципы, с другой — предупреждать возможные катаклизмы.

В.П. Но когда все это было? Во времена Рузвельта! А что же сегодня?

А.К. Вся западная экономическая система построена на Кейнсианстве, которое, начиная с послевоенных лет, повсеместно дает огромный эффект.

В.П. Как оно работает? Как и в чем оно проявляет себя в Америке сегодня?

А.К. Как раз в государственном вмешательстве в рыночную экономику!

В.П. Конкретнее...

А.Е. Пожалуйста, первый пример: установление правительством минимума заработной платы. Или скажем, политика установления амортизационных отчислений.

В.П. Не думаю, что когда Сорос говорил об обуздании рынка, он имел в виду зарплату или там амортизационные отчисления. Лично я далек от проблем экономики, но вот вам только один пример бессилия государства перед

рынком: провал реформы здравоохранения. Вы помните как средства массовой информации не уставали повторять, что 30 миллионов граждан страны не имеют медицинского страхования (либералы говорили чуть ли не о язве капитализма). Пусть эта цифра преувеличена. А, если 20 миллионов? Или десять? Все равно, какое-то число людей в силу дороговизны медицины, может оказаться без «медицинского покрытия». Конечно, Америка гуманная страна, и трудно представить, что кому-то будет отказано в помощи врача. Но каково самочувствие гражданина при одной мысли, что, не имея страховки, он может быть этой помощи лишен. То есть оснований для реформы было более, чем достаточно. И что же? После бесконечных дискуссий на разных уровнях, в конце концов, все лопнуло, как мыльный пузырь. Столкнувшись с интересами врачей и их высокими доходами, реформа «выдохлась». Не выдержала противодействия свободного рынка здравоохранения. Его так и не удалось ни победить, ни обуздать.

А.К. А может быть, это и хорошо! Мы не знаем...

В.П. Хорошо или не хорошо, но миллионы не могут чувствовать себя спокойными за свое здоровье.

А.К. Кто эти миллионы? Это в основном молодежь, которая не хочет страховаться. С этими цифрами надо быть осторожными, вокруг них слишком много демагогии.

В.П. Судя по тому, как много денег и сил затратили, видно, сколь насущны были перемены.

А.К. Признаться, я далек от этой проблемы. Давайте, однако, на нее взглянем с другой стороны. Вспомним, что Америка — это страна среднего класса. Поэтому, когда даже называют цифру тридцать миллионов (пусть эта цифра соответствует действительности), то это какой процент от населения? Десять — одиннадцать процентов? Верно? Нельзя же ради этих десяти-одиннадцати процентов, поставить 80-90 процентов людей в жуткое положение. Ведь если введут государственную медицину (как в той же Канаде) и разрушат частную медицину, то в жертву как раз и будет принесено это абсолютное большинство.

В.П. Лично мне тоже не симпатична государственная медицина. Я просто хочу понять точку зрения Сороса — ведь, применительно к медицине, никто так и не смог довести реформу до конца. «Доктрина невмешательства», выражаясь его языком, оказалась сильнее.

А.К. О каком вмешательстве идет речь? О вмешательстве государства? Вот тут как раз и угроза, идущая от американских либералов, которые всегда на стороне так называемых «обездоленных». Конечно, очень важно иметь дело с каждым человеком, — если он беден, бездомен и прочее, — но всегда надо помнить о дифференциации подхода, потому что, если вы унифицируете метод в пользу этого «обездоленного меньшинства», вы можете поставить в жуткое положение другую часть общества.

В.П. Но ведь это и есть социалистический подход: «большинство», «меньшинство». В свободном мире самоценна сама личность. Вряд ли будет правильным говорить: «В крайнем случае проигнорируем их интересы, их же всего 10 процентов, зато оградим интересы 90 процентов».

А.К. Дело совсем не в том, что я призываю проигнорировать 10 процентов (даже, если все они обездоленные). Я хочу сказать другое: оказывая помощь этим 10 процентам, нельзя ни в коем случае подрывать интересы остальных 90 процентов, разрушая утвердившуюся в свободном рынке систему. Так что, речь тут ни о какой такой «язве капитализма».

В.П. Это не язва капитализма, но по-видимому, проблема, которую не в состоянии решить американский капитализм. И кто знает — так ли уж не прав Джордж Сорос?

А.К. Не согласен... Капитализм может ее решить!

В.П. Может — так пусть решит...

А.К. Вопрос не в этом. Сорос же не говорит так: «Институты есть, которые могут решить, но они не решают». Он говорит, что нынешний капитализм не имеет самих институтов, способных решать назревшие социальные проблемы. Вот, с чем я не согласен!

В.П. Вы говорите, что у свободной экономики появилось три фундаментальных качества, которые не хочет

видеть Джордж Сорос. Вот если их принять во внимание... Что, по-вашему, капитализм — это путь решения всех проблем свободного мира? Или это все-таки паллиатив, который находится посредине, а вот придут новые времена и появится куда более совершенная система.

А.К. Понятно, что идеальных систем нет. Возможно вполне, что, если и дальше будет усиливаться технический прогресс, то экономическая система Запада обогатится новыми институтами и будут вырабатываться новые идеи, совершенствующие саму систему. Но что очень важно? Что Западная политическая система дает условия для такого совершенствования.

В.П. А как соотносится проблема свободного рынка с созданием общества всеобщего благоденствия?

А.К. Что значит всеобщее благоденствие? Я не понимаю...

В.П. Хорошо, попробую сказать иначе: как соотносится проблема рынка с проблемой ликвидации социальных полюсов, сокращения разрыва между бедностью и богатством. Я бы хотел привести некоторые цифры. Известно, что за пять лет в Америке крупные корпорации увеличили свои доходы на 50 процентов. Но, если в 1975 году зарплата руководителя корпорации была в 40 раз выше средней зарплаты, то в 1995 году она составила 150—200 средних зарплат. В противоположность Соросу «рыночники» говорят, что мы живем в условиях очень продуктивной экономики. Думаю, что это так и есть. Америка есть Америка. Но у меня вопрос: в каком смысле вы, например, видите ее продуктивность? Если в смысле технического прогресса, роста валового продукта, темпов производства, то тут все ясно: существует масса цифр, определяющих роль США как флагмана мировой индустрии. Но я бы хотел перенести вопрос на микроуровень: как свободно-рыночная экономика влияет не только на все общество, не только на жизнь «успешных людей», вырывающихся вперед, но и на стандарты рядового американца, на жизнь миллионов простых граждан, которых мы в массе видим вокруг себя. В этом смысле я и говорил выше о всеобщем благоденствии.

А.К. Скажите, доход бедной части населения (называемой вами «простыми гражданами») вырос или нет? В абсолютных величинах? Покупательная способность выросла? В частности, если взять средний класс? То есть я хочу спросить: пирог вырос? Теперь начали распределять этот пирог. Все ушло богатым? Или больше, чем раньше, досталось и остальным?

В.П. Думаю, что да, рост произошел, хотя не вполне понятно: в какой степени у разных слоев населения. Что касается среднего класса, то как мы знаем, он переживает колоссальное расслоение и генерирует новые социальные полюса из собственной среды.

А.К. Но все-таки мы согласились, что пирог вырос. Что же тогда тревожит? Пропорции! У одних он вырос в сотни раз больше, чем у других.

В.П. И что же, вы считаете, что в этом ничего страшного? А мне, знаете, как-то неуютно жить в мире, в котором доход, скажем, ряда жителей поселка Энгелвуд-Клифт, расположенного в двух милях от моей Леонии, в двести-триста раз превышает доходы моих соседей по Леонии, многие из которых ведущие ученые Колумбийского университета.

А.К. Но поскольку я уверен, что жители вашей Леонии тоже стали жить лучше, речь опять-таки идет о пропорциях. Что упускается в этих пропорциях и в чем я никак не мог убедить американских либералов? Дело в том, что, когда речь идет о доходах людей в Америке, то обычно подходят с точки зрения их стремления увеличить свои счета в банке, создать себе лучшие условия жизни и жизни своих семей. В общем, понятно, о чем речь. На мой взгляд, в проблеме распределения доходов — не это главное. Кардинальный вопрос — это создание богатых людей, роль которых неоценима в осуществлении децентрализованных вложений. Мы говорим о борьбе с бедностью, о всеобщем благоденствии, но ведь именно богатые люди, в основном, решают судьбу страны. На чем погорела Швеция, ополчившись против богатых и доведя налоги до 90 процентов? Чего никогда не могли понять марксисты? И что не могут понять американские либералы? В сущности, очень простой вещи: куда идут прибыли богатых людей? Да вот эти упомянутые вами владельцы корпораций, чьи доходы увеличились в 150—200 раз, на что они эти доходы использовали?

В.П. Использовали они их, по-видимому, по-разному. И, думаю, не в последнюю очередь на пополнение собственных счетов в банке, изменение качества своей жизни, если мы уже говорим о социальных пропастях.

А.К. Но все же на что они их используют? В основном и главном? Они что их «прожирают»? Или ванны золотые делают и купаются в шампанском? Свои доходы богатые люди используют для новых вложений, в самые разные области, в том числе для инвестиций в искусство и культуру — чего, конечно, никакие государственные структуры делать не станут. Вот вам простой пример, У нас в Филадельфии находится теперь уже знаменитая на весь мир Барнсовская коллекция. Знаете ее историю? Барнс, как известно, был фармацевтический промышленник, сделавший на этом большие деньги и начавший после этого скупать картины импрессионистов, постимпрессионистов. Когда он их привез в Филадельфию и открыл выставку, критики единодушно его смешали с грязью — мазню привез! Тогда он сказал: «Все! Выставку закрываю, и никому доступа не будет — не доросли!» И работы таким образом не показывались до последнего дня его жизни. После его смерти жена, которая должна была платить налоги с собственности, договорилась со штатом, что налоги уменьшат, если разрешат два дня в неделю показывать выставку публике. (Не знаю, что бы было с выставкой, если бы толпы, в том числе толпы газетных борзописцев, повалили на нее с первых дней.) Так благодаря Барнсу, сохранилась эта бесценная коллекция, ставшая предметом национальной гордости Америки. Мог ли это сделать музей? Даже частный музей? Или какая-то там комиссия? Думаю, что нет. Как только у вас число людей больше одного, начинает проявляться их консерватизм. Вот почему так важно в Америке наличие богатых людей. Это как раз те, кто способствует созданию нового.

В.П. Но вернемся к Джорджу Соросу — и даже не к его

статье, а к его личности. Как известно, он принадлежит к числу 400 самых богатых людей Америки. Его состояние оценивается в два с половиной миллиарда долларов. Вы как-то говорили, что вы его знаете лично. Что послужило поводом для вашей встречи? Какое впечатление он на вас произвел?

А.К. Это тогда, когда он задумал создавать Фонд Сороса в СССР. Он хотел, чтобы я участвовал в этой работе, помогал подбирать людей, давал какие-то советы. Пригласил меня с женой к себе, на Лонг Айленд, и мы три дня провели вместе.

В.П. Словом, вы имели возможность наблюдать его лично. Почему, с вашей точки зрения, он вообще решил выступить с этой статьей против капитализма, подрезая, как говорят в таких ситуациях, сук, на котором он сидит? Было бы понятно, если бы это был бунтарь, диссидент, радикал или даже коммунист. Но это человек, сделавший на рынке астрономическую сумму денег, — кому же как не ему быть рьяннейшим защитником капитализма, а он выступает в амплуа его рьяннейшего обвинителя.

А.К. Думаю, что то, на чем он делает деньги, настолько неустойчиво, настолько опасно, что он живет, как ни странно, в постоянном страхе перед рынком. На чем он сделал миллиард? И за что, кстати, его проклинает Европа? На спекуляциях! В частности, на спекуляции с фунтом стерлингов. Он очень много писал и говорил о рефлексии, считая себя автором даже особой теории, опираясь на которую он якобы разработал свою систему. С другой стороны, как он мне сам рассказывал, окончив Лондонскую школу экономики вместе с Карлом Поппером и Хаеком, он многие годы лелеял мечту стать вслед с Поппером социальным философом. Карл Поппер (с его книгой «Открытое общество и его враги») был как бы его идеалом. Он даже создал общество Карла Поппера и написал доклад о нем, но не сделал его, поскольку его, как и много раз в жизни, отвлекла очередная финансовая спекуляция. Словом, с философией мало что получилось, но кто знает, возможно комплекс несостоявшегося философа живет в нем и по сей день. Отсюда его непомерные амбиции и

претензии на амплуа критика капитализма, на лавры создателя новой экономической теории, предлагающего по-новому взглянуть на роль государства. На самом деле, как я сказал, все его взгляды продиктованы безумным страхом перед рынком. По-видимому, его ужасает, что подобно тому, как в один из сентябрьских дней 1992 года он за несколько часов сделал миллиард — он также в один прекрасный день может все потерять.

В.П. В отличие от Сороса, вы бескомпромиссный защитник рыночной экономики, и в сущности не видите в ней темных пятен. Я тоже за рыночную экономику. И не ставлю ни во что так называемое социалистическое планирование. Но отдавая ей должное, особенно в Америке, где она переживает подлинные триумфы, я бы снова хотел обратиться к ее микроуровню и заглянуть туда, где встречается с рынком рядовой потребитель. Как вы думаете, в максимальной ли степени свободный рынок удовлетворяет его спрос? Чего стоил социализм, мы знаем. Но с ним, слава Богу, покончено и таким образом открывается возможность оценить капитализм в чистом виде. Да, конечно, техника, удешевление производства, рост общественных богатств, все большее число богатых людей. Мой вопрос — прост и однозначен, — об удовлетворении потребностей рядового покупателя. Ну, например, как рыночный механизм влияет на качество изделий? Не возникает ли тут следующая ситуация, что в своем здоровом стремлении к рентабельности и прибылям, производители постоянно внедряют более дешевые материалы (классический пример с пластмассой, с химией, бесчисленные заменители, вискоза и пр.) И это понятно: рынок с его конкуренцией не может существовать без удешевления изделий. А что же потребитель, ради которого все это делается? Всегда ли он в выигрыше? Чтобы не растекаться по древу, хочу попросить вас прокомментировать следующие цифры: в течение только одного года 70 процентов покупателей вернули один или два раза приобретенные товары, 20 процентов покупок не удовлетворял тех, кто их купил, 30 процентов владельцев автомобилей недовольны своими машинами и так далее.

А.К. Ну на эти цифры ответить проще всего. Почему возвращают? Да просто потому, что пришлось не по вкусу. Все очень по жизни. Пришла, примерила, не понравилось — и меняет. Я смотрю по собственной жене, я не помню, чтобы она хоть раз пожаловалась на плохое качество, нет!

В. П. А что если изделие, да вот скажем, та же телефонная трубка не работает. Одна не работает, другая не работает. Или лампа дневного света не горит? Или после первой же стирки выцвела сорочка? Вытерлись брюки? Отскочила на другой день подошва? У вас не бывало, что вы битые часы проводили в гараже с новой машиной? То не в порядке, это не работает...

А.К. Лично я не имел проблем с новыми машинами, нет не имел.

В.П. Хорошо, оставим в стороне машины и массовые предметы обихода. Допустим сам бог велел тут экономить на затратах. Напомню вам другую историю — с запуском и взрывом «Челленджера», оставившую трагический след в душе американских граждан и в ком-то даже пошатнувшую восторг техническими достижениями Америки. Так вот, комиссия, изучавшая причины гибели Челленджера, установила, что когда его строили, то в погоне за рентабельностью было сэкономлено полтора миллиарда долларов на уменьшении затрат производства, в частности, было сокращено 500 работников квалити-контроля. Это «Челленджер»! А о других случаях мы можем, вообще, никогда не узнать.

А.К. И что же поможет вмешательство государства, о чем говорит Сорос? Вы же сами упомянули, как было у советских. Не забывайте, что качество продукции, которая тут выпускается, позволила американцам первыми высадиться на Луну!

В.П. На Луну это прекрасно, но, если все-таки говорить о делах земных. Из лексикона американцев не исчезает слово «бизнес», который как бы живет по своим законам. На любые подозрения о том, что с вами как-то не так поступили, готов ответ: «Бизнес — есть бизнес!» И нравственные оценки тут вроде бы не при чем. Вот я и спрашиваю, не видите ли вы такой проблемы, как нечестный бизнес? Не отсюда ли все дела с качеством? Не получается ли слишком часто так, что граница между честным и нечестным бизнесом (а то и просто жульничеством) оказывается размытой? И способствует ли рынок, где всегда на первом месте доход, развитию честного бизнеса, или приходит с ним в противоречие?

А.К. Любая система человеческих отношений способствует развитию и хорошего и плохого. Вопрос в том, что превышает — минусы или плюсы? Мы знаем, что когда существует государственный контроль, то начинаются взятки, бюрократия, подкуп. К тому же всякий, кто выступает на рынке, стоит перед опасностью, в случае чего, потерять престиж. Как вы думаете, опасно это или нет?

В.П. Абсолютно безопасно, особенно в такой стране больших чисел, как Америка. Почему? Очень просто! Вы купили в супермаркете «Шопрайт» фунт ветчины, объявленной в коммершлс вершиной ветчинной, «колбасной кулинарии». И вот, придя домой, выяснили, что ветчину эту нельзя взять в рот. Естественно, впредь вы будете обходить этот «делишес» за километр, как и сотня тысяч других, попавшихся на удочку рекламы. Престиж творцов этого «делишеса» действительно упадет, но в чьих глазах? В глазах тех, кто попался! А сотни тысяч других опять же эту негодную ветчину купят, и прибыли будут идти нескончаемым потоком. Разве мы не знаем, как часто на рынок, правда, по низким ценам, выбрасываются отходы, подделки, заведомый брак, часы, например, которые остановятся еще перед тем, как вы вернетесь домой и так далее.

А.К. Да, мы это знаем, но ведь не случайно подобные изделия сбываются по бросовым ценам? Цены как бы предупреждают о том, что вас ждет.

В.П. В одном из городов Америки муниципальные власти вынуждены были ввести специальный штраф в 50 тысяч долларов, налагаемый на автомобильных дилеров за лживую рекламу при продаже машин. О чем это говорит? О плюсах или минусах рынка?

А.К. Но на то и существуют потребительский контроль,

«Бэттербизнесбюро» и т.д. Каждый предприниматель может производить такой товар, какой хочет, хвалить свой товар сколько угодно, пусть самый негодный. Вопрос стоит так: есть ли институты, которые не дают ему распоясываться?

В.П. Институты-то есть. Ну а что дальше? Что, эти институты эффективно помогают потребителю? Вы знаете тому примеры? Или все-таки в любой ситуации вам шагу не ступить без адвоката? Давайте говорить не об институтах, а о гражданах страны, которым приходится пожинать плоды недобросовестности, алчности, нечестности производителей, действующих на свободном рынке. Вот о чем речь.

А.К. Теоретически вы рассуждаете безукоризненно. Конечно, предприниматель ничем не сдерживается. Он стремится как угодно экономить, крутиться, удешевлять, его можно сделать чертом, дьяволом. И это имеет самое серьезное основание. Вопрос о том, дают ли ему эту возможность?

В.П. Вы считаете, что не дают, а я считаю, что тут Джордж Сорос прав, или почти прав, ибо очень часто рынок бесконтролен. Не удивляйтесь, что я делаю акценты на негативных сторонах. Америка — великая страна. Но, если мы хотим быть достойными гражданами, мы должны меньше всего петь аллилуйю, но вглядываться в ее проблемы и недостатки. Впрочем о качестве американской продукции следует, вообще, говорить с оговоркой. Если следовать правде жизни, следует говорить о качестве изделий, производимых на Тайване, в Таиланде, Малайзии, в Гонконге, Сингапуре, Индонезии, Китае и т.д., а в Америке лишь реализуемых. По некоторым данным, 70 процентов продукции, главным образом, текстиля и электроники, производится сегодня за пределами США, в так называемых странах третьего мира. Что вы скажете об этом?

А. К. Ну, во-первых, во многом это связано с дороговизной американского труда. При этом важно иметь в виду, что сегодня подавляющая часть американцев занята в сфере услуг.

В.П. Пусть так, но не надвигается ли угроза американскому потребителю? Вы-то сами, наверное, с большим удовольствием, купите транзистор, произведенный в Штатах, чем скажем, в Таиланде?

А.К. Что же, вы поднимаете, действительно кардинальный вопрос. Что делать с неквалифицированной рабочей силой в США, когда другие страны обладают огромными резервами дешевого труда? Тут, вероятно, следует вспомнить так называемый рекардианский принцип свободной торговли: целесообразно, чтобы каждая страна специализировалась на том, что она может делать лучше. И уже потом обмениваться. Но какая роль должна быть у Соединенных Штатов? Америка — это страна, которая по своей политической и высочайшей индустриальной культуре очень способствует пионерству. То есть я думаю, что Соединенные Штаты как раз и будут развиваться главным образом как страна пионерских идей.

В.П. Вы просто элегантно говорите о том же, о чем говорю я, только делаете другие выводы. На самом деле, если страна перестанет сама производить — а лишь покупает — это же признак надвигающегося кризиса: не уготовлена ли Америке роль гигантского финансово-промышленного брокера? Другие страны производят (пусть на основе ее пионерских идей), а Америка лишь продает. Не так ли?

А.К. Не брокера, а пионера — первооткрывателя. Не будем одно смешивать с другим. Брокер — это совсем другое. Итак, может быть Америке специализироваться на разработке новых идей и на том, чтобы делать опытные, малосерийные, образцы, а дальше отдавать это внешнему миру? Я в этом вижу положительную сторону.

В.П. А я вижу кризис — причем парадоксально, что одной из причин кризиса — является то, что вы упоминали, как положительную сторону вмешательства государства. Правительство устанавливает минимум зарплаты и таким образом вынуждает бизнесы искать дешевые рынки рабочей силы, обрекая страну на роль мирового брокера, которого вы называете пионером новых идей. Пусть пионером. Суть не меняется.

А. К. Дело не в словах. И даже не в экономических, а в социальных последствиях — в путях использования собственной рабочей силы, о чем мы уже говорили выше. И тут никто не отрицает проблемы.

В.П. Мы все время дискутируем вопрос внутренних рынков: доктрина невмешательства, рынок, планирование и т.д. Но как все это выглядит, если перенестись в сферу международных отношений, к так называемой геополитике, о чем, кстати, с тревогой пишет Джордж Сорос.

А.К. Вам может показаться странным, я эту тревогу Сороса целиком разделяю. Действительно, в несколько огрубленном виде эта проблема выглядит так: на международной арене, когда мы говорим о взаимоотношениях разных стран, действуют не принципы (которые внутри этих стран отстаивает государство), а голые интересы. В связи с этим возникает совсем новый вопрос: как найти институты, которые не дали бы возможность некоторым странам (особенно малым странам, обретшим смертоносное оружие, например, таким, как Ирак), не дать возможность разрушить мир?

В.П. Если обратиться к Соросу, он озабочен и более общим вопросом: как сделать, чтобы и крупные страны руководствовались какими-то принципами, а не своими эгоистическими интересами?

А.К. Но этого вы не можете сделать, это просто не реально. В чем был гений Монтескье? По сравнению с другими, отстаивающими идею просвещенных правителей, Монтескье говорил, что дело не в их просвещенности, а в том, что правителей надо чаще выбирать, ограничивать и чаще гнать. Что понял Монтескье? Реальных людей — вот что он понял. Как только человек садится на престол, у него появляются свои эгоистические интересы: тяга к захватам, экспансиям и т.д. То же самое и со странами — не рассчитывать на то, что ты сумеешь из них создать великих гуманитариев, которые будут думать о пользе человечества. (Это высмеял блестяще Свифт в «Политической академии».) Человека нужно брать таким, как есть. Поэтому нужно создавать такие институты, которые побуждали бы его как можно чаще обращать свои

интересы на пользу других. Это хотели делать через Лигу Наций — не удалось, пытаются сделать через ООН — снова не удается. Я много думал над этой проблемой, и вот какая ко мне приходит мысль: единственный путь — это приход к мировому правительству. Поскольку угроза неустойчивости становится такой сильной, что, если какая-то передовая, современная страна почувствует, что она имеет щит, — она может объявить себя мировым государством. В качестве такой страны, способной укротить потенциального разрушителя, могла бы выступить Америка. Не уговорами укротить, никакими там моральными примерами — силой!

В.П. Но ведь ее могут назвать мировым жандармом? Из той же Европы могут как раз и послышаться такие голоса, где и так недовольны вмешательством Соединенных Штатов в дела малых стран.

А.К. Причем тут мировой жандарм? Я не говорю о политике, а о вполне определенной ситуации: то есть, если создается положение, что какая-то маленькая страна — угрозами и шантажом — попытается поставить на колени мир. И вот, если задуматься, как из этой ситуации выйти, тогда и может идти речь о мировом правительстве, имеющем реальную силу навести в мире порядок.

В.П. Пока это выглядит как мечта...

А. К. Пусть мечта, но какие-то средства для ее воплощения надо искать.

В.П. И последний вопрос, хотя по степени важности далеко не последний. Джордж Сорос его, естественно, касается. Помните, когда он говорит, что Запад и открытое общество не протянули руку помощи России после краха коммунизма. Я хотел бы здесь его процитировать: «Система грабительского капитализма, установившегося в этой стране, столь чудовищна, что люди вполне могут пойти за каким-нибудь притягательным лидером, который пообещает им национальное возрождение ценой гражданских свобод». И далее: «Урок опыта России заключается в том, что крах репрессивного режима сам по себе не ведет к возникновению устойчивого открытого общества».

А.К. Тут не все так просто, как кажется Соросу — Запад,

видите ли, не протянул России руку помощи! Перед ней ведь стояла задача совершенно уникальная — традиционное военное общество перевести на совершенно другие рельсы. Это же не задача рынка, не рыночными институтами она решается: был допущен крупный стратегический просчет. Вместо того, чтобы подумать, каким упорядоченным путем преобразовать это милитаристское общество и лишь потом, создав необходимые условия, постепенно идти к свободной экономике, — в России решили, что автоматизм рынка позволит все это решить сам. Руководители страны выступили просто как имитаторы западного пути. Не более того. Чего здесь сваливать на западных консультантов? Приезжает из Гарварда этот Сакс, который специалист по вопросам инфляции в Боливии, вольно же винить его в провалах России! Я виню Гайдара, а не Сакса.

В.П. Значит, дело, вообще, было не в рынке, а в политике.

А.К. В России это уже происходит второй раз. Первый раз — во времена Временного правительства. И вот теперь. Все дело в том, что там никогда не ценились идеи. Не ценились личности, способные производить идеи. И поэтому, когда страна стояла перед переходными режимами, требовавшими совершенно оригинальных новых идей — их не было. И тогда обычно начинались импровизации здравым смыслом. В чем беда Америки? Американцы исходят из того, что все одинаковы. Они считали, что без демократии невозможен никакой рынок и совершенно правильно считали. И со страшной силой жали на Россию: «Переходите на рынок, переходите на демократию!» Но определяет-то не Америка! К тому же в России напороли не только с экономическим механизмом. С политическим механизмом тоже натворили нечто невероятное. Перепутали демократию с охлократией, плюрализм с анархией. Еще до прихода Горбачева, 99 процентов интеллигенции — и те, которые влияли на него и к которым он присоединялся, — знали все рецепты спасения России. Надо ликвидировать коммунистическую партию, ее монополию, создать многопартийную систему, открыть страну для

внешнего мира, ликвидировать цензуру. На первый взгляд, прекрасная программа, но она как раз и была подсказана имитаторским здравым смыслом.

В.П. Что же надо было делать? Не вводить демократии? Отказаться от рынка?

А.К. На мой взгляд — я писал об этом еще в 87 году — все перечисленное выше надо было делать с точностью до наоборот. Главное, в чем заключалась проблема? В том, что Россия больше не может выдержать экспансионистского общества. Следовало искать новую модель русского лидера с новой миссией. Россия нуждалась в таком лидере (как бы мы его не называли, монархом, Генсеком, президентом), который бы оказался способен за пять-семь лет обеспечить благосостояние русской нации. Не ликвидировать партию, не ликвидировать плановое хозяйство, не ликвидировать КГБ — главный удар по армии! За счет перевода экономики на мирные рельсы и ликвидации гонки вооружений, Запад в этих условиях мог бы 15 процентов сэкономленных ресурсов передать России на перестройку хозяйства и улучшение жизненного уровня людей. То есть сначала следовало уйти от кризиса, а это можно было осуществить лишь сняв военную нагрузку, и тогда сама по себе утратила бы свою роль партия, нацеленная на экспансию командная экономика и т.д. Лишь после этого переходить к созданию свободного рынка. А что делают тогдашние правители? Прежде всего пытаются сохранить военную машину и экспансионистскую политику. В 89 году Горбачев подписывает решение Политбюро о производстве вооружения, суммарно превышающем уровень всех стран НАТО. Отсюда все и началось. И хотя Ельцин и его правительство сделали огромный шаг по пути демилитаризации России, но сделали это, как известно, такими варварскими средствами, что это может вернуть Россию на ее традиционный, милитаристский путь.

Мирон РЕЙДЕЛЬ

ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ

Тайные следы ГУЛАГа

То, что двумя нулями в цивилизованном мире обозначают дверь в туалете, общеизвестно. Однако такую же символику, оказывается, применяли в своей практике и «ассенизаторы» из ГУЛАГа.

Двумя нулями они прикрывали, как и все сверхсекретные свои дела, нигде не числившиеся отдельные лагпункты. Стало быть, узники таких лагерей тоже нигде не числились: ни в списках живых, ни в списках мертвых. Нигде. Их как бы не существовало вовсе, их не рожала в муках мать, а ее попытки найти сына или дочь были плодом ее воспаленного воображения. Ну, зачем, считали палачи, учитывать человеческое дерьмо, даже если оно — бывший академик, бывший режиссер с мировым именем или бывший знаменитый философ, не поклонявшийся марксизму-ленинизму?

Среди особых правил внутреннего распорядка, писанных и неписанных, одно соблюдалось там неукоснительно: ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ. Если к двум курящим подходил прикурить еще один заключенный, в этого, третьего, могли выстрелить без предупреждения. Если один падал от изнеможения и к нему двое кидались помочь, в третьего стреляли без предупреждения. Не говоря уже о знаменитом: «Шаг вправо, шаг влево — побег».

Под предлогом бездорожья туда неделями могли не привозить продукты для арестантской столовой. Там практически не было медицинского обслуживания, а если и присутствовал врач, лишь для того, чтобы засвидетельствовать смерть. По сути это были лагеря уничтожения, только по бедности, а, может быть, и из трусости, без газовых камер и крематориев. Сколько их имелось тогда — кто нынче знает. На них архивов не заводили, а и заводили — давно уничтожили. Их вроде бы, вообще, не было. И никогда, никому не понять и не ответить: зачем? Зачем надо было уничтожать дармовую рабочую силу, покорных рабов, строивших им коммунизм?

Когда, в середине пятидесятых годов, после XX съезда партии и выступления Хрущева, над сталинскими палачами нависла угроза разоблачения, гулаговские «золотари», прежде всего, бросились закрывать лагпункты «Два нуля».

Оставшихся в живых (под подписку молчать об увиденном и со справкой об освобождении «по отбытии срока наказания») спешно выгоняли на все четыре стороны.

Еще в семидесятых годах в таежных городках и поселках я встречал одиноких стариков с потухшим взором, ко всему безразличных. Это были бывшие узники советской каторги, бывшие индивидуумы. С единственным документом — справкой об освобождении, протертой на изгибах, пожелтевшей от времени, ветхой, как древний папирус, с едва различимым текстом, эти люди не только не имели права ехать на Запад дальше Тайшета, но сами давно смирились со своей судьбой. Куда и зачем ехать? В бывший дом? А если его давно нет? К бывшим родным или бывшим друзьям? А если тебя давно похоронили? Если никого в живых не осталось, и что — одинокая смерть

среди чужих, тебя не понимающих людей? Уж лучше «бич» («бывший интеллигентный человек») среди таких же бывших. Тем более, жить многим из них оставалось ничтожно мало.

...Это было в первой половине шестидесятых годов. Геологический факультет Московского университета уже несколько лет занимался коммерческой деятельностью на стороне: заключал хоздоговоры на изыскательские и поисковые работы для строителей. А строительство тогда развернулось по стране огромное: гидростанции Сибири, волжские гидростанции, превратившие великую реку России в систему искусственных, безрыбьих водохранилищ; ведущие в никуда железные дороги; нефтяные промыслы в Приполярье; секретные испытательные полигоны — Капустин Яр, чуть ли не весь северный Казахстан, Плесецк; надземные и подземные секретные заводы; целые секретные города — Мелекесы, Арзамасы, Челябински, Томски... Наши экспедиции и партии, отряды работали от западных границ до Курил и от Приполярья до Кушки.

Несколько полевых сезонов я ездил с Ангарской экспедицией заместителем начальника партии. Мы вели изыскательские работы к проекту железной дороги, которая связывала бы БАМ с селом Воробьево. Близ него, в устье Илима, предполагалось строить гидростанцию. «Хребтовая», «Мука», «Тушама», «Игирма», «Воробьево» — водораздел между Ангарой и Леной, чащобы Илимской тайги, некогда самой дремучей и непролазной, — вот наш маршрут. А базировались в Нижнем Илимске...

Это же вранье, что БАМ начали строить при Брежневе. БАМ, как и линию Абакан-Тайшет, строили еще до войны. Этим занимались удельные княжества ГУЛАГа — Ленлаг, Озерлаг, Ангарлаг, уже тогда созданный БАМЛАГ со столицей в поселке, который так и назывался БАМ и прочие «лаги», где умирали заключенные. Кстати, с востока они строили БАМ и при Брежневе. А первый участок дороги — одноколейку Тайшет-Лена — успели построить еще при Сталине. А вот потом, когда лагеря позакрывали и дармовую рабочую силу Хрущев разогнал, Брежнев объявил стройку всенародной.

Этот полевой сезон оказался для меня последним в Ангарской экспедиции, наверное, поэтому так запомнился. А может быть, и потому, что встречи запали в мою память навсегда.

После Тайшета, когда начиналась однопутка БАМа, поезд после каждого перегона наращивал опоздание. Построенная зеками, железная дорога, как говорят специалисты, вечно болела — оседала насыпь, колея сползала в сторону, шпалы, проложенные местами по вечной мерзлоте, уходили в грунт. Ее постоянно «подлечивали». Группы ремонтников в оранжевых жилетах — непременная деталь дороги Тайшет-Лена — можно было видеть на всем протяжении, как сами рельсы, шпалы, светофоры и стрелки. Поэтому скорость ограничивали, на разъездах, ожидая встречного поезда, простаивали часами.

Помню, в этот год впервые переехали через Ангару по гребню еще строившейся плотины Братской гидростанции. Даже поговаривали, что наш состав был едва ли не первым. Зрелище чуть ли не со стометровой высоты предстало захватывающее. Пассажиры, бросаясь от одного окна к другому, щелкали фотоаппаратами.

Поезд двигался со скоростью пешехода, и каждый из них успел отснять по две-три кассеты. Несколько сезонов до этого переезжали по Чугунному мосту, тому самому Чугунному мосту, который еще до войны перевезли на берега Ангары с берегов Москвы-реки, подальше от печальной памяти «Дома правительства».

В Коршуниху, вместо обещанного расписанием полудня, поезд прибыл чуть ли не в полночь. По традиции его встречала пьяная толпа строителей горнообогатительного комбината. Хлебнув лиха на стройке и водки после работы, они ежевечерне приходили на станцию «крестить» (в переводе с их языка — лупить) приезжавших «за туманом и за запахом тайги» добровольцев. Участников экспедиции, однако, не трогали, уважали, ибо эти приезжали не по своей воле.

Утром, арендовав грузовик на местной автобазе, поехали мы дурманящей ароматом черемухи таежной дорогой, укатанной лесовозами и самосвалами, в старинный

сибирский поселок Илимск. По дороге останавливались у речушек, ручейков попить студеной до ломоты в зубах изумительно вкусной воды. Тогда еще можно было там пить воду из любой лужи, не боясь отравиться.

Еще успел я полюбоваться сохранившейся башней Илимского острога, потрогать почерневшие бревна деревянной часовни. Легенда гласит: срубил ее из стволов лиственницы будто бы лично Радищев. А еще в Илимске почитаема была шоферами и участниками экспедиции чайная местного леспромхоза, она угощала вкуснейшей выпечкой и такой сметаной, какую я никогда и нигде больше не ел. Теперь Илимска нет. Он — на дне Илимского водохранилища.

На рассвете, погрузившись на пароход «Лермонтов», а на самом деле — на прогулочный речной трамвайчик, доставленный сюда из Москвы, отплыли в Нижний Илимск. По пути подбирали пассажиров. Пристаней на Илиме не было, и пароходик, разогнавшись, выбрасывался на берег: с носа спускали узкий трап, по нему, балансируя, пассажиры взбирались на палубу.

Помню, как в последний мой рейс после трех-четырех выбросов вдруг раздался крик: «В трюме вода! Тонем!» Тонуть-то некуда было, Илим в среднем течении вообще мелководен, а в этот малоснежный год река до того обмелела, что днище то и дело скрежетало на перекатах.

Подплыли к берегу, капитан объявил аврал для команды и пассажиров, кто-то попробовал возразить, капитан зло пригрозил: «Высажу, бляха-муха!»

Толкаясь задами, обливая друг друга, мы черпали воду ведрами, кастрюлями, тазами, банками, выкачивали единственной маломощной помпой. Команда же мастерила заплату. Часа четыре провозились. В Нижний Илимск приплыли под вечер. Пока разгрузились, совсем стемнело.

Нижний Илимск. Сибирская глубинка. Дивный был городок. Тихий, чистый, уютный, с деревянными тротуарами, он обволакивал покоем. И народ там жил удивительный — высокой нравственной и духовной пробы. Там не запирались дома, на лесной тропе можно было оставить

что угодно и вернуться за этим, когда угодно. И не дай Бог спрятать: обижались! Один московский студент упрятал под ель, накрыв лапником, плащ. Через два дня, после того, как прошли грибники, плащ лежал на тропе, изрезанный в клочья. А мой фотоаппарат, полевую сумку с документами и набитый патронами патронташ, висевшие на ручке воткнутой в землю лопаты, никто не тронул.

Там, в столовой, посетителя могли бесплатно накормить, если оказался без денег, а в магазине дать в долг, там можно было постучаться на ночлег в любой дом. Там жили потомки декабристов, народовольцев, первых коммунистов — искренних, наивных, как первые христиане, которые шли на муки и смерть с верой в Иудейского Бога. Еще не знали, что на их костях будет построена мировая религия, ничего общего не имеющая с идеями Христа.

До сих пор я вспоминаю об этом городке со щемящей тоской. Теперь его нет. Он тоже ушел под воду Илимского водохранилища вместе с деревянными тротуарами, домом культуры, погостом, на котором местные жители сберегали могилы не только своих близких, но и всех нашедших там покой. Так ушел под воду Братского водохранилища и древний Братский острог со своей памятью...

...В этот год, едва начав полевой сезон, мы получили команду срочно перебазироваться на станцию Хребтовая. Там, во дворе пристанционной школы, и разбили палатки. За три дня до отъезда из Нижнего Илимска вышли из тайги. В первый же вечер отправились на танцы в местном доме культуры. Танцевали сначала под радиолу, когда выключили из экономии электричество и зажгли несколько керосиновых ламп, создав интимный полумрак, заиграл слаженный духовой оркестрик, а следующий вечер танцевали под звуки пианино, на котором играл учитель местной школы.

В первый же вечер познакомился я с милой девочкой, студенткой Иркутского педагогического института. Ее звали Фая, я назвал Фея. Она летела на каникулы к родителям, в низовье Илима, застряла из-за нелетной погоды.

Тонкая, нежная, застенчивая, мне казалась божественно красивой, хотя бы уже потому, что была моложе лет на двадцать пять. Конечно, сразу влюбился до одури, потому что почувствовал ее ответ. Ведь на самом-то деле выбирает женщина, мужчина только откликается на ее молчаливый зов, если, конечно, услышит его. Я услышал и воспарил. Две ночи, ежась от холода, обнявшись, гуляли в дурманном тумане вдоль высокого берега Илима. Я переносил ее на руках через лужи и сетовал, что луж мало, целовались до головокружения, а притулиться было некуда. Не идти же с ней в общежитие, где в двух школьных классах на полу разместилась вся экспедиция. Да и уж очень юной была. На третий день вертолет унес ее в Воробьево, а я уплыл на катере в Илимск.

Прежде мне не приходилось работать вблизи первой очереди БАМа, Тайшет-Лена, дороги, которую строили советские каторжане и где многое напоминало об этом. В дебрях Илимской тайги на десятки, а то и сотни километров — ни поселка, ни деревни, только редкие охотничьи зимовья по берегам таежных речушек. Лагерей не было, нам не попадались. А Хребтовая — это бывшая территория одного из удельных княжеств ГУЛАГа. Здесь уже то и дело натыкались на его «реликты».

Как-то поехал я по делам на поезде в Усть-Кут. Рядом со мной, у раскрытого окна, стоял то ли бывший строитель, то ли бывший гулаговец, то ли бывший зек, — во всяком случае, человек, знакомый с этими краями. Показывая пальцем, он говорил своему спутнику: «А вот здесь стояла женская колонна... А под той сопкой работала бригада Кувальцева... Вон там тоже лагпункт был...» Я же, кроме красивой и манящей к себе тайги с яркими жарками по опушке, ничего не видел, и спросил у пассажира, откуда он знает, как определяет места. Он показал на сосны, и я увидел сторожевые вышки: набитые на стволы сосен бруски, служившие охраннику трапом, и деревянные платформы под навесом. Заключенные называли такое сооружение «стервячье гнездо». Лет семнадцать спустя я поехал в командировку на строящуюся БАМ той же дорогой, только дальше Усть-Кута, через Лену, в сторону Тынды. И опять увидел «стервячьи гнезда». Кстати, тогда же поразился, во что превратили край сказочной красоты, куда тысячи юных душ ехали за романтикой — в гигантское смердящее, отхожее место.

Каждый день мы шли на работу три километра по шпалам до поворота в лес, на трассу будущей дороги. Ежедневно проходили мимо двух женщин в оранжевых жилетах, даже имена их запомнил: «Катя» и «Клава». Огромными щипцами они вытаскивали из-под рельсов гнилые шпалы и с великим трудом втискивали новые, потом пудовыми кувалдами вколачивали костыли. Мы им иногда даже помогали. Кстати, до сих пор не понимаю, почему такую тяжелую работу на советских железных дорогах делали, в основном, женщины, а мужчины бригадирствовали.

Всякий раз перед тем, как свернуть в лес, мы останавливались возле ручья наполнить фляги водой, перекурить перед броском по тайге. И вот однажды сидим мы прямо на рельсах, курим, рассказываем анекдоты, смеемся, из транзистора льется веселая музыка, а метрах в пятидесяти от нас работали Катя и Клава. Вдруг — дикие крики. Смотрим, обе они кубарем скатываются с насыпи. Устремились к ним. Дрожат, в глазах ужас, слова вымолвить не могут, руками показывают на верх насыпи, на сдвинутую шпалу. Взобрались на насыпь и чувствуем, как самих нас охватывает оторопь. Под шпалой торчал обнаженный... скелет. До сих пор вижу черные дыры глазниц черную дыру разинутой челюсти. Будто рвется что-то сказать нам.

Для нужд экспедиции мы нанимали на месте несколько «К/в рабочих» — так в смете именовались квалифицированные рабочие. Трудившиеся сдельно, они только заступом и кайлом на коротких черенках часа за два добирались до коренных пород, вырывая шурф глубиной порой метра в три, и диаметром не больше метра — этакая нора, в которой умещался один человек. Поскольку денег на них отпускали мало, таких мастеров обычно не хватало. Остальные шурфы пробивали московские студенты-практиканты, они ехали не столько за заработком, сколько за

приключениями. Вырытые тоже только лопатами и киркáми, их шурфы напоминали братские могилы.

К началу полевого сезона около сотни рабочих собиралось в Нижнем Илимске. Экспедиций там базировалось несколько, но каждый рабочий годами нанимался в свою. И они, действительно, становились своими, к ним привыкали. Не знаю, как в остальных, но в нашей экспедиции все они были из «бывших». Бывший кремлевский повар Кирюша готовил нам великолепные обеды из скудного набора консервов и сушеных овощей. Кстати, так и не знаю, Кирюша — имя старика-повара или прозвище за пристрастие к «бормотухе» (а за неимением ее — к лосьону «Финиш»).

Уже который сезон у нас рыли шурфы, рубили просеки, бурили грунт бывший ветеринар «Муму», бывший кораблестроитель из Николаева «Пират», бывший ученый-аграрник «Селектор», бывший военный комиссар Воронежа «Бугор». Даже лошадь была у меня «бывшей». Ее списали из милиции вместе с седлом, замнач по хозяйству подсуетился, пригнал ее для прокорма участников экспедиции, но мы не позволили убить лошадь, оставили при экспедиции, нарекли «Милиционером».

Раз в неделю я отправлялся верхом в поселок леспромхоза: на почту, в аптеку, в пекарню, в магазин. Ехал сперва тропой вдоль железной дороги до переезда, потом сворачивал на лежневку — крепкую, с поперечно уложенными шпалами, укатанную машинами дорогу, построенную, говорят, еще зеками.

Рядом шла хорошо тореная пешая тропа. Примерно через километр лежневка уходила дальше. Это было видно по широкой зараставшей таежной поросльюю просеке, дорога же и тропа круто забирали вправо, в лес.

Продвигаться верхом по таежной тропе вообще тяжело, а тут было просто невозможно. Лошадь то и дело спотыкалась о корни, полусгнившие стволы поваленных деревьев, ветви свисали так низко, что в конце концов я спешивался, вел лошадь под уздцы.

Пробитая грузовиками колея являла собою череду глубоких колдобин, наполненных водой и торчащими огрызками толстых сучьев. После изрядного крюка, огибая завалы, колея выныривала на ту же просеку, шла дальше, опять по лежневке, такой же укатанной и крепкой, как и до поворота в лес.

Выползала на просеку и пешая тропа. Много раз добирался я до поселка, как все, через лес, не задумываясь, почему люди сворачивают с удобной дороги, идут и едут кружным путем, испытывая не просто неудобства, а неимоверные трудности, чертыхаясь и матерясь на всю тайгу, вытаскивают из рытвин перегруженные лесовозы, а то и сбрасывают лесины по сторонам дороги, теряют время, деньги, тратят нервы. Почему?

Не помню, в связи с чем, но однажды такой вопрос возник. Кого ни спрашивал из местных, все, словно сговорившись, отводя глаза, отвечали почти одинаково: «Не знаем. Наверное, так надо. Не нами заведено». Во всех ответах явно звучал подтекст: «Ну, чего пристал, отвяжись...» Я и сам готов был поверить, что так надо, ведь дороги прокладываются кратчайшие, с выгодой, прежде всего, во времени. Однако Леша Купрешкин заставил меня усомниться в искренности ответов и даже немало заинтриговал...

Он был самый молодой из всех сезонных рабочих, говорил, что ему двадцать с гаком, но велик ли гак, не знал, может быть пять, может десять лет. Единственный из «бывших» Леша имел документы о полной реабилитации и даже паспорт. Купрешкин — бывший литовец. Настоящее его имя Альгимантас, а вовсе не Алексей, и подлинная фамилия — Купревичус, а не Купрешкин. Помнил он, что в раннем детстве жил на хуторе с родителями, двумя сестрами и старшим братом. В Каунасе жила самая старшая сестра, Юрате, работала учительницей в гимназии. Летом сорокового года гостила на хуторе вместе с женихом, осенью ожидалась их свадьба.

Но в это лето в Литву вошли советские войска. Вскоре ночью на хутор пришли какие-то люди с солдатами, объявили родителей кулаками, велели спешно собрать самое необходимое и вместе с детьми под утро куда-то увезли.

Лешу, как самого маленького, по просьбе родителей

забрала к себе Юрате. Ее не тронули, она на хуторе не жила, зарабатывала учительскими трудом.

Во время войны устроилась переводчицей в немецкую торговую контору. Надо же было кормиться: кроме младшего брата, на руках был грудной ребенок, а муж ушел добровольцем в Красную Армию.

В самом конце войны, когда Литву освободили, Юрате арестовали. Самого же Лешу и трехлетнего племянника определили в разные детские дома. Племянника он больше никогда не видел и о сестре ничего не слышал.

До совершеннолетия скитался по колониям для малолетних «врагов народа» (для «врагунчиков»), там и закрепилось за ним имя Алексей. Потом перевели в лагерь для взрослых «врагов народа».

При выписке из детской колонии сердобольный начальник написал в сопроводительных документах, что он — Алексей Николаевич Купрешкин и посоветовал ему выдавать себя за русского: так, мол, в его личных интересах.

Вскоре Леша убедился, что начальник далеко видел. Доказать теперь, что он вовсе не Леша, не Купрешкин и не русский, он просто не сможет. Съездил на родину в Литву. Но никого, кто подтвердил бы, что он Альгимантас Купревичус, не встретил.

В родительском доме жили чужие люди из России. Сестру в Литве не нашел. Подозревает, что сидела она внутри той самой баржи, которую утопили в Лене под Киренском, вместе с партией прибалтов. После чего он и вернулся в Сибирь, она стала ему теперь ближе Литвы. Женился. Получил паспорт. Развелся. Надеется, где-нибудь в Сибири отыскать хоть кого-то из многочисленной родни или хоть каких-нибудь соседей для свидетельских показаний. Мечтает снова стать литовцем, вспомнить язык, на котором разговаривал с родителями.

Я, между прочим, слышал об этой жуткой истории про баржу с прибалтами. В один из полевых сезонов, когда я работал консультантом в Ленской экспедиции, она базировалась в Киренске. Оттуда на вертолете меня забросили в один из выносных отрядов. И вот там, на маршруте, в таежной глухомани, наткнулись на зимовье — маленькую избушку, в которой охотник живет только зимой, в сезон.

Обычно каждое зимовье на лето консервируется, но не запирается. На видном месте хозяин оставляет небольшой запас продуктов, соль, спички, сухие дрова: в случае, если набредет кто-то, нуждающийся в крове и пище. Нас удивило, что летом в избушке кто-то жил. По всему чувствовалось, что хозяин вышел на короткое время. Для порядка подождав его немного, мы поставили шатровую палатку, тем более, что в этом районе предстояло еще месяц работать.

Хозяин объявился на второй день. Высокий, сухопарый, не седой, а белый, как песец зимой, он настороженно подошел к костру, буравя нас глубоко посаженными глазками. Как потом выяснилось, почти сутки за нами наблюдал, прислушиваясь, боясь приблизиться, пока не убедился, что мы не опасны. Вот от него-то и услышал эту, не поддающуюся осмыслению историю.

...Баржа была крепко пришвартована к дебаркадеру пристани «Осетровая» на Лене, между поселками Усть-Кут и Якурим. Сухогрузная, метров за пятьдесят длиной, без всяких кают наверху. Руль весельный. К корме, как обычно, была привязана лодка. На пристани и на берегу скучала усиленная охрана с собаками.

Было зябкое, туманное утро, когда Николай Кохов прыгнул на палубу, за ним загрохотал подкованными сапогами его напарник.

Люки были плотно задраены, только на носу и корме чернели две квадратные дыры. Коля заглянул в одну из них, ничего в темноте не увидел. Оттуда доносился говор на непонятном языке, плач, причитания. Он знал, что там, внутри, прибалты — то ли латыши, то ли литовцы, а может быть, эстонцы.

Появился незнакомый капитан, Николай удивился, что баржей капитан командует, обычно такие дела доверяли сержантам.

Офицер, сперва подергав руль, приказал конвойным спускаться в трюм. Когда товарищ Коли скрылся в кормовом люке, капитан задраил крышку, да еще пнул задвижку

сапогом. Задвижка на крышке носового люка оказалась сломанной, люк не задраивался.

Буксирный катер натянул трос, баржа дернулась. Капитан выматерился, приказал Николаю спуститься вниз и категорически не высовываться даже по нужде. «А как же?» — пытался прояснить тот ситуацию. — «А вот так!» — обрезал капитан, захлопнул крышку люка и для убедительности пристукнул ногой.

Коля тоже выматерился, но шепотом. Потом уселся на верхнюю ступеньку трапа, упираясь головой в крышку люка, раскатал шинель, накинул на плечи, положил на колени автомат, для острастки передернув затвор, на ощупь скрутил цигарку, закурил.

Сколько он отконвоировал народу по трактам пешком и на грузовиках, на пароходах по Оби, Енисею, Лене, а вот внутри баржи сидел впервые. На весь трюм мерцали керосиновые лампы «летучая мышь», высвечивая несколько голов, — такая баржа могла вместить человек пятьсот.

Кто были эти люди и почему они оказались в трюме баржи, солдат Николай Кохов, рязанский крестьянин, окончивший всего четыре класса сельской школы и призванный в армию уже после войны, не задумывался, привык не задумываться, думало начальство и слушаться его, выполнять его приказы он давал присягу. За послушание ему деньги платили такие, что у себя в колхозе, где работал за палочки, и не снились.

Было душно и зловонно. Даже есть не хотелось, а у него с утра во рту ни крошки не было. Приподнял головой крышку люка, дыхнуло свежестью, в щель видна была река, бакены и буксир, тянувший трос. Вскоре шея заболела от тяжести крышки люка, Николай подпер ее автоматом.

На свет и свежий воздух снизу по трапу приполз мальчуган лет пяти-семи, спросил, можно ли посидеть рядом. Коля разрешил. Парнишка сел на ступеньку промеж ног охранника, положив головку ему на колено.

Коля решил все-таки поесть, стал развязывать вещмешок. Вдруг капитан (а больше некому было) сапогом

топнул по люку, тот захлопнулся. Однако, Коля успел надышаться. Есть опять расхотелось. Не заметил, как уснул. Сколько времени прошло, не знал, только проснулся от духоты.

Кто-то внизу стонал, высокий женский голос тихо причитал, вроде как молился. «Так мы живыми никого не довезем, — подумал Николай, — а вместе с ними и сам задохнусь». Он опять осторожно головой подпер крышку люка. Она поддалась, снова запахло рекой и лесом. Свет не проникал, значит, снаружи ночь. И охранник, осмелев, просунул в щель приклад автомата. Впереди виднелись габаритные огни буксира. Теперь можно было дышать. Капитан, видно, не заметил, что люк приоткрылся. Мальчик продолжал спать. Коля развязал вещмешок, разбудил «литовчика» — так он назвал мальчишку — сунул ему ломоть хлеба, поделился колбасой, дал хлебнуть из фляжки, сам попил, выкурил цигарку и опять уснул.

Проснулся то ли от взрыва, от ли от удара, подумал вначале, что баржа на подводный камень напоролась. Посмотрел в щель. Впереди удалялись габаритные огни катера, и вроде баржа стояла на месте.

Коля еще не успел сообразить, что происходит, как услышал снизу истошный крик: «Вода. Тонем!»

Охранник окинул крышку люка, выпрыгнул на палубу, за ним и мальчишка.

При лунном свете увидели, что баржа кренится на левый борт. Габаритных огней катера уже не было. Коля вспомнил про лодку, кинулся на корму. Ни лодки, ни капитана. Ничего не увидел, только контуры леса на берегу и блики воды под луной. Они приближались, левый борт был уже вровень с водой. Крики снизу превратились в сплошной вопль. Рядом кричал мальчик. Коля от отчаяния выпустил в воздух автоматную очередь. И вдруг справа услышал отдаленный треск, и сразу в баржу будто гвозди стали заколачивать. По нему стреляли с правого берега. «Что у них пулеметы, что ли? Автоматом сюда не достать», — подумал Николай, и в злости разрядил автомат в сторону стрелявших.

Огонь с берега усилился. И охранник понял: он неже-

ланный свидетель. Схватил мальчишку за ногу, тот кричал: «Мама!», А что творилось во чреве баржи передать, вообще, было невозможно. Он прижал мальчишку к себе, крикнул ему: «Держись за меня крепче!» — скатился с ним по палубе в воду. Управляясь одной рукой, другой держа ребенка, изо всех сил рванул к левому берегу. Выросший на Оке, Коля с детства хорошо плавал, даже спасал людей, но с автоматом на шее, в «кирзухе», с пареньком, которого едва держал над водой, еле плыл, думал, вот-вот пойдет ко дну. «Литовчика» было жалко, он-то в чем виноват? Коля пристроил мальчишку на спину, приказав крепко вцепиться в гимнастерку, сбросил с шеи автомат, хотел было скинуть сапоги, но сразу подумал: «А как босым по тайге? Нет уж, доберусь».

Река в том месте широченная. Коля боялся, что уткнется в высокий, «обрывистый» берег, не выберется. Но больше всего страшила погоня, поймают и — под трибунал за дезертирство. А какой он дезертир, бежал из-под огня своих же? Шел всю ночь, ориентируясь по луне, весь день, всю следующую ночь. Утром вышел на какую-то речку, пошел вниз, надеясь набрести на зимовье или выйти к какой-нибудь деревне.

Под вечер, и правда, набрел на деревню. Пустили переночевать, накормили, а утром проводили в зимовье. Поговаривали, по окрестным деревням, что его искали, расспрашивали о нем, да тут закон — тайга. И беглых, особенно политических, всегда прятали.

«Литовчика» деревенские оставили у себя. Он и сейчас там живет. А Николай Кохов вот уже двенадцать лет в этом зимовье берложит, изредка выходя в деревню подзаработать, продуктами запастись. В основном же лес кормит. Привык. Возвращаться на Рязанщину боялся. Считал, что нарушил присягу, дезертировал, и его отдадут под трибунал.

Мы пытались его разубедить, говорили, что настали другие времена, рассказали про реабилитацию, — не помогало. Он задавал только один вопрос: «А власть переменилась?» Подтвердить ему это мы не могли, сказали только, что порядки другие.

— Не-е-ет, — мотал головой Коля, — у такой власти других порядков не бывает.

Так вот, Леша Купрешкин, когда я обратился к нему с вопросом, почему машины и люди идут в поселок не по дороге, а через лес, немало меня заинтриговал:

— Проехать и пройти по просеке можно запросто, — сказал Леша. — Дорога твердая, разве что подзаросла. Только мы там не ходим и не ездим.

— Почему?

— Да как-то не положено, вроде уговора какого, — мялся он. И сам себе возразил: — Да нет, езжай, если не из пугливых. Ниче те не сделают. Закона-то нет, чтоб там не ездить. Просто суеверие, вроде, такое.

И вот как-то, прихватив на всякий случай ружье, я не дал «Милиционеру» привычно повернуть в лес, направил прямо по просеке.

Дорога оказалась крепкой, хотя и опушилась таежной молодью, доходившей местами лошади до брюха. Но конь даже не спотыкался. Тропа же, проторенная некогда вдоль дороги, заросла совсем. Был теплый солнечный полдень, ветерок разогнал мошку и комаров. А вот на лесной дороге было бы сейчас мрачно, душно. Докучали бы мошка да комары, пришлось бы наглухо застегнуть брезентовую робу, хорошо заправить под нее плотную черную сетку накомарника, руки непременно смазать демитилом. Чувствуешь себя засунутым в мешок. И все равно мошка как-то проползает, и во рту постоянный сладковатый привкус собственной крови. На просеке же благодать: солнышко, душистый ветерок. Поднял накомарник, снял робу, распахнул рубашку, подставил лицо и грудь солнцу. И еще птицы поют! На лесной дороге птицы, наверное, тоже поют, но там их заглушают матерные крики шоферов и рев моторов. А здесь блаженство. Но о чем все-таки предупреждал Купрешкин? Что имел в виду, когда говорил: «Езжай, если не из пугливых?» Вроде бы ничего пугающего, сколько я ни всматривался, не замечал.

Вдруг лошадь остановилась, поведя ушами, шумно вдохнула воздух.

— Ты чего, Мильтоша? Пошли, — ткнул я его пятками в бока. — Давай вперед, вперед...

Он нехотя тронулся, пошел, беспокойно двигая ушами, высоко подняв голову, будто высматривал что-то. Мне показалось, что по его телу пробежала судорога. Я снял с плеча ружье и, загнав в стволы патроны — один с жоканом, другой с картечью — положил его поперек седла. Конь шел, упираясь, слегка приседая на задние ноги, готовый в любой миг встать на дыбы. И уже не показалось, а отчетливо ощутил я, что лошадь дрожит. Сняв предохранитель, положил палец на курок.

Так, настороженно, прошли мы с «Мильтошей» еще метров двести, и с каждым шагом беспокойство коня все сильнее передавалось мне. Что его пугало? Не медведь же? Вряд ли тот появится в разгар сытного лета, вблизи шумного леспромхозовского поселка, где чуть ли не круглые сутки гудит динамик на крыше клуба, визжат циркулярки, лают собаки. Прислушиваясь к звукам, я уже не слышал птичьих голосов, может быть, птиц вообще не было. Возникла жутковатая тишина. Позже понял, что мою подсознательную тревогу, невольный страх лошадь уловила и поддержала меня.

Внезапно, за поворотом, слева, в низинке, открылась огромная вырубка — очищенное некогда от тайги четкое прямоугольное пространство, на котором успели подняться молодые деревца. Посредине стояло несколько серых деревянных строений. Понукая лошадь, держа палец на курке, я подъехал ближе, остановился напротив. Мгновенно заметил два длинных бревенчатых барака с зарешетчатыми окнами; между ними, ближе к дороге — серая бревенчатая изба с печной трубой, приоткрытой дверью и решетками на окнах; справа — плотно затворенные тесовые ворота, над ними транспарант, написанный на двух параллельных длинных досках. Облупившиеся белые буквы на некогда красном, а ныне уже сером фоне гласили: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства. И. Сталин».

Влево от избы и вправо от ворот по всему периметру — живая изгородь таежного молодняка, над ним — сторожевые вышки; внутри какие-то серые сараи. Все в лоб освещало пронзительно яркое солнце, и оттого казалось искусной театральной декорацией на фоне живой зелени, отреставрированным экспонатом музея деревянного зодчества под открытым небом. Такое впечатление усиливало отсутствие полутеней на строениях. Вот такой резкий контраст: светло-серая краска и совсем черная. Черные тени под козырьком крыши, между бревнами, под вышками. А вокруг — сплошь полутона и полутени. И чем дольше смотрел, тем больше казалось, что передо мной театральная сцена.

А птиц-то, правда, не было. И на огромной поляне не заметил ни одного цветка. В тайге, на любой лужайке, сейчас цветной ковер огненного колера: полыхают сибирские жарки. А здесь только две краски — зеленая и серая с черной тенью. Цвет жизни и цвет смерти. Словно соревнуются — кто кого одолеет.

Молодая зелень почти накрыла многорядную ограду из колючей проволоки. Некоторые столбы покосились, иные и не упали только потому, что их держит натянутая проволока. Подбирается поросль и к сторожевым вышкам.

Долго не решался я тронуться с места. Казалось, там за колючей проволокой, между бараками, бродят люди, а у ворот и на вахте (ею и оказалась бревенчатая изба), дежурят охранники, на вышках стрелки с автоматами, за решетками мелькают тени. Только подойди к воротам, к вахте, тебя тотчас втянут внутрь, и станешь ты серой массой или черной тенью.

Однако, любопытство взяло верх. На всякий случай я выстрелил в воздух и тут же загнал в ствол новый патрон. Никто, конечно, не отозвался.

— Пошли, Мильтоша, посмотрим, — похлопал я конягу по шее и дернул поводья. — Да не бойся, никого там нет, — подбадривал я, скорее, самого себя.

Площадка перед лагерем давно покрылась зеленью и ничем не напоминала, что не в столь уж далеком прошлом ее топтали ноги жертв и палачей. Возле вахты было вкопано что-то вроде гимнастического бревна, вероятно, коновязь. Я спешился, привязал лошадь, осторожно при-

близился к крыльцу вахты. Три замшелые сплошь ступеньки свидетельствовали, что по ним давно не ступала нога человека. Чуть приоткрытая дверь с закрытым глазком приглашала войти, но какая-то сила удерживала. Хотел обогнуть вахту, но слева оказался прикрытый кустарником, плотный частокол, опутанный колючей проволокой, который издали я принял за живую изгородь. Справа, вплотную к вахте, примыкали крепкие тесовые ворота с открытым глазком, а дальше тянулся тот же частокол, за которым и была многорядная ограда из колючей проволоки, хорошо видная с дороги.

С опаской, будто в замочную скважину, глянул в глазок. Увидел опять колючую проволоку, кустарник, торцы двух бревенчатых бараков, которые опять же заметил еще с дороги. В окна вахты заглянуть не удалось. Небольшие с решетками из толстых прутьев, они оказались значительно выше моего роста. В дверную щель рассмотрел глухую стену с запертой дверью, а что напротив, предположить не мог. Держа ружье все-таки наготове, преодолел мягкие ступеньки, попробовал стволом ружья раскрыть дверь — не тут-то было. Дернул за кованную ручку, дверь чуть поддалась, и не без труда я протиснулся в щель.

Оказался в залитой солнцем бревенчатой избе. Деревянный барьер отгораживал большую ее часть с дощатым столом, печкой в одном углу и баком для питьевой воды с алюминиевой кружкой на цепи — в другом.

Слева избу перегораживала глухая стена с дверью, запертой на висячий замок и опечатанной. Между стеной и барьером мог пройти только один человек, двоим не разминуться. Впереди я увидел настежь распахнутую вторую дверь.

Освоившись, пересек вахту, пригнувшись, перешагнул порог, вышел на крыльцо, похожее на праздничную трибуну перед каким-нибудь обкомом, и... глаза уткнулись в огромный серый деревянный щит. На щите — черные буквы, похоже, выжженные паяльной лампой — «ПОМНИ! ТРЕТИЙ — ЛИШНИЙ!» Оглянулся на вышки, стрелять вроде было некому, да и составить компанию в качестве третьего — тоже некому.

Рядом со щитом — еще ворота и калитка, но не тесовые — деревянные рамы с набитой на них колючей проволокой. На воротах засов с амбарным замком. Влево и вправо от ворот — короткая двухрядная ограда из колючей проволоки упиралась в торцы длинных бревенчатых бараков. На дверях висели тоже амбарные замки и сургучные печати. И на тесовых воротах, которые теперь оказались позади меня, не один, а даже два амбарных замка. Обилие замков и сургучных печатей почему-то успокаивало.

Закинув ружье за плечо, спустился с крыльца, подошел к окнам левого барака. Они были довольно большими, а ячейки решеток крупными.

Солнце било прямо в стекла. Прикрыв ладонями глаза, в первом же окне разглядел железные солдатские кровати и еще в трех окнах то же самое. За последним, видимо, были то ли столовая, то ли красный уголок: длинный дощатый стол, табуретки, лавки, выцветшие портреты Ленина и Сталина на стенах, в углу — золоченый бюст Ленина на бледно-розовой тумбе.

За окнами второго барака разглядел коридор, запертые двери с сургучными печатями. На одной из дверей прочел: «Начальник режима». Контора. Любопытства ради подергал дверь: вдруг сгнила, отвалится. Куда там! Обита железом, замок обмазан толстым слоем тавота и прикрыт рубероидом, даже не заржавел.

Если в первом бараке казарма, во втором контора, то где же держали заключенных?

Хотел обогнуть бараки — наткнулся на колючую проволоку. Вернулся к калитке. Обнаружил на ней лишь гнилую деревянную задвижку. Ткнул посильнее сапогом, калитка со скрипом отворилась. Еще шаг, и я оказался в зоне...

До задних сторожевых вышек играла ветерком молодая поросль подступающей тайги. Под нею угадывались какие-то неровности, бугры.

Сараев, которые разглядел с дороги, отсюда не было видно. Все пространство напоминало скорее пустырь на месте дотла разрушенного села. Такие пустыри встречались мне на верхней Волге, в районе Ржева, на месте уничтоженных войной деревень.

От проволочных ворот с калиткой уходил вглубь лагеря заросший травой широкий проход: зеленый коридор промеж густого березняка, по которому я и пошел. Уперся еще в одну проволочную калитку со сторожевой будкой рядом.

Дальше за оградой, до самого леса поляна была покрыта зелеными кочками с пробивающимися между ними кустарником и молодыми березками. Эту поляну можно было принять за высохшее болото, если бы ни торчащие, затесанные с четырех сторон серые от времени столбики. В бинокль я разглядел на них черные номера, до десятка на некоторых. Кладбище. Одно такое я уже видел в тайге, около станции Вихоревка, когда долго ждали встречного поезда. Вспомнились почему-то слова Ахматовой: «Но отняли список и негде узнать...» Калитка оказалась крепко заколоченной, ни прикладу, ни сапогу не поддалась. А под тремя рядами проволоки, как ни пытался, проползти, не зацепив куртку, не удавалось.

Вдруг спиной ощутил какую-то тревогу, будто требование оглянуться. Словно смотрел на меня сзади кто-то пристально. Ноги приросли к земле. Спина от напряжения взмокла. Показалось, что стоял так очень долго. Но надо же было оглянуться! Сорвав сплеча ружье, резко обернулся. Никого. С перепугу крикнул: «Кто здесь? Буду стрелять!» Никто не отозвался. И тут, увидел по обе стороны коридора, по которому недавно прошел, прикрытые кустами две зияющие черноты, две черные дыры, как вход в преисподнюю.

Солнце слепило, кроме чего-то черного, непонятного, ничего не видел. И я пальнул картечью по этим черным дырам. Сперва по левой, потом по правой. Увидел третью, поменьше. Не сводя с нее глаз, перезарядил ружье. Стрелять больше не стал, разглядел решетку. Выход из этой преисподни закрыт. И тут услышал я заливистое ржание моего «Мильтоши». Конь словно подбадривал меня.

Сжимая ружье, не снимая пальца с курка, подошел к решетке. Она прикрывала вход в погреб. Так я поначалу воспринял то, что увидел.

В русских деревнях такие погреба называют омшанниками, в них зимою хранят овощи, ульи. На поверхности — покрытая дерном, низкая двускатная крыша, гребень которой одним концом уходит в землю, с другой стороны под ним толстая, иногда обитая войлоком дверь, в которую можно войти, только пригнувшись.

Здесь дверь оказалась распахнутой, словно погреб решили проветрить, как это обычно делается перед закладкой нового урожая. Над решеткой, под гребнем крыши, чернела величиной с блюдце дырка, служившая, видно, форточкой при закрытой двери.

Нагнувшись, я прильнул к решетке. Пахнуло гнилью. Когда глаза привыкли к темноте, разглядел — слов не подберу точно назвать — то ли берлога, то ли нора, то ли склеп, то ли просто яма, в ширину и длину не более двух шагов; мокрые, покрытые слизью и плесенью черные бревенчатые стены; в вершке от земляного пола нары, точнее, лежак. Позднее мне рассказали, что эти «омшанники» — карцеры. В такой норе даже маленького роста человек мог стоять только на коленях или согнувшись в три погибели. А замок на решетке не заржавел, был густо смазан тавотом и прикрыт рубероидом, хоть сейчас отпирай, Видно, кто-то кому-то сдал ключ на хранение.

Две другие черные дыры вели в земляные бараки. На поверхности, приблизительно в метре от земли, лежали длинные двускатные крыши, тоже заросшие травой, кустарником и березняком.

Между землей и крышей устроены были оконца величиной с форточку. Снаружи, если убрать кустарник с крыши, бараки напоминали бы старые колхозные коровники с соломенными крышами, под самые окна заваленные навозом, только немного пониже и не такие длинные. Да и внутри все напоминало хлев. Лишь вдоль стен, по обе стороны, вместо стойла были двухэтажные нары. На них, поставленные на ребро, на таком расстоянии, чтоб уместился один человек, — почти черные доски-перегородки. Таких «спальных» мест насчитал более двухсот. Посреди барака, между нарами, стояла единственная кирпичная печка, узкая и длинная, как допотопный паровозик, с

высокой трубой. Над верхними нарами, под самым потолком, тускло светился пунктир форточек, высвечивая пробивавшиеся сквозь крышу причудливо переплетенные корни.

Искал хоть какие-то следы, какую-то память о тех, кто жил тут, страдал и погибал, но то ли перед закрытием барак тщательно убрали и подмели, то ли все уже давно сгнило, превратилось в прах.

Меня не покидало желание что-то сделать, как-то выразить душевную сопричастность, что ли, с узниками, разделить с ними хоть крупицу боли. Вот тогда, в земляном бараке, родился, а с годами окреп во мне комплекс вины перед жертвами Сталина. Хотя в чем я виноват? И почему виноват? Что мог я сделать? Да, виноват уже тем, что выжил в этом диком режиме, терпел его, служил ему, нарушил заповедь Торы: «Не следуй за большинством на зло...»

Я попытался взобраться на верхние нары, но руки, не находя упора, скользили по склизким доскам, а приступки, набитые когда-то на стойки, отваливались, едва касался их сапогом. Нижние нары, насколько можно было их рассмотреть при свете спички, покрывали черный мох и слизь совершенно непонятного цвета, с белыми разводами. Казалось, ляжешь на них, сразу провалишься, как в трясину. У входа нары, возможно, посуше, но хотелось лечь именно здесь, в середине барака.

Наконец, высветил: как показалось, не такие уж страшные были эти нары. Наглухо застегнув брезентовку, натянув капюшон и предварительно пошуровав по настилу прикладом ружья, вполз на нижние нары. Верхние нары совсем заслонили оконца. Локти упирались в боковые борта, и руки пришлось скрестить на груди. Так, наверное, лежат в гробу...

Достал из брюк коробок оставшихся спичек, осветил серые волглые доски верхнего яруса. На стыках — белые, с черной каймой, разводы плесени. И вдруг увидел: что-то написано. Вот они, следы! Вот список! Это же фамилии тех, кто, сменяя друг друга, лежали в этом гробу. Некоторые фамилии нацарапаны, иные выведены чернильным карандашом. Буквы, хоть и расплылись от сырости, но прочесть можно было. Посветил под нарами справа — сплошь фамилии, под нарами слева — то же самое.

Спичка обожгла пальцы. Зажег новую. Приказав себе — «запоминай» — стал читать: «Н.С. Коржев; инженер Матвей Бравин; протоиерей Савватий (С.И. Михайлов); муромский крестьянин Егор Незлобин; профессор педиатрии Соломон Гольдберг; Комкор Иван...» Опять обжег пальцы. И несколько раз обжигал.

Фамилии Комкора не разобрал, не разобрал еще несколько фамилий. Но прочел потрясшую меня переписку двух фанатиков, а может быть, сумасшедших: «Братья по партии! Сталин — предатель нашего дела. Судите его. Да здравствует дело Ленина! Член ВКП(б) с 1898 года Палин». «Да здравствует Сталин! Да здравствует Коминтерн! Смерть предателям — троцкистам и бухаринцам! Эрих Краузе»...

Последняя спичка погасла. Жаль, не было с собой фонаря: можно было бы вычислить, сколько их, бывших комкоров, крестьян, священников, детских врачей прошли через эти гробы в те безымянные могилы с черными номерами на столбиках.

Долго лежал с закрытыми глазами, пока не почувствовал, что задыхаюсь, а брезентовая куртка на спине намокла.

Во втором бараке все было так же. Уезжала в темноту печка-паровоз, мерцал пунктир тусклых окошечек, уходили во мрак двухэтажные нары, только выстланные не досками, а толстыми жердинами и без перегородок. Видно, тут лежали вповалку.

Вернулся к калитке, за которой виднелось кладбище со столбиками, похожими на те, что ставят лесники, помечая квадраты, или на геодезические репера. До сих пор не могу понять, зачем сохраняли эти кладбища? Для отчетности что ли? Для устрашения? И опять возникло ощущение, что смотрю спектакль театра абсурда. Только никак не мог понять логическую линию, основную мысль постановки. Зачем? Для чего?

Снова попытался открыть калитку: не поддалась, ни

сапогу, ни прикладу, только зря поцарапал его. Еще раз оглянулся на черные дыры. Они уже не казались такими страшными. Это же и мои черные дыры, черные дыры моей биографии, черные дыры нашей жизни. Здесь убивали веру в справедливость. Еще в Библии сказано было: «Нет будущности злому — светильник нечестивых угаснет». Если у предков убита вера — задута свеча, что же станет светить идущим следом? Черные дыры? В темноте только зло видится, только злосчастие гнездится. Дай Бог потомкам терпения и сил зажечь свечу, сберечь огонь, обрести веру.

...Пора было уходить. Часов с собой не имел, сколько пробыл в лагере, не знал, похоже, долго, потому что солнце ушло далеко вправо.

Побрел к выходу. Но не по дороге, по которой уже прошел, а вдоль ограды. Арестантских бараков больше не видел, наткнулся еще на четыре «омшанника», на какие-то сараи, землянки, будки, на огромный лагерный нужник, рядом с ним был длинный пустой сарай с сорванными с петель дверьми. Внутри — врытые в землю два параллельно стоящих стола с лавками, каждый был рассчитан человек на сто, а то и больше. Столовая. На двери в кухню и на раздаточном окне тоже висели смазанные тавотом замки. Замки были на дверях почти всех построек. На иных, как бурые пятна засохшей крови, пугали сургучные печати. Похоже, данный «объект» не бросали на произвол времени и природы, не оставляли гнить и разрушаться, а до времени законсервировали. До какого времени?

Поднявшись на крыльцо вахты, оглянулся. Опять увидел серый щит с черными буквами: «ПОМНИ! ТРЕТИЙ — ЛИШНИЙ.» А ведь это же было основное правило внутреннего распорядка в нашем государстве. Принцип власти наших диктаторов, по которому имеют право на человеческую жизнь только они, временщики, и послушное им окружение, а каждый непослушный, инакомыслящий — ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ. Ему — пулю наемного убийцы, его — в тюрьму, в психушку или на чужбину. Сорвав с плеча двустволку, пальнул дуплетом в зловещий щит. Даже не колыхнулся. На века поставлен.

Закинув ружье за спину, прошел, не оглядываясь, через вахту, изо всех сил двинул сапогом по входной двери, думал, слетит с петель (она только раскрылась пошире), вышел на волю. Так же слепило солнце и пахло тайгой. Лошадь пощипывала травку под ногами.

Когда подошел к ней, она подняла голову и, шевеля бархатистыми губами, покосила на меня глазом, будто спрашивала: «Ну как, страшно?» Взял ее под уздцы, и побрели мы в поселок по лежневке, продираясь сквозь молодые, некрепкие заросли. Метров через триста из лесу вылезли разбитая автомобильная колея и пешая тропа.

Люди обходят стороной проклятое место, будто нет его. Но ведь оно есть. Оно сохраняется для них же, и получается, они сами сохраняют его для себя. Странные люди, предпочитают идти не по ровной, удобной дороге, а в обход, по пояс в грязи, теряют время, расходуют впустую силы, нервы, вместо того, чтобы всем миром навалиться на эту тюрьму и уничтожить. Так нет же: привыкли, притерпелись, принюхались, ждут, чтобы кто-то сделал за них или приказал бы взять ответственность на себя. А иные вообще не знают, почему терпят все это, вроде бы так заведено, так надо.

Когда я вернулся на базу, Леша Купрешкин, отведя меня в сторону, спросил:

— Значит, побывал там нынче?

— Откуда ты знаешь?

— Ты же стрелял в той стороне. Со страху или по злобе?

— И так, и так. И со страху и от злости, а больше всего, наверное, от отчаяния, что ничего уже не изменить, не выправить, никого не вернуть. А чего, кстати, не спалят этот «два нуля»? Разве легче обходить за версту, на лесовозах по тайге корячиться?

— Взял бы и спалил.

— А почему именно я?

— Вот так каждый и говорит.

— Так там был я один, — почему-то стал я оправдываться, — и что сделал бы, если б огонь на тайгу перекинулся? А рядом леспромхоз, люди.

— Вот и я говорю: жалко тайги-то, заняться может. А люди этого не понимают. Ничего, — угрожающе протянул он басом, — дай срок, тайга сама его сничтожит, поглотит.

— По-моему, лагерь законсервирован, постояльцев ждет, в любой день можно снова открыть. Свято место не пустует.

— Это проклятое место, а не святое, — зло пробурчал Леша.

— Появится какой-нибудь новый Сталин и прикажет заселить.

— Даст Бог, не доживем, — вздохнул и быстро по-православному, тремя перстами, перекрестился Купрешкин — бывший католик, бывший литовец Альгимантас Купревичус.

Москва -Хребтовая

Алекс БОРИСОВ

В МОСКВУ! В МОСКВУ! НА САМУЮ СЕРЕДИНУ!

Из воспоминаний околотеатрального одессита

Прелюдия в ля мажоре

В 60-х годах, когда многие мои товарищи уже успели развестись и даже жениться по второму разу, я все еще был холост, жил несколько богемно в Риге и каждое лето на месяц проезжал в Одессу, где обитала вся моя многочисленная родня и где у меня была дача на 13-й станции Большого Фонтана.

Но в 1967 году все резко изменилось. К этому времени у меня уже появилась в Москве невеста, с которой я за два года до этого познакомился летом на Рижском взморье. Принадлежала она к весьма респектабельной кинематографической фамилии и училась на киноведческом факультете ВГИКа, как сокращенно назывался Всесоюзный Государственный Институт Кинематографии.

Надо сказать, что в те годы многие почтенные семьи московской творческой интеллигенции, которым было противопоказано жаркое южное солнце, предпочитали проводить лето на курортах Рижского взморья. Пока главы этих семейств, уединившись в уютных дачах Домов творчества, занимались сочинением киносценариев, романов и симфоний, их жены, расположившись на пляже в шезлонгах и прикрываясь от солнца яркими зонтиками, обсуждали последние светские сплетни. Дочки же их, предоставленные самим себе, становились добычей веселой богемы, которая летом тоже слеталась на Рижское взморье.

Вообще-то, познакомился я сначала с ее отцом, довольно известным киносценаристом, оказавшимся человеком очень симпатичным и остроумным. Между нами возникло чувство взаимной симпатии и он представил меня дочери. Сабина, как красиво и необычно ее звали, была, как и ее отец, очень милой девушкой, обладала прекрасными манерами, была хорошо образованна и, несмотря на молодость, не глупа.

В то лето она окончила институт, и я привез ее и свою будущую тещу в Одессу, чтобы познакомить их со своей родней, сняв им предварительно отдельную дачу по соседству со своей. И так как это требовало дополнительных расходов, то я, по просьбе моего приятеля, режиссера Одесского русского драмтеатра Виктора Белецкого, подрядился написать к началу театрального сезона детский мюзикл в стихах при условии немедленной выплаты аванса. Отпущенные для этого сроки были довольно сжатые, и это вызвало некоторую напряженность в моих отношениях с будущей тещей, высокой, необъятных размеров чуть рыжеватой женщиной, по имени Фредерика, бывшей когда-то в молодости актрисой еврейского театра Михоэлса. (Вообще-то ее звали Фрида, но муж, возможно, из уважения к ее царственному облику, Называл ее Фредерикой.)

Творческий процесс требовал времени, и она начала жаловаться на отсутствие с моей стороны внимания, намекая, что о материальном благосостоянии следовало думать раньше, а не в последнюю минуту. Кроме того ее

несколько шокировала моя шумная, веселая одесская родня, которая в ее воображении никак не вписывалась в тот узкий круг московского общества, среди которого она привыкла вращаться в Доме кино или в домах творчества. И потому через две недели, сославшись на то, что южное солнце ей противопоказано, она, попрощавшись, отбыла с дочерью в Москву. Так драматически, но к большой радости моей родни, окончилась моя попытка остепениться и завести семью.

Много лет спустя, ожидая в Риме американской визы, я в один из воскресных дней отправился на рынок «Американо», где русские иммигранты продавали вывезенное ими с этой целью добро: палехские шкатулки, изделия из хохломы, карманные часы, расписные платки, балетные тапочки, кораллы, янтарь, и прочую бижутерию.

Я разгуливал по рынку, похожий не то на фотокорреспондента, не то на капитана дальнего плавания. На груди у меня болталось два фотоаппарата «Зенит», большой морской бинокль и подзорная труба. И вдруг я столкнулся лицом клицу со своей несостоявшейся тещей. Она держала в руках какой-то ширпотреб из иммигрантского набора. Мы вежливо раскланялись. «Вы куда?» — спросила она меня. «В Лос-Анджелес, — ответил я. — А вы, куда?» «Как это, куда? — удивилась она моему вопросу. — Мы в Вашингтон! Куда же нам еще!» И, пожелав друг другу удачи, мы вежливо распрощались.

Интродукция и рондо-каприччиозо

Честно признаться, человеком искусства я никогда себя не считал, так как был по образованию инженером-механиком и сочинительство рассматривал как хобби. В молодости я жил с родителями в Норильске, где мой отец, честно отсидев выданный ему в 1937 году срок, остался в ссылке.

Половина ссыльного населения Норильска состояла из той незначительной части старой русской интеллигенции, которая сумела каким-то образом уцелеть, пройдя сквозь тюрьмы, этапы и лагеря. Наши школьные учителя

были, как правило, бывшими доцентами и профессорами. Например, литературу нам преподавал бывший профессор Санкт-Петербургского университета, который, по слухам, знал наизусть всю русскую поэзию от Пушкина до Блока. «На Блоке, говорил он, эпоха русской поэзии завершилась. Дальше началась эпоха демьянов бедных».

Я с ним был не согласен и однажды сочинил на него эпиграмму. Возможно, она ему настолько понравилась, что он настоял, чтобы меня назначили редактором школьной стенной газеты. «Раз ты такой Пушкин, сказал мне директор школы, вот сиди теперь после уроков и пиши».

В мои обязанности входила правка заметок наших классных корреспондентов, сочинение праздничных и юбилейных стихов, бичевание двоечников, и, конечно же, сочинение репортажей о первомайских демонстрациях. Я неплохо набил себе на этом руку и, памятуя заявление товарища Сталина, что дети за грехи отцов не отвечают, намеревался после школы поступить в Московский Литературный институт, или в, крайнем случае, на факультет журналистики в МГУ. Но как выяснилось, в Москве никто об этом заявлении вождя не слыхал, и потому я поступил в Одесский институт пищевой и холодильной промышленности, и то, благодаря тому, что мой дядя играл по вечерам в преферанс с директором этого института профессором Мартыновским.

До этого Мартыновский возглавлял в ЮНЕСКО Комиссию по делам образования в слаборазвитых странах, или как он шутил в узком кругу, «в недоразвитых странах». Отец его был видным большевиком, именем которого назвали знаменитую одесскую Греческую площадь, после того, как в 1948 году Сталин, обидевшись за что-то на Грецию, в одну ночь арестовал всех одесских греков и выслал в Сибирь. Сейчас площади вернули прежнее имя, хотя из нескольких тысяч высланных греков выжило и вернулось обратно в Одессу не более 10%.

В те годы одесские институты соревновались между собой не академическими достижениями, а своей самодеятельностью. В этом отношении наш институт был в

Одессе лидирующим, несмотря на то, что Михаил Жванецкий и Витя Ильченко учились не у нас, а в Институте инженеров морского флота. Объяснялось это тем, что Мартыновский был большим любителем музыкально-эстрадного жанра и всех абитуриентов, обладавших даром в этой области, принимал в институт без конкурса.

В это время в Одессе открылся городской Клуб студентов, где в общении друг с другом мы оттачивали свой юмор и разнообразные таланты, которыми в большей или меньшей степени наделила нас природа. Сообща писали студенческие капустники, эстрадные программы и, объединив усилия, написали текст одесского КВНа, включая все неожиданные экспромты. Поэтому сразу же после того, как я окончил Холодильный институт, меня взяли на работу в Технологический, в качестве научного сотрудника кафедры теплотехники, с тем, чтобы я помог их слабой самодеятельности выйти на передовые рубежи. Иногда мне кажется, что если бы не моя страсть к сочинительству, я бы уже мог сегодня быть доктором технических наук и, может быть, даже профессором.

Но природа меня наделила даром легко и быстро рифмовать — стихи мои представляли типичную для одесского климата смесь лирики с легким юмором.

Вывести институтскую самодеятельность на передовые рубежи мне так и не удалось. Зато во время работы на кафедре теплотехники, я участвовал в создании веселых капустников для одесского Дома актера, сотрудничал с одесской филармонией, сочиняя для местных конферансье куплеты и эстрадные фельетоны. А однажды даже написал программу веселого концерта, с которым эстрадный оркестр Одесской филармонии уехал на гастроли по стране.

Один из участников программы, тогда еще молодой Рома Карцев, по ходу репетиций влюбился и женился на самой молодой из шести участниц нашего танцевального ансамбля по имени Вика. Несмотря на свою неимоверную популярность, он до сих пор живет с этой Викой, ставшей матерью всех его детей. И когда однажды Рома Карцев и покойный Витя Ильченко со своими женами приехали в

Лос-Анджелес, мы встретились и очень весело провели вечер в воспоминаниях.

Сразу же после окончания института я вместе со своим товарищем и сокурсником Миши Жванецкого Борисом Лобковым сочинил эстрадную пьесу «Курс — на весну!», поставленную на сцене Одесского студенческого театра «Парнас». В ней впервые выступил на сцене все тот же Рома Карцев, а главную роль сыграл будущий Министр культуры перестроечной России Коля Губенко. Коля тогда жил в детском доме, заканчивал десятый класс и мечтал уехать в Москву, чтобы поступить во ВГИК на актерский факультет. Так как мы с Борей были единственными, кто получил за этот спектакль небольшой гонорар, то, скинувшись, мы купили для Губенко железнодорожный билет до Москвы. Последнее дает мне право утверждать, что и я внес существенный вклад в демократизацию моей бывший Родины.

Однажды Аркадий Райкин приехал на гастроли в Одессу и забрал Жванецкого, Карцева и Ильченко к себе в театр. А вскоре и мы с Борей Лобковым уехали в Ригу сочинять сценарий комедии для Рижской киностудии, в связи с чем мне пришлось уволиться с работы. Так бесславно, не успев начаться, закончилась моя научная карьера. Боря затем уехал в Москву, поступил на Высшие сценарные курсы при ГОСКИНО, женился на пианистке, окончил курсы, развелся с пианисткой и стал московским киносценаристом.

А мне больше нравились скрипачки. Одна из них так замечательно исполняла пьесу Сен-Санса «Интродукция и рондо-каприччиозо», что я из-за нее в Риге несколько задержался. Мое пребывание там растянулось еще на несколько лет. Работая сначала младшим, а затем и страшим инженером, я проучился год заочно на факультете журналистики, после чего меня приняли в молодежную русскую секцию при местном отделении Союза писателей и выдали по этому поводу какую-то зелененькую книжечку с фотографией. Последняя давала мне право посещения ресторана писательского клуба, где я научился пить водку из граненого стакана залпом.

Позднее, когда я работал в Москве на киностудии им. Горького, мне это пригодилось. Поэт, который научил меня этому искусству, в свободное время обучал нас на семинарах правилам стихосложения и однажды всех нас заставил сочинить венок сонетов, после чего я понял, что Петрарки из меня не получится.

На своей основной работе я был полностью предоставлен самому себе и потому мог себе позволить заниматься различными литературными поделками. Заработки от них, в придачу к моей инженерской зарплате как раз и давали мне возможность вести богемный образ жизни (из-за чего мне редко когда удавалось выспаться). И такая ситуация продолжалась до лета 1967 года, когда я, решив наконец остепениться, привез свою невесту и будущую тещу Фредерику в Одессу.

«Драматург»

Мое сотрудничество с Одесским драмтеатром имело свою предысторию. У меня был приятель, по кличке «драматург», отец которого погиб в первые дни войны, а он с матерью все годы войны прожил в эвакуации, где она работала прислугой в доме у какого-то видного члена Союза писателей. Целый день он ходил голодным, а вечером мать приносила ему объедки с писательского стола, которые казались ему тогда такими райскими яствами, что он решил в будущем обязательно пойти по писательской стезе. Но жизнь, как известно, вносит свои коррективы в наши юношеские мечты. И после школы единственный институт, куда он, будучи евреем, мог поступить без блата, был кредитно-экономический. Окончив его, он получил назначение в отдел труда и зарплаты какого-то завода. Вскоре женился, у него родилось двое детей, но голубая мечта детства не покидала его.

В Кредитно-экономическом институте студентов учили считать, а не писать. И потому при чтении повестей и рассказов, которые он пробовал сочинять, даже у его собственной жены сводило скулы. Тогда он решил попро-

бовать силы в драматургии. Но оказалось, что таких умных, как он, в стране было много, и драматургический рынок уже был перенасыщен. На каждый существующий в стране театр приходилось как минимум десять действующих драматургов.

По-другому обстояло с репертуаром театров для юного зрителя. Во-первых, за детские пьесы платили в несколько раз меньше, чем за взрослые. Во-вторых, детских театров в стране было мало и, значит, на солидные проценты со сборов тоже нечего было рассчитывать. Поэтому маститые драматурги их игнорировали. ТЮЗы, в основном, спасались за счет переводов из итальянского сказочника Джанни Родари и шведской писательницы Астрид Линдгрен (пьесы которой «Пеппи длинный чулок» и «Карлсон, который живет на крыше» годами не сходили со сцен детских театров).

Однако местные Управления Культуры требовали от ТЮЗов постановки советских пьес, воспитывающих юное поколение в духе горячей любви к Родине. И вот «драматург» решил восполнить этот пробел. Он написал детскую пьесу о том, как юный пионер Петя помог школе перевыполнить план по сбору металлолома, за что в финале третьего акта директор школы в торжественной обстановке вручил Петиному классу переходящее Красное знамя. Как говорится, это был удар в яблочко, и местный ТЮЗ тут же принял пьесу к постановке. Первый успех его окрылил и, бросив работу, он приступил к сочинению следующего шедевра.

За последующие несколько лет «драматург» написал что-то около тридцати детских пьес, рассылая каждую из них во все ТЮЗы страны. Но ни одна из них не была нигде принята.

Жена, потеряв всяческую надежду на его писательское будущее и забрав детей, ушла к директору обувного магазина, что обеспечивало ей хоть и не столь престижный, зато стабильный образ жизни. Она подала на алименты, а так как он ничего не зарабатывал, то его вызвали в милицию и предложили в месячный срок устроиться на работу. Положение его было отчаянным — голубая мечта

детства таяла на глазах. Тогда-то мне и пришла в голову спасительная идея.

Мне очень нравились веселые и остроумные пьесы в стихах ленинградских авторов Рацера и Константинова, я искренне завидовал их таланту и мечтал когда-нибудь тоже сочинить нечто подобное. Брат жены «драматурга» был начинающим композитором. Я с ним дружил и мы, сговорившись, предложили «драматургу» переделать одну из его пьес в музыкальный спектакль, разбавив его скучную прозу легкой музыкой и веселыми стихами. Условие было одно: в случае, если наше произведение примут к постановке, то полученный гонорар мы разделим на три части. Положение его было безвыходным и, наступив на горло своему авторскому самолюбию, он согласился, правда, при условии сохранения своего авторства. Результат был для всех нас совершенно неожиданный. Пьесу приняли к постановке сразу три ТЮЗа. Поделив гонорар, мы проделали такой же эксперимент с другой его пьесой. И опять нас постигла удача. К нему вернулась жена, и мечта его детства снова забрезжила на горизонте. Но нас с «композитором» треть мизерного гонорара мало устраивала, и мы нашли себе более хлебное занятие. После чего фортуна, естественно, опять повернулась к нему спиной, ибо вскоре жена его снова вернулась к директору обувного магазина. Последнее дает мне основание утверждать, что материальная стабильность имеет для женщины куда большее значение, чем чистый престиж, этой стабильностью не подкрепленный.

Это сладкое слово «аванс»

Но за время, пока жена «драматурга» путешествовала «туда» и «обратно», я набил себе руку в сочинении детских мюзиклов и тесном сотрудничестве с ее братом композитором. Таким образом, ко времени получения заказа от Одесского драмтеатра у меня уже был в этом деле определенный опыт. Получив аванс, мы с композитором принялись за работу.

В Одессе, как и вообще в провинции, получение аванса

не представляло особых трудностей, при условии, что определенный его процент тут же перекочует в карман директора той творческой организации, которая этот аванс выплачивала.

Некоторые директора, нарвавшись на какого-нибудь склочного автора, изредка на этом попадались, но будучи номенклатурными работниками, как правило, оказывались не в тюрьме, а перебрасывались партийными органами с одного директорского кресла в другое: из театра в филармонию, из филармонии в цирк, из цирка на телестудию и т.д.

Помню, в Одессе в те годы был такой кочующий директор по фамилии Томашевский. В Киеве, в ЦК Партии, у него была сильная «рука», чуть ли не родной брат жены, и когда он, будучи секретарем какого-то львовского райкома, проворовался, его перебросили на культуру. Когда во Львове его уже держать было невозможно, его перевели в Одессу, на очень хлебную должность директора Одесской филармонии. Откуда вскоре пересадили в кресло директора Драматического театра. А когда и в Одессе уже не осталось ни одного номенклатурного кресла, где бы он не проворовался, его тихо перебросили на аналогичную должность в какой-то другой культурный центр. С Томашевским я был знаком еще по филармонии, и когда я пришел заключать договор с театром, он принял меня, как родного и, не моргнув глазом, выписал щедрый аванс.

С одной стороны, я, конечно, понимал, что брать взятки, как и давать их, — некрасиво. Но с другой стороны, с такими, как Томашевский, в условиях Советской власти было легко и удобно жить. У меня, например, приблизительно 20% всех моих гонораров уходило на взятки. Зато на оставшиеся 80% я мог вполне прилично питаться, не будучи членом никаких творческих союзов. Однажды с меня даже удержал двадцатку директор одного цирка, выплачивая мне сотню за какие-то куплеты, которые я сочинил для его клоуна.

Существовали и другие схемы взаимоотношений между автором и заказчиком. Помню, как в определенный период своей жизни я писал сценарии сюжетов для студии

научно-популярных фильмов. Например, постройка моста через какой-нибудь пересохший ручей или ударная работа комбайнера Ивана Сивухина во время уборочной кампании. За каждый такой сюжет, размером в полторы-две странички, авторам платили по 150—200 рублей, но штатным редактором студий самим писать сценарии запрещалось. Поэтому, если я получал заказ от редактора на два сюжета, то за один деньги брал себе, а за второй — отдавал ему. Справедливость торжествовала, и всем было хорошо!

В Москву! В Москву!

В сентябре в театре начались репетиции. И тут оказалось, что назначенная на главную роль актриса, единственная из всей труппы, никак не могла запомнить мои стихи. Несмотря на то, что она была молода, хороша собой и ко всему еще яркая блондинка, я ее за такое отношение к моей поэзии, просто возненавидел, предав забвению широко известную истину, что от любви до ненависти, и наоборот, всего один шаг. А когда разобрался, что к чему, то было уже поздно: я взялся писать для нее следующую роль и остался в Одессе. Там я устроился инженером в какую-то странную научно-производственную организацию, начальником которой был мой близкий приятель по имени Сеня Геллер и, чтобы его не подводить, вынужден был два раза в месяц, в дни выдачи зарплаты, регулярно являться на работу. А в промежутке писал концертные программы для Одесской телестудии.

Нина, как звали эту блондинку, лет за пять до этого окончила тот же ВГИК, но, слава Богу, не киноведческий, а актерский факультет, обучаясь в мастерской крупнейшего советского кинорежиссера Михаила Ильича Ромма.

Еще будучи студенткой, она успела сняться на Мосфильме в трех фильмах, перед ней открывалась хорошая перспектива, и когда она сыграла Аббигэйл в выпускном спектакле, поставленном ее сокурсником Андроном Михалковым-Кончаловским по пьесе Артура Миллера «Салемские колдуньи», то Рубен Симонов, главный режиссер

театра им. Вахтангова, предложил ей у себя работу. Она отказалась по трем причинам. Во-первых, она была молода и легкомысленна. Во-вторых, ее только что утвердили на ведущую женскую роль в фильме Одесской киностудии «Исповедь». А, в-третьих, в Одессе ее ждал красивый, голубоглазый, высокий блондин, который ко всем своим внешним достоинствам являлся еще и капитаном белоснежного пассажирского теплохода «Грузия». Окончив съемки, она вышла за него замуж и по личному приглашению Фиделя Кастро вместе с мужем отправилась в качестве молодой капитанши в кругосветное плавание с заходом на Кубу и в Индонезию.

После возвращения в Одессу, она осела в местном драматическом театре. Капитан же отправился в очередной рейс на Кубу, загрузив в трюм ракеты и разместив в каютах несколько сот переодетых в штатское советских военнослужащих.

Американская разведка работала неплохо и на подходе к Кубе их хоть и вежливо, но настоятельно попросили повернуть обратно. Из Москвы между тем последовал приказ следовать своим курсом, не обращая внимания на провокации американской военщины. Тогда «американская военщина», подняв в воздух свои бомбардировщики, начала сбрасывать на них бомбы то ли, чтобы попугать, то ли чтобы потопить.

По возвращении в Одессу капитан начал испытывать сильные головные боли, и когда он обратился к врачам, те обнаружили у него опухоль мозга. Ему сделали в Москве сложнейшую операцию, но она, к сожалению, не помогла. В память о нем его именем был назван родившийся незадолго до его смерти его сын и только что спущенный на воду танкер. А молодая капитанша превратилась в молодую и красивую вдову. В этом качестве я и встретил ее в одесском театре.

Должен сказать, что она очень скучала по Москве и в чеховской пьесе «Три сестры», произнося со сцены знаменитое: «В Москву! В Москву! В Москву!», однажды настолько вошла в роль, что отошла от текста и со слезами на глазах кричала: «В Москву! В Москву! На самую середину!» Что вызвало гром зрительских аплодисментов и выговор от режиссера.

Одесса в те годы жила шумно и весело, в полном соответствии со своей любимой поговоркой: «Главное — было б здоровье, а все остальное купить можно». Поэтому, когда Бог, решив за это наказать одесситов, наслал на их голову летом 1969 года эпидемию холеры, мы с Ниной*, чтобы не рисковать здоровьем, решили обменять нашу одесскую квартиру на московскую. И в конечном итоге перебрались с Проспекта Шевченко на Ленинградский проспект, рядом со станцией метро «Аэропорт».

В этом месте когда-то действительно располагался один из подмосковных аэродромов, а когда город разросся, то часть этих земель Моссовет отдал во владения кинематографистам и писателям, которые быстро застроили их пяти и девятиэтажными домами, разделив здания плотными кубиками металлических гаражей. На оставшемся свободном пространстве построили магазины по продаже хлебо-булочных, мясо-молочных и вино-водочных изделий, а также плодово-овощную лавку с названием «Магазин фрукты-овощи».

Там, сколько я себя помню, никогда ничего не было, кроме гнилой картошки и ржавого томатного сока в трехлитровых банках. А за малосольными огурчиками все равно приходилось ездить на ближайший ленинградский рынок, где можно было по-настоящему отвести душу.

Когда, казалось, что все уже готово и новые обитатели могут наконец приступать к творческому труду, вдруг выяснилось, что в суматохе совершенно позабыли о «Пункте по приему стеклотары». И так как свободного места не оставалось, то решили разместить этот «Пункт» в подвале одного из старых домов, предварительно переселив живших там, вероятно, еще со времен попа Гапона несколько рабочих семей в Новые Черемушки. Рабочие переезжать в Черемушки категорически отказались и потребовали выделить им квартиры здесь же, во вновь построенных домах. Возник очередной конфликт между рабочим клас-

---

* Читатель, вероятно, уже догадался, что к этому времени она стала моей женой.

сом и интеллигенцией. Но на этот раз партия встала на сторону интеллигенции. И вот в самый разгар конфликта, путем сложного обмена, мы и въехали в одну из тех квартир, на которые рабочие «положили глаз». Причем сумма, которую мне пришлось заплатить одному из милицейских чинов, была по одесским масштабам настолько мизерной, что мне сразу стало ясно: «В Москве жить можно. И даже не плохо».

Вскоре после переезда я зашел за какой-то справкой в домоуправление и домоуправ, узнав, что мы с женой до сих пор не работаем, посоветовал мне поскорей «решать вопрос с трудоустройством», чтобы не попасть под закон о тунеядстве. «У нас же как? — объяснил он мне. — Раз не работаешь, значит ты диссидент. А раз диссидент, то тебя тут же за тунеядство высылают из Москвы. Так что мой вам совет — поспешить с этим вопросом». Я ему пообещал поспешить.

Москва театральная

Сейчас, как всякий серьезный автор, покончив с «завязкой», я перехожу к «развитию сюжета», ради которого, собственно, и взялся за перо.

Я уже много лет сотрудничаю в выпускаемом у нас в Лос-Анджелесе популярном еженедельнике «Панорама», являясь его постоянным фельетонистом. В своих фельетонах я часто, когда с юмором, а когда и с грустью, вспоминаю нашу прошлую московскую жизнь, и друзья уже давно подбивали меня написать воспоминания об этой жизни. Поддавшись на уговоры, я решил начать эти заметки с нашего переезда из Одессы в столицу — рассказать о том, как два сравнительно молодых и не лишенных способностей человека, безо всяких «связей», переехав из провинции в Москву 70-х годов, пытались найти свое место под столичным солнцем. Поскольку наши веселые (а иногда и не очень веселые) приключения в какой-то степени отражают систему (которая, хочется верить, безвозвратно канула в вечность), мне думается, что эти короткие воспоминания могут представить интерес для

читателей. Тем более, что на этом пути нам предстояло встретиться с рядом очень талантливых и известных в России людей, о которых не только вспоминать, но и читать всегда интересно.

Когда все треволнения, связанные с переездом, закончились, я, грешным делом, подумал, что можно, наконец и пожить спокойно. Но Нину все это время настолько волновала перспектива трудоустройства в Москве, что у нее на нервной почве развилась бессонница, и я понял, что о спокойной жизни пока рано думать. (Ибо, как когда-то пел один известный одесский куплетист 30-х годов, правда, по совсем другому поводу: «Когда жене всю ночь не спится, покой нам может только сниться».) Поэтому я решил одновременно с поисками работы для себя, попытаться как-то помочь и ей. Как одессит, я считался у нас в семье человеком более практичным. Она была натурой более артистической, более эмоциональной и потому никогда не умела заботиться о своей судьбе.

Выбор ее был весьма ограничен: либо один из московских театров, либо Мосфильм. Задача выпала не из легких, Москва была переполнена самыми лучшими и талантливыми актерами страны, а у меня, как уже сказано, ни в театральном мире, ни в мире кино не было никаких связей и знакомств. То есть, знакомых было полным-полно, а «знакомств» не было. Правда, перед отъездом из Одессы сведущие люди мне объяснили, что в сфере искусства каждый десятый москвич является бывшим одесситом, у каждого восьмого — бывшей одесситкой является жена, у каждого шестого в Одессе живет тетя, а у каждого второго в тот или иной период его жизни была в Одессе любовница.

К этому времени Рубен Николаевич Симонов, который когда-то приглашал мою жену, уже умер и художественное руководство театром им. Вахтангова по наследству перешло в руки его сына Евгения Рубеновича. К сожалению, это был как раз тот случай, о котором говорят, что на детях талантливых отцов природа обычно отдыхает.

Из московских режиссеров тех лет мне лично больше всего нравились Юрий Любимов и Анатолий Эфрос, хотя

среди людей моего поколения самым популярным театром считался «Современник».

В первый раз я попал туда, купив с рук «лишний билетик», на спектакль «Большевики», поставленный их главным режиссером Олегом Ефремовым по одноименной пьесе Михаила Шатрова. Пьеса была великолепна. В течение двух часов ближайшие соратники Ленина, раненного накануне эсеркой Фанни Каплан, вели на сцене интеллектуальные споры о необходимости введения в стране «красного террора». Надо отдать должное тем актерам: они играли здорово, из всех сил пытаясь создать образы пламенных рыцарей Революции.

Особенно мне запомнился Евстигнеев в роли Луначарского. Несколько раз он выходил в соседнюю комнату, где якобы лежал раненый Ленин, и всякий раз, когда возвращался оттуда, все актеры тревожно вскакивали с вопросом: «Как Ильич?» Евстигнеев выдерживал долгую паузу, затем, всхлипывая и не в силах сдержать подступившие к глазам слезы, скорбным голосом произносил: «Я приложил руку к его лбу. У него лоб влажный». После чего на лицах соратников тоже выступали слезы и на сцене воцарялась скорбная тишина.

Думаю, что заставить актера произносить со сцены фразу «лоб влажный» — это все равно, что заставить его произносить: «на дворе трава, на траве дрова». И Евстигнеев, который в те годы прилично «закладывал», однажды, будучи под шафе, перепутал в этой фразе слова и, вместо того, чтобы сказать «лоб влажный», произнес «жоб лобный». Рассказывали, что из-за этого спектакль чуть не закрыли. Спасло его только то, что Ефремов клятвенно пообещал товарищам из ЦК, что перед выходом на сцену Евстигнеев пить больше не будет. «А вы?» — спросили его товарищи из ЦК. И тут Ефремов запнулся и густо покраснел, ибо в детстве мама его, вероятно, учила, что обманывать некрасиво, а сказать правду он просто не решился. Товарищи из ЦК, вероятно, приняли его молчание за знак согласия, они поверили ему, и этот спектакль еще долго оставался в репертуаре театра. Не знаю, что здесь правда, а что выдумка, но по Москве такие слухи ходили.

Вообще, все происходящее на сцене в этом спектакле было такой «клюквой» и беспардонной ложью, что становилось даже неловко за режиссера и автора пьесы. Тем более, в те годы люди уже знали, что Фанни Каплан была полуслепой женщиной и стрелять вообще не умела. А кровавая баня, устроенная соратниками Ильича и известная под названием «красный террор», отличалась от сталинской кровавой бани только тем, что Сталин ее устроил для политических соратников, а те — для политических противников.

Позднее, когда Ефремов перешел во МХАТ, то первое, что он сделал, поставил там такую же «клюкву», но только под названием «Сталевары». Московские театралы повидали в своей жизни многое, вплоть до софроновских пьес, но такой ахинеи, да еще со сцены прославленного театра, им видеть не приходилось. И для меня до сих пор остается загадкой, как режиссер, воспитавший блестящую плеяду актеров и создавший один из самых интересных театров страны, мог опускаться до подобных постановок. Я не психолог и не искусствовед и потому разгадать эту загадку предоставляю специалистам. Но мне было ясно, что у Ефремова родственников в Одессе быть не может.

Позднее, обжившись немного в столице, я обнаружил, что кроме Любимова и Эфроса в Москве были и другие интересные режиссеры, как, например, Валентин Плучек, Марк Захаров или Андрей Гончаров. Но тогда я еще этого не знал и, хоть Эфрос мне нравился больше Любимова, я решил начать с «Театра на Таганке»: туда у меня, как говорили в Одессе, были кое-какие «концы».

В Одессе мы были соседями и дружили с новым капитаном теплохода «Грузия» Толей Гарагулей, который в свою очередь, был очень близок с Владимиром Высоцким. В доме у него мы с Высоцким несколько раз встречались, и я надеялся через него выяснить, имеются ли у Нины какие-либо шансы на устройство в их театр. Правда, когда мы приехали в Москву, Высоцкого там не было. Зато в этом театре с недавних пор работала актрисой одна бывшая одесситка, с которой я был знаком. Она мне тут же по-свойски объяснила, что, во-первых, в театре нет ни

одного свободного штатного места. А, во-вторых, ведущие любимовские актрисы, такие как Демидова, Славина и Шацкая, костьми лягут, но не допустят, чтобы в театр взяли со стороны красивую молодую актрису, да еще из Одессы.

С театром на Таганке мне все стало ясно и я, чтобы не терять зря времени, сел в троллейбус и доехал по Садовому кольцу до театра на Малой Бронной. Главным режиссером его был Дунаев, человек очень симпатичный, но ничем особенным себя не проявивший. И несмотря на то, что Эфрос был там всего лишь очередным режиссером, театр это был известен в Москве, как театр Эфроса, и каждый его новый спектакль — заслуживал он того или нет — объявлялся московской элитой сенсацией.

Одесситы, как известно, убеждены, что в жилах каждого талантливого человека течет одесская кровь. Эфрос, однако, был коренной москвич. Жена его, известный театровед Наталья Крымова, тоже была москвичкой. И даже какой-нибудь завалящей их тетки обнаружить в Одессе не удалось.

Что касается любимых женщин, то и здесь ситуация складывалась не в мою пользу. Эфрос работал с узким кругом своих актеров и актрис, и самой «эфросовской» среди них являлась Ольга Яковлева, игравшая главные роли во всех без исключения его постановках. Яковлева была окружена особым ореолом. Во-первых, она была талантлива и хороша собой. Во-вторых, она была женой известного московского футболиста Игоря Нетто. И в-третьих, она была женщиной, которую Эфрос нежно любил. Их роман, как теперь уже всем хорошо известно, с небольшими перерывами длился до последних дней его жизни.

Когда, с началом перестройки Эфроса начали предавать его актеры и он после эмиграции Любимова согласился принять театр на Таганке, Яковлева перешла туда вместе с ним. Не знаю, как сложилась ее судьба после смерти Эфроса, но думаю, что не просто, учитывая отношение любимовских актрис к красивым актрисам со стороны.

Ямбы в рыбном соусе

Другим очередным режиссером в этом театре работал Михаил Веснин, который незадолго до этого развелся с женой — прима-балериной театра Станиславского Виолеттой Бовт и женился на молодой, лет на тридцать моложе его, актрисе Одесского драмтеатра Люде Денисовой. Это произошло как раз тогда, когда на сцене театра шел написанный мной мюзикл. Будучи в Одессе, Веснин посмотрел этот спектакль, у нас с ним завязалось знакомство, которое позднее переросло в теплую дружбу. Именно ему я обязан многим из того, что мне впоследствии удалось добиться в столице.

Ко времени нашего переезда в Москву он задумал поставить детский музыкальный спектакль (по мотивам какой-то очень плохо переведенной на русский язык пьесы Джанни Родари) и предложил мне сочинить для спектакля стихотворные тексты. Театр заключил со мной договор и выписал аванс, при получении которого никто не потребовал от меня своей доли. В этом смысле столичные порядки мне поначалу очень даже понравились.

Для музыкального сопровождения Веснин пригласил входящего тогда в моду молодого и очень талантливого московского композитора Алексея Рыбникова. Мы познакомились и первое, что спросил у меня мэтр, — имею ли я на этом поприще какой-нибудь опыт. «А ты?» — задал я ему встречный вопрос. Такая наглость его немного ошарашила. Меня здесь никто не знал, а у него уже было в Москве имя. Он был членом Союза композиторов и лично знаком с Андреем Вознесенским и Робертом Рождественским. И потому творческое сотрудничество с каким-то неизвестным провинциалом несколько покоробило его чувство собственного достоинства. Его можно было понять. Это все равно, если бы ко мне в те дни обратился какой-нибудь самодеятельный композитор из монгольского кишлака Баян-Унгэр и предложил сочинить стихи на его музыку. Я бы, наверное, тоже обиделся.

Чтобы его немного успокоить, я ему кратко рассказал о себе, но и это не произвело особого впечатления. Тем не

менее, он пригласил меня к себе домой. У него была квартира на Садовом кольце, в районе площади Восстания, вся заставленная новейшими иностранными музыкальными инструментами: я понял, что имею дело с серьезным профессионалом. Композиторы, с которыми мне приходилось иметь дело, ютились обычно в одной комнате, половину которой занимало пианино отечественного производства, иногда на нем стояла недопитая бутылка водки и рядом на газете надкусанный плавленный сырок «Дружба».

У Веснина уже было несколько мелодичных, но сложноватых по конструкции музыкальных заготовок к этой пьесе. Он мне их проиграл, отметив, к какой части пьесы относится та или иная мелодия.

«Ну как, нравится?» — спросил он. Я ответил, что такая музыка не может не нравиться, но я еще не начал писать и потому не уверен, как она ляжет на мои стихи.

«Так я сейчас сделаю тебе «рыбу», по этим кускам ты прямо и пиши», — сказал он.

Здесь я должен объяснить читателям, не знакомым с тонкостями совместной работы композитора и поэта, что значит «рыба». «Рыбой» в узком кругу профессионалов называют обычно бессмысленный рифмованный набор слов, который точно ложится на заданную мелодию. Что-то вроде «Где именье, где вода, лам-ца-дрица, лам-ца-ца». По ней опытный поэт, не будучи даже знаком с мелодией, может легко сочинить текст песни или даже торжественной оратории, посвященной, например, очередному съезду КПСС,

Многие композиторы-песенники были люди остроумные. К тому же они и специально старались сделать рыбу поанекдотичнее. Например, однажды на киностудии им. Горького мне показали «рыбу», которую оставил ассистентке для передачи поэту один известный композитор, писавший музыку к детскому фильму. Рыба эта представляла собой следующий шедевр: «Двум засранцам из Калуги в суп попала пара мух./ Два засранца из Калуги заплясали буги-вуги/ И в ужасном перепуге тут же испустили дух/». И далее шел припев: «Вот какую ахинею на трагический сюжет,/ Сочинили два еврея — композитор и поэт».

У меня из-за этих «рыб» с Рыбниковым периодически возникали трения. Он считал, что в любом музыкальном номере главная роль принадлежит музыке, а тексту — второстепенная. Я выступал за равные права, ну, скажем, как наши американские феминистки выступают за равные права с мужчинами.

Ему хотелось написать что-то в стиле известного мюзикла «Иисус Христос суперстар», и он жаловался Веснину, что мои примитивные ямбы и хореи звучат, как анахронизм во второй половине 20-го века. Я же считал, что гекзаметры и александрийский стих в детской пьесе неуместны. Стихи и музыка в ней должны быть простыми, легкими и веселыми, легко запоминаемыми и в стиле речитативов. По опыту я знал, что молодые драматические актеры, как правило, не обладали особыми вокальными данными. Но Веснин был непревзойденным дипломатом и с его помощью мы всегда приходили к взаимопониманию.

Закончив работу над этим спектаклем, мы с Рыбниковым никогда больше не встречались. Но у меня остались о нем очень теплые воспоминания. Во-первых, он был первый столичный композитор, с которым мне пришлось сотрудничать, и он действительно писал прекрасную музыку. Во-вторых, я вынес из сотрудничества с ним один очень важный урок: чтобы преуспеть в Москве, не столь важны способности, сколько имя и престиж.

Уже будучи в иммиграции, я прочитал в газете, что Рыбников вместе с поэтом Андреем Вознесенским написали мюзикл, в стиле «Иисус Христос суперстар», поставленный режиссером Марком Захаровым в театре Ленинского Комсомола. Признаться, мне очень интересно, писал ли Вознесенский стихи по заготовленной Рыбниковым «рыбе», или они нашли какой-то другой путь.

Бедра, шорты и сценические концепции

Веснин прежде никогда детских пьес не ставил и иногда приглашал на репетиции Эфроса, который перед этим был главным режиссером Центрального Детского театра.

Анатолий Васильевич обычно тихо и незаметно входил в зал, садился где-нибудь в 10-м ряду и оттуда молча следил за происходящим на сцене. Потом вдруг вскакивал, стремительно подходил к Веснину, сидевшему за режиссерским столиком, и просил позволения сделать по ходу несколько своих предложений. Однажды во время репетиции он взобрался на сцену, показал что-то актерам, затем, попросив музыку, с азартом сам включился в игру. Было это так смешно, что все зааплодировали и попросили повторить номер на бис. А Веснин тут же предложил ему роль дублера.

Наконец настал день сдачи спектакля. Надо отметить, что актрисы, выступавшие на сцене, в жизни были хорошо сбитыми и довольно привлекательными молодыми женщинами. Не скрою, что бегающие по сцене во время репетиций мальчики и девочки в коротких шортиках, порой, вызывали у нас с Рыбниковым нездоровые эмоции (несмотря на то, что мы оба были счастливо женаты). То же, вероятно, испытывали во время сдачи спектакля и некоторые члены худсовета, которые во время обсуждения предложили заменить шортики на юбочки до колен.

Я давно обратил внимание, что на любых обсуждениях среди членов худсовета всегда находятся критики, которым обязательно что-то не нравится. Одним — концепция спектакля, другим — режиссура, третьим — актерское исполнение, четвертым не нравится сама пьеса. А присутствующие на таких обсуждениях представители Управления культуры в глубине души были уверены, что если бы этого театра вообще не существовало, то зрители ничего бы не потеряли. Зато им самим много легче жилось бы на свете. Вот и это обсуждение, на которое пригласили и меня, ничем не отличалось от всех прочих.

Но страсти, между прочим, до того накалились, что Веснин явно начал нервничать: какую все-таки избрать концепцию? Переодевать ли актрис в юбочки? Тогда молча и терпеливо наблюдавший всю эту галиматью Эфрос, являющийся членом худсовета, из солидарности с коллегой тоже попросил слова.

Во-первых, напомнил он, идет обсуждение не «Идиота» и даже не «Гамлета», а просто очень веселого детского музыкального спектакля, по мотивам веселой сказки итальянского писателя Джанни Родари. И он, будучи в прошлом главным режиссером Центрального Детского театра, берет на себя смелость утверждать, что, в общем и целом, спектакль получился очень симпатичным и должен понравиться детям, которые редко задумываются о концепции увиденной ими пьесы, если они вообще знают о существовании такого слова.

«Что же касается предложения переодеть исполнительниц в юбочки, — продолжал Эфрос, — то если на девочках юбки будут смотреться более или менее естественно, исполнительницы мужских ролей в юбках станут выглядеть не очень натурально, на что дети с их зорким глазом тут же обратят внимание и здесь уж им будет не до поиска концепций. Если же красивые бедра актрис вызывают у членов худсовета определенные эмоции, то это еще не значит, что такие же чувства будет испытывать десятилетний ребенок мужского пола, глядя на актрису, исполняющую, например, роль зайчика». «Не знаю, как у остальных членов худсовета, — сказал Анатолий Васильевич под общий хохот, — но у меня лично в десятилетнем возрасте вид зайчиков и даже зайчих никогда не вызывал сексуальных эмоций».

«И в то же время, — продолжал он без тени усмешки, — нельзя не согласиться с высказанным здесь мнением, что автор этой сказки совершенно выпустил из виду тот факт, что любая детская пьеса, даже если это веселая сказка, должна воспитывать в детях чувство глубокого патриотизма и горячей любви к своей Родине. Но учитывая тот факт, что автор вырос и живет в Италии, ему можно это простить. Я думаю, — закончил Анатолий Васильевич, — что этот спектакль будет иметь успех за счет вполне профессиональной режиссуры, хорошей музыки, легких, веселых стихов и очень даже симпатичной игры наших молодых актеров, которые все, что делают на сцене, делают с удовольствием».

Выступление Эфроса разрядило обстановку и спектакль с небольшими поправками был принят.

Предсказания Анатолия Васильевича оправдались.

Когда мы в июне 79 года уезжали в эмиграцию, пьеса Джанни Родари все еще стояла в афишах театра, и, кажется, была даже указана моя фамилия. Органы, которые были призваны за этим следить, явно не справлялись со своими обязанностями.

В дни нашего отъезда выходила картина с Нининым участием и, хоть фамилию изъяли из титров, кадр с ее изображением, увеличенным в десятки раз, как ни в чем не бывало красовался над фронтоном Киевского вокзала.

Яйца Фаберже

«Не будь наивным! — сказала мне Люда Денисова, когда я при нашей первой встрече спросил Веснина о возможности устройства Нины к Эфросу. — Неужели ты думаешь, что Ольга Яковлева позволит, чтобы в театр взяли еще одну красивую бабу, к тому же еще из Одессы? Она, что, по-твоему, сумасшедшая? Кроме того, чтобы попасть сюда без связей, надо, как минимум, показаться в какой-нибудь пьесе. Так что посмотри по репертуару, в чем Нина могла бы показать себя и попробуй это дело организовать».

В те дни в театре Моссовета шла пьеса американского драматурга Джона Патрика «Странная миссис Сэвидж» с участием Раневской. Эта же пьеса шла в Одесском драмтеатре, где Ниной была прекрасно сыграна одна из ролей. Мы с ней снова посмотрели этот спектакль и пришли к выводу, что одесская «Миссис Сэвидж» ничуть не слабее моссоветовской. И, если бы не великолепная игра Раневской в главной роли, то можно было сказать, что одесситы даже в чем-то перещеголяли москвичей.

И я, как всегда, приступил к поискам в «Моссовете» одесских связей. Слава богу поиски эти много времени не отняли. Оказалось, что помощником директора театра как раз работал «нужный человек» по имени Виктор Михайлович. (Не путать с главным администратором театра имени Вахтангова Виктором Михайловичем Миловским, хотя по части деловой хватки у них было много общего.) Так вот,

моссоветовский Виктор Михайлович являл собой весь необходимый букет одесских связей. Бывшими одесситами оказались не только он и его жена, но в Одессе жила также его родная тетя и несколько бывших любовниц. Узнав это, я заручился рекомендательными письмами, а один мой хороший приятель, бывший с Виктором Михайловичем в тесных деловых отношениях, прямо при мне позвонил ему по телефону. Обсудив с ним свои дела, он закончил разговор такой фразой: «Виктор Михайлович, к вам от моего имени обратится один мой очень близкий приятель, которому в Москве нужна кое-какая неотложная помощь. Но это как раз тот случай, когда надо помочь. Вы меня понимаете?»

Виктор Михайлович, вероятно, ответил, что да, он все понимает, потому что, положив трубку, приятель сказал: «Поверь мне — это человек дела. И если он обещал помочь, то считай, что дело сделано».

Виктор Михайлович оказался невысоким, приятной наружности худощавым человеком выше среднего возраста. Элегантный костюм, белоснежная английская рубашка в тонкую полоску и дорогой галстук с бриллиантовой заколкой говорили о том, что он не лишен чувства прекрасного. Разговаривал он тихим голосом и все время почему-то поглядывал по сторонам, как будто боялся, что нас могут подслушать.

Встретил он меня очень любезно, выставил на стол коньяк, хрустальную вазочку с шоколадными конфетами «Мишка на севере» и, достав из ящика стола пачку «Мальборо», угостил меня американской сигаретой. Поинтересовавшись, как мы устроились, он тут же перешел от слов к делу и предложил свою помощь по части приобретения различного дефицита, в частности, финской мебели, ковров и хрустальной люстры.

Я его поблагодарил и уверил, что в будущем обязательно воспользуюсь его любезностью, особенно, по части хрустальной люстры. А пока у нас есть другие, более прозаические проблемы, в решении которых я очень надеюсь на его помощь. И я выложил перед ним все свои карты. Он внимательно все выслушал, поинтересовался

какие есть роли в репертуаре моей супруги и удивился, почему мы остановились именно на этой пьесе, где у нее роль второстепенная, а не на пьесе, например, Леонида Жуховицкого «Верхом на дельфине», там играла она главную роль журналистки. «Верхом на дельфине» как раз сейчас идет в театре Гоголя, и я мог бы посодействовать устроить ей там показ».

Ко мне пришла мысль, что ради театра Гоголя не стоило переезжать из Одессы в Москву. «Ну хорошо, — видно что-то почувствовал он. — Я поговорю с Завадским, но прежде мне нужно увидеть вашу жену. Не могу же я покупать кота в мешке!» Я тотчас извлек из портфеля альбом с ее фотографиями в различных театральных ролях. «Да, — мечтательно сказал Виктор Михайлович, перелистывая альбом, — таких женщин, как в Одессе, здесь днем с огнем не сыщешь! И в этом вся загвоздка. У Завадского хороший вкус — он любит красивых женщин. Но его жена Вера Марецкая будет очень нервничать, если он решит взять в театр молодую красивую актрису, да еще из Одессы».

«Какой-то анекдот! — воскликнул я. Куда ни ткнись, везде одна и та же проблема! Может быть перед показом мне ее слегка изуродовать?» «Нет, — совершенно серьезно ответил Виктор Михайлович, — пока не надо. Сперва попробуем так, как есть. А если уж не получится, тогда будем думать, что делать. Дайте мне пару недель, и когда я что-то конкретное выясню, я вам позвоню».

Он вручил мне контрамарку на спектакль и на этом мы расстались.

Через какое-то время Виктор Михайлович действительно позвонил и попросил к нему заглянуть. «Нужно срочно организовать путевку на месяц в какой-нибудь хороший одесский санаторий, — сказал он. — Дело в том, что у нас в спектакле роль, в которой должна показываться ваша жена, играет Ия Савина, имеющая на Завадского большое влияние. Хорошо бы на время показа ее отправить куда-нибудь в санаторий». «Нет проблем, — ответил я. — Узнайте только, что предпочитает Савина, — грязевые или сероводородные ванны? Я

ей даже организую билет на скорый поезд в отдельном купе мягкого вагона».

Не известно, говорил ли Виктор Михайлович с Завадским или нет. Этого, вероятно, я уже никогда не узнаю. Потому что Завадский давно умер, а Виктор Михайлович вскоре после нашего разговора неожиданно исчез и по Москве поползли слухи, что он арестован. Я позвонил в Одессу своему приятелю, которого эта новость настолько ошеломила, что я почувствовал, как он на другом конце провода едва не лишился речи. К несчастью, слухи подтвердились. Оказалось, что Виктор Михайлович давно задумал эмигрировать на Запад и, чтобы обеспечить себе там материальную базу, начал тайно скупать по стране яйца Фаберже, по какой-то случайности не вывезенные из СССР американским миллионером и личным другом всех советских вождей Армандом Хаммером. В отличие от Хаммера, который вез произведения искусства в личном багаже и с полного согласия властей, Виктор Михайлович пользовался для этого услугами какого-то подозрительного дипломата одной из стран народной демократии. И делал он это от властей в тайне. Но все тайное, как известно, рано или поздно становится явным. Тем более, что за этим «демократическим» дипломатом соответствующие органы, как выяснилось позже, давно следили. Однажды в тот самый момент, когда Виктор Михайлович передавал ему пакет с очередным яйцом, к ним подошли двое «искусствоведов в штатском». В результате дипломат оказался в своей тюрьме, Виктор Михайлович — в нашей, Ия Савина потеряла шанс принять сероводородные ванны в одесском санатории, а Нина сыграть с Фаиной Григорьевной Раневской в пьесе американского драматурга Джона Патрика «Странная миссис Сэвидж».

Но пути Господни неисповедимы, и позднее судьбы Нины и Ии Савиной все-таки пересеклись. Обе несколько лет спустя снимались на киностудии им. Горького в фильме по сценарию известного советского драматурга Александра Володина, где Нина играла роль матери мальчика, а Ия — роль матери девочки, которая по отношению к

этому мальчику испытывала примерно такие же чувства, какие Джульетта испытывала к юному Ромео. Обе мамы даже не подозревали, что некогда их судьбы могли тесно переплестись, если бы не бдительность наших органов, твердо стоящих на страже правопорядка.

Кузница киноталантов

Встретившись со своими бывшими сокурсницами по ВГИКу, Нина решила все-таки попытаться пробиться на Мосфильм, но оказалось, что попасть туда еще сложнее, чем в штат театра. Дело в том, что ВГИК за годы своего существования наплодил такое количество киноактеров, что их поглотить не могла бы объединенная киноиндустрия всех стран Варшавского Договора, включая Монголию.

Во ВГИКе было несколько объединенных режиссерско-актерских мастерских, которые вели маститые режиссеры, порой вместе со своими женами актрисами. Сергей Герасимов — с Тамарой Макаровой, Сергей Бондарчук — с Ириной Скобцевой, Лев Кулешов — с Александрой Сергеевной Хохловой, Бибиков — с Пыжовой. Другие, как например, Михаил Ромм, Григорий Козинцев и Александр Довженко, вели эти мастерские без жен, хотя и были женаты на актрисах. Чисто актерские мастерские вели народные артисты СССР Борис Бабочкин и Владимир Белокуров, сыгравшие когда-то в кино роли Чапаева и Чкалова. После смерти Герасимова его место заняли двое его учеников — Лев Кулиджанов, бывший тогда Первым секретарем Союза кинематографистов, и Татьяна Лиознова, снявшая «Семнадцать мгновений весны».

Сообща все эти мастерские выпустили несколько сот киноактеров, среди которых, как и в любой другой профессии, было много ремесленников. Но было и определенное число одаренных от природы людей.

Дар, как говорится, от Бога, а мастерство приходит с опытом и нарабатывается годами напряженного труда.

Выпускник театрального училища, прежде чем достичь определенной степени профессионализма, проходит через жернова изнурительных репетиций и наращивает мастерство в ходе ежедневных выходов на сцену. Другое дело с киноактером. Даже исполнитель главной роли в нормальной полуторачасовой картине имел что-то порядка двадцати съемочных дней, а затем мог год — и это в лучшем случае — ждать следующей роли, растеряв за это время тот малый опыт, который приобрел на предыдущей картине. А что уже говорить об исполнителях второстепенных ролей?

Работая в 70-х годах на киностудии им. Горького, я видел, что многие режиссеры предпочитали приглашать на ведущие роли именно театральных актеров. А выпускников ВГИКа и на второстепенные роли брали по нужде, а не по охоте.

Театральные актеры — заняты они были в текущем репертуаре театра или нет — получали твердую зарплату. В кино было немного другая история. Каждый киноактер имел свою актерскую ставку, согласно которой оплачивался его рабочий день, будь это киносъемка, озвучивание, дубляж или выступление в концерте. Ставки эти колебались от 7.50-и у начинающих до 50-и рублей — у народных артистов СССР.

Сегодняшний российский пенсионер, прочитав это и прикинув быстренько в уме, подумает: «Во, жили!» Подумает — и ошибется. Во-первых, бюджет фильма, если это не был фильм о Брежневе, был весьма лимитирован и соответственно ограничено было количество съемочных дней, за экономию которых директор картины и все остальные члены съемочной группы (за исключением актеров) получали премии. Так, если по плану фильм должен был закончиться к 30-му декабря, то перед запуском картины съемочная группа брала соцобязательство закончить его хотя бы на день раньше. И если съемка срывалась из-за погоды или по причине болезни актера, директор рвал на себе волосы, ибо возникала угроза потери премиальных. Во-вторых, производство художественных фильмов явно не поспевало за ежегодным приростом числа актеров. И потому основная их масса месяцами либо вообще не работала, либо работала очень мало.

В Америке актеры, за исключением, конечно, кинозвезд, в свободное время зарабатывают на жизнь в качестве официантов, таксистов, страховых агентов, брокеров по продаже недвижимости, программистов, и я даже лично знаю одного садовника. А чтобы не терять форму, они по вечерам за мизерную плату или даже бесплатно играют в маленьких театриках, каких у нас только в одном Лос-Анджелесе более 130-ти штук. Но в России заниматься в свободное время чем-то другим, кроме своей актерской профессии, считалось унизительным, не говоря уже о том, что работа по совместительству была запрещена (чтобы, не дай бог, кто-то не заработал лишнюю копейку и не разбогател).

И вот, чтобы киноактеры не померли с голоду и могли кое-как поддерживать свою профессиональную форму, при Мосфильме после войны был создан театр Киноактера, в штат которого зачислялись выпускники ВГИКа, имеющие за плечами хотя бы одну кинороль и московскую прописку. Постепенно актерский штат настолько раздулся, что его с лихвой хватило бы на пять нормальных театров. Работать хотелось всем, а режиссеры приглашали на роли только знаменитостей, ибо дирекции театра нужно было выполнять финансовый план. Чтобы зритель туда ходил, ему подавай со сцены живых кинозвезд. А тот, кто в звезды не вышел, оказывался в плачевном положении и с горя тихо спивался. На водку еще хватало, а на закуску уже не оставалось: платили им унизительно мало. Конечно, популярные киноактеры, которые много снимались, зарабатывали по советским стандартам довольно прилично. Но именно, по советским стандартам.

Наш сын здесь, в Америке, решив пойти по стопам матери и стать актером, где-то немного этому поучился, и первая картина, в которой он получил небольшую роль, называлась «Красная жара». В ней исполнитель главной роли, известный американский киноактер Арнольд Шварценеггер, играл роль советского капитана милиции. Так как у сына была роль со словами, то его тут же приняли в актерский профсоюз, и его первая актерская ставка составляла 600 долларов в день. А если разрыв между двумя

съемочными сменами был менее 12 часов, то он получал полуторную ставку.

Съемки проходили в Лос-Анджелесе и частично в Чикаго, где у него по графику было запланировано три съемочных дня. Из дому в аэропорт его отправили на лимузине, летел он в салоне 1-го класса, в чикагском порту его также встретил лимузин и отвез в дорогой отель, в центре города, где его уже ожидал прекрасный отдельный номер. Питалась в Чикаго вся группа, судя по рассказам сына, бесплатно и очень калорийно. Продержали его там из-за изменения графика съемок вместо трех дней двадцать и за каждый заплатили по 600 долларов. Это было в 1987 году. Но он и по сей день раз в году получает чек, приблизительно на пару тысяч долларов, в качестве отчислений от проката этого фильма в любой стране.

Сквозь тернии к звездам

Работая на киностудии им. Горького, в театре им. Вахтангова, сотрудничая с другими театрами и филармониями (даже в Америке, проработав пять лет в компании под названием «Уолт Дисней Продакшн»), я довольно часто встречался с актерами, не говоря уже о том, что много лет сам женат на актрисе. Так вот, смею утверждать, что нет в мире людей более ранимых, более чувствительных к всякого рода несправедливостям и унижениям и в то же время, людей более беззащитных, чем актеры.

Командовать судьбами этих людей был поставлен, в роли начальника актерского отдела Мосфильма, человек по имени Адольф Гуревич, о котором говорили, что человек с таким именем к евреям, славянам и цыганам хорошо относиться не может.

В жизни мосфильмовских актеров он играл такую значительную роль, что я просто считаю себя не вправе не сказать о нем несколько слов. Это был высокий, холеный, уже не первой молодости, рано облысевший, но тем не менее, всегда подтянутый и хорошо одетый человек, со

злым и немного надменным выражением лица. Глаза Адольфа Михайловича выражали презрение ко всему окружающему миру. Вел он себя с актерами, как маленький фюрер, для которого, кроме сильных мира сего, не существовало вообще приоритетов.

Однажды, будучи у нас в гостях, киноактриса Антонина Максимова, сыгравшая роль матери Алеши в фильме «Баллада о солдате», так о нем пошутила: «Адольф Михайлович всех актеров делит на две неравные части. Меньшая часть — это те, которых он ненавидит меньше, а большая — те, которых он ненавидит больше».

Тех, кого он ненавидел больше, он просто доводил до истерики. Особенно его раздражало, если кто-то вслух жаловался на свою актерскую судьбу. Это он воспринимал, как личное оскорбление. Он мог вызвать к себе в кабинет такую жалобщицу с несложившейся жизнью и, окинув ее холодным взглядом, сказать: «Ты посмотри, на кого ты похожа, как ты одета и до чего ты себя довела! Посмотри на свое испитое лицо! Да кто ж тебя такую снимать будет?» У актрисы, естественно, начиналась истерика. Однажды он «поговорил» в таком духе с герасимовской ученицей Таней Гавриловой, но та, вместо того, чтобы расплакаться, неожиданно влепила ему по физиономии. Неделю Адольф Михайлович ходил с синяком под глазом, а ее навсегда исключили из штата студии, лишив практически средств к существованию.

Он выжил с Мосфильма замечательного киноактера Михаила Пуговкина, который перейдя после этого на киностудию им. Горького, расположенную недалеко от Ботанического сада, рассказывал, что здесь он чувствует себя, как в Ботаническом саду, по сравнению с тем Брянским лесом, в который Гуревич превратил актерский отдел Мосфильма. «Правда, — говорил он, — в саду иногда тебя поливают, но в брянском лесу актеров отстреливают, как зондеркоманды отстреливали в лесах партизан».

Тем же актерам, которых Гуревич ненавидел меньше, то есть некоторым образом благоволил, он периодически подкидывал работу. По неписаному закону для съемок в

групповых сценах ассистенты режиссеров должны были звонить к Гуревичу в отдел и заказывать штатных актеров. Тут уж от него полностью зависело, кто окажется счастливчиком и заработает дополнительно свои 20—30 рублей. Люди также требовались на озвучивание или дубляж. Эту кормушку постепенно захватила узкая группа нигде уже давно не снимавшихся актеров и актрис. И с помощью Гуревича никого из посторонних к ней не подпускали и близко.

По указанию Адольфа Михайловича на студии действовал такой порядок. Каждый штатный актер должен был ежедневно с 5-ти до 7-и вечера звонить в диспетчерскую актерского отдела и справляться, есть ли на него на завтрашний день какой-нибудь заказ. Звучало это приблизительно так: «Марья Ивановна, добрый день, это вас беспокоит Тоня Максимова. У меня на завтра что-то есть?» После короткой паузы следовал такой ответ: «Нет, Тонечка, на вас на завтра заказа нет».

Стоило человеку в силу какой-либо причины пропустить или просто опоздать сделать звонок, как ему тотчас засчитывался прогул, с вычетом соответствующей суммы из его мизерной зарплаты. Поэтому, даже уезжая на день из Москвы, актеры, чтобы не схлопотать неприятностей, звонили в диспетчерскую по междугородному телефону. У Гуревича были свои шпионы. Стоило ему узнать, что кто-то уехал без его ведома из города, как он тут же делал ему вызов на дубляж или озвучивание. Ни о чем не подозревая, бедняга звонил откуда-нибудь из Рязани в диспетчерскую и к своему ужасу узнавал, что на следующий день, в 7 утра, ему надо быть на студии.

Среди мосфильмовских актеров ходила такая шутка: «Путь к звездам лежит через тернии. И вот Адольф Михайлович в силу своей совершенно уникальной бесчеловечной натуры и послан нам богом, чтобы играть их роль».

Но если вдуматься, то Гуревич, конечно, был очень удобен руководителям Мосфильма. Во-первых, он держал всю эту неуправляемую шатию в строгой узде. А во-вторых, через него всегда можно было посодействовать

актерской карьере очередной наложницы какого-нибудь влиятельного киновельможи и закрыть рот предыдущей, вышедшей из милости. Да мало ли чем еще мог быть полезен Адольф Михайлович Гуревич.

Прозрение автора Ленинианы.

Не секрет, что у каждого мужа есть с женой проблемы. Моя жена в этом смысле не составляла исключения. Ее проблема заключалась в редкостном простодушии и наивности. В отличие от меня, знавшего цену «связям», она буквально не переваривала окольные пути в жизни. Само по себе, это может быть, и прекрасно, если бы дело не происходило в стране, где было просто недопустимо не понимать некоторых элементарных вещей, почему, например, правое ухо иногда полезно чесать левой рукой, а не наоборот, как казалось бы, подсказывает логика.

Думаю, что это чудное качество пришло к ней по наследству от отца. Он был очень талантливым человеком, профессионально рисовал маслом, и, казалось, не было такой вещи, которую он не мог бы сделать своими руками. Был он военным инженером и, пройдя войну, уехал служить на крайний север, чтобы подзаработать денег на дом, который мечтал построить в городе своего детства, в Фастове. Дом строили всей семьей и, когда все было готово, его пригласил секретарь горкома и объяснив, что фастовским ребятишкам после войны некуда деваться, предложил ему в обмен на дом трехкомнатную квартиру. Он согласился, въехал в квартиру, но построенный им дом почему-то отдали не детсаду, а директору местного спиртзавода. Святая наивность! Он еще пробовал жаловаться, не понимая, что нет в их округе более сильного и влиятельного человека, чем директор спиртзавода. Таким он и остался до конца жизни, не желая признать, что власть в стране, за которую проливал кровь, захватили воры и подлецы. Вот и дочь его долго не могла обрести этого понимания, а когда наконец что-то поняла и задумала уехать, этого ее решения никак не мог понять отец, получивший, казалось бы столь наглядный урок.

В своем простодушии, кстати, она пошла еще дальше отца. Помню, как однажды ей дали роль в пьесе известного драматурга: казалось бы, радуйся, будь на седьмом небе. Да, где там? Ей показалось, что предложенный драматургом текст не вполне соответствует ее собственному пониманию роли. Не годится и все тут. И вот она села и за ночь переписала не только свой текст — хорошо бы только свой! — но и все диалоги со своим партнером. Режиссер согласился, что ее текст лучше оригинального, тем не менее стал ее призывать к благоразумию. (Неужели не понимает, что он и заикнуться по такому вопросу нигде не сможет!) Однако, в традициях семьи, она твердо стояла на своем. Конец истории, читатель, думаю, представляет, — роль, о которой она, может быть, мечтала и хотела только немного улучшить, неблагодарное начальство просто-напросто передало другой актрисе.

Зная ее характер, большинство своих попыток помочь ей с устройством, я предпринимал в тайне от нее. Поэтому она поначалу решила пойти прямым и естественным для нормального человека путем, т.е. записаться на прием к Гуревичу и честно попроситься на работу в театр Киноактера.

Такой наглости от бывшей выпускницы ВГИКа (за плечами которой, впрочем, было четыре фильма и пять лет работы в театре) человек и с более крепкими нервами, чем у Адольфа Михайловича, не мог бы вынести. От неожиданности он едва не потерял дар речи, но потом, придя в себя, сумел как-то взять себя в руки. Вернулась Нина от него вся в слезах и два дня после этого я отпаивал ее валерьянкой.

Неделю приходила в себя, пока наконец не решилась обратиться к своему учителю Михаилу Ильичу Ромму. Ромм был профессором ВГИКа, имел звание народного артиста СССР и являлся пятикратным лауреатом Сталинской премии. У него было несколько твердых принципов. Во-первых, он считал, что если человеку трудно живется — это первый признак того, что он умен. «Умный человек, — говорил он, — не может быть удовлетворен жизнью и потому хорошо жить не может». Во-вторых, он был убеж-

ден, что будущее искусства принадлежит кино, а театр в скором времени умрет. К этим выводам он пришел, раскладывая карточные пасьянсы и утверждая, что это помогает ему сосредоточиться при обдумывании каких-либо дел. Даже, когда он обсуждал с кем-то у себя дома или на даче серьезные проблемы, он делал это, раскладывая пасьянс. «Человек, который изобрел пасьянс, — говорил он, — был куда мудрее того, кто изобрел шахматы. Ибо пасьянс имеет перед шахматами два существенных преимущества. Во-первых, он не требует партнера. А, во-вторых, играя в шахматы, ты больше ни о чем другом думать не можешь, а раскладывая пасьянс, можно думать о чем угодно».

Когда Нина приехала к нему на дачу в Красную Пахру и принесла кучу своих театральных фотографий, он усадил ее рядом с собой за стол и, попросив рассказать, как прошли последние годы ее жизни, начал раскладывать из этих фотографий пасьянс.

Относился он к ней удивительно тепло, я бы даже сказал, с любовью и искренне пытался ей помочь. Кому-то звонил, кому-то писал письма. Но все было тщетно.

Дело в том, что Ромм когда-то был в фаворе у властей, и до войны, в годы, когда страна утопала в крови сталинских репрессий, по счастливой случайности избежал участи многих из своих коллег, поставив два известных фильма о Ленине: «Ленин в Октябре» и «Ленин в 18-м году». Ленин, как известно, был человеком чрезвычайно умным, искусным полемистом, великолепным стратегом и тактиком. В то же время был он человеком властным, мстительным, абсолютно беспринципным и жестоким, способным одним росчерком пера обречь на гибель тысячи людей во имя сохранения своей власти. У него никогда не было близких друзей, а только соратники или противники. Он презирал русское крестьянство и интеллигенцию и ради собственного удобства все годы прожил с нелюбимой женщиной. Вероятно, единственный человек, которого он любил, была Инесса Арманд, в отсутствие которой он по дороге в библиотеку регулярно посещал один из женевских публичных домов, где и подхватил сифилис.

Ромм же вместе с вахтанговским актером Борисом Щукиным, исполнившим роль Ленина, создали образ этакого хитроватого русского мужичка в черной парижской жилетке, который больше всего в жизни любил несчастный русский народ и Бетховена. То есть образ, не имеющий, кроме внешнего сходства и манеры разговаривать, ничего общего со своим прототипом, но зато полностью отвечающим требованиям Партии и Правительства.

Но после войны с Роммом что-то случилось и он начал ставить фильмы, за которые ни премий, ни званий не давали, например, «Убийство на улице Данте», и даже такие, за которые отбирали уже имеющиеся звания, например, «Обыкновенный фашизм». После этого фильма человеку даже с одной-единственной извилиной не могла не прийти в голову мысль, что гитлеровский режим сильно напоминал наш родной советский. И даже тот факт, что именно образ вождя из роммовской лениниана позднее дал толчок к созданию сотен анекдотов о Ленине (их с удовольствием рассказывали друг другу даже члены Политбюро), не принес Михаилу Ильичу никаких лавров.

Короче говоря, к тому времени, когда Нина обратилась к нему за помощью, он уже был у властей не в чести, и потому Гуревич, всегда державший нос по ветру, мог себе позволить на просьбы Ромма вообще не реагировать. Тем более, что его шеф, директор Мосфильма Николай Сизов, одновременно являлся замом Председателя ГОСКИНО и имел звание генерала КГБ. Кстати такое же военное звание имели тогдашний Председатель ГОСТЕЛЕРАДИО Месяцев и один из самых главных секретарей Союза Советских писателей Ильин. Вот какие заслуженные люди руководили армией советских деятелей искусства.

Лирическое отступление

Раз уж я затронул эту тему, то хочу подчеркнуть, что в сфере искусства редко кому удавалось дослужиться до генеральского чина. Многие, особенно в среде писателей, театроведов, музыковедов и прочих искусствоведов,

навсегда застряли в полковниках. С одним из них, удивительно, кстати, симпатичным и умным человеком, Аркадием Сахниным меня как-то лично познакомил один мой близкий приятель.

Аркадий Яковлевич Сахнин состоял членом редколлегии журнала «Новый мир» и был очень сильным публицистом. Когда партии надо было кого-то снять с работы, например, какого-то вконец разложившегося и потерявшего ее доверие секретаря Обкома или вообразившего себя маленьким удельным князьком капитана китобойной флотилии «Слава», то Сахнин выезжал на место, где собирал все необходимые материалы, после чего в «Правде» или «Известиях» появлялась его разгромная статья, не оставлявшая живого места от провинившегося. Но однажды случилась небольшая осечка. Наши советские девушки начали выходить замуж за негров и арабов из дружеских африканских и ближневосточных стран. Дружба — дружбой, а служба — службой. И вот определенные Службы, чтобы пресечь эту эпидемию, поручили Аркадию Яковлевичу написать на эту тему статью. После чего в «Комсомольской правде» появился его очерк «Мария», в котором красочно описывалось, в каком рабском положении невольниц оказались наши бывшие комсомолки, увезенные африканскими и арабскими мужьями в их полуфеодальные страны.

В действительности бывшие комсомолки жили там, как их советским товаркам не могло присниться даже в самом фантастическом сне. И вот после выхода очерка все арабские и африканские послы, аккредитованные в Москве, обратились в МИД с требованием организовать им встречу с автором статьи, чтобы тот привел конкретные примеры и рассказал им, в какой именно стране мучается в рабстве описанная им Мария. Тогда упомянутые выше Службы срочно отослали Аркадия Яковлевича в двухмесячную творческую командировку по 20-ти странам, но, конечно, не арабским и не африканским. Так что его встреча с послами не могла состояться по причине его физического отсутствия в столице. А за два месяца неофициально это вопрос замяли, объяснив послам, что произошла описка и все случившееся с Марией произошло не в их странах, а в Америке.

Однажды вместе с двумя другими писателями-полковниками Аркадий Яковлевич был неожиданно вызван к начальству на Лубянку, где они получили очень важное правительственное задание. Прямо оттуда, едва успев заехать домой, чтобы попрощаться с женами и захватить сменную пару белья, они отправились в Дом творчества Союза Писателей, членами которого они, естественно, состояли. И там за три месяца напряженного труда они сочинили широко известную эпопею «Малая Земля», за которую ее автор, Леонид Ильич Брежнев, был удостоен Ленинской премии по литературе.

Но истинных создателей этого литературного шедевра тоже не забыли и каждому из них за этот подвиг был вручен орден «Знак почета». А Аркадий Яковлевич позднее, ко дню своего семидесятилетия, был еще награжден и орденом «Октябрьской революции».

Впрочем, все в нашем мире относительно. В прошлом году, будучи в Берлине, я зашел на блошиный рынок, который представители различных народов бывшего Советского Союза разбили у Бранденбургских Ворот.Там можно было купить все — от чапаевской бурки и генеральского мундира до палехских шкатулок и японских презервативов. Около одного азербайджанца лежала горка советских орденов и медалей, в которой каждый желающий мог порыться и выбрать себе награду по собственному вкусу. Ордена «Ленина» шли по сто долларов, «Октябрьской революции» — можно было выторговать за двадцатку, а «Знак почета» — за трешку — бери, не хочу.

Кстати, жена Аркадия Яковлевича Ирина Дмитриевна, тоже удивительно симпатичная женщина, проработав много лет в КГБ, перешла затем на административную должность в Московский дом актера, где и работала до тех пор, пока он не сгорел. Благодаря Ирине Дмитриевне я с Ниной имел возможность присутствовать на многих веселых капустниках и прочих интересных мероприятиях, устраиваемых в Доме актера, за что мы ей искренне благодарны.

Знакомство с Аркадием Яковлевичем и Ириной Дмитриевной привело меня даже к мысли, что КГБ не такая уж страшная организация, как считал мой отец, проведший последние пятнадцать лет своей жизни в тюрьмах, лагерях и ссылках и умерший в сибирской деревне Черный Мыс, не дожив всего каких-то трех месяцев до смерти Сталина. Хотя, когда я увидел по телевидению, как сваливали памятник Дзержинскому на Лубянской площади, набросив петлю ему на шею, сердце мое почему-то трепетало от радости. После этого лирического отступления я снова возвращаюсь к теме своего повествования.

Князь кино

Итак, получив со всех сторон отказы, Михаил Ильич Ромм решил обратиться за помощью к Сергею Аполлинарьевичу Герасимову. Оба они были большими мастерами своего дела, людьми в высшей степени порядочными и, в отличие от некоторых своих коллег, никогда и никому никаких подлостей не делали. Наоборот, всегда старались помочь, конечно, в меру своих возможностей. Эти возможности у них были разные.

Герасимов, как и Ромм, до войны тоже ставил фильмы, за которые давали звания и премии. Но в отличие от Михаила Ильича, он такие же фильмы продолжал ставить и после войны. Первым спектаклем на сцене открывшегося в 1944 году театра Киноактера была «Молодая гвардия», которую Герасимов поставил силами студентов своей мастерской. Спектакль имел шумный успех, и позднее он перенес его на экран, не зная — не ведая, что вскоре автор этого романа Первый Секретарь Союза советских писателей сталинских времен Александр Фадеев, окончательно спившись, покончит с собой — не только от стыда за эту бессовестную ложь, но и за все прочие грехи перед погибшими в сталинских лагерях писателями.

Так или иначе, в отличие от Ромма, Герасимов оставался в фаворе до конца дней своих и вдобавок к званиям, что имел Михаил Ильич — профессора ВГИКа, народного

артиста СССР и пятикратного лауреата Сталинской премии, являлся еще и лауреатом Ленинской премии, доктором искусствоведения, действительным членом Академии Педагогических наук, Героем Социалистического труда, депутатом Верховного Совета СССР, Секретарем Союза кинематографистов СССР и, вероятно, чем-то еще, чего я уже и не помню. У нас на студии шутили, что Сергей Аполлинарьевич и сам всех своих званий не помнит, так как у него их больше, чем у Брежнева орденов.

Герасимов и Ромм оба были женаты на известных актрисах, прожили с ними всю жизнь и оба снимали своих жен почти во всех своих фильмах.

Герасимов был женат на Тамаре Макаровой, а Ромм — на Елене Кузьминой. Но если Ромм был типичным европейским интеллигентом, известным своей житейской скромностью и тем, что, кроме искусства, никакие радости жизни его особенно не соблазняли, то Герасимов был полной противоположностью. Сергей Аполлинарьевич радости жизни любил. Любил успех, поездки за границу, дорогие костюмы, изысканные вина, красивых женщин и особенно молодых, редкая из которых могла устоять перед его обаянием и тем положением, которое он занимал в мире кино. При всем своем таланте он был не лишен тщеславия. Ему нравилась его слава, и почитание окружающих он принимал как должное.

На студии Горького, где он снимал все свои фильмы, он руководил Вторым Творческим объединением и, когда он приезжал на работу, по студии проходил легкий шепот: «Герасимов приехал!»

Кабинет его находился на втором этаже, почти в самом конце узкого коридора. И вот, когда он появлялся, все вежливо отступали к стенам и застывали в молчаливом почтении. Стройный, лысоватый, с высоким лбом и маленькой бородкой, внешне необычайно похожий на щукинского Ленина, он семенил своей мелкой, торопливой походкой вдоль этого почетного караула, беспрерывно кивая вправо и влево, как актер, привыкший к поклонению публики. Но больше всего в жизни Сергей Аполлинарьевич любил пельмени. Он родился и вырос в Сибири,

и в искусстве приготовления пельменей не было ему равных. В киноэкспедиции он мог устроить пельменный день и, надев передник, налепить их на всю съемочную группу.

Герасимов — надо отдать ему должное — не только воспитал вместе с Тамарой Макаровой блестящую плеяду режиссеров и актеров, но еще и всегда опекал своих питомцев. Он внимательно следил за их творческой судьбой, снимал в своих фильмах и, будучи человеком влиятельным, протежировал в картинах других режиссеров, постепенно приводя тех, кто по дороге не спился, к званиям заслуженных и народных артистов.

Ромм тоже за своих учеников мог не краснеть, но в силу своего характера качествами Герасимова по части опеки своих питомцев не обладал. Да и при своем тогдашнем положении мало кому мог что-то сделать.

И вот, почувствовав, что лично он помочь Нине бессилен, он и обратился к Герасимову.

Что произошло после этого, я узнал несколько лет спустя. Герасимов ставил фильм «Красное и черное» по Стендалю, где в роли Филиппа, маленького сына госпожи де Реналь, снимался наш маленький сын Тенгиз. Нина его привозила утром на съемки и после их окончания увозила домой.

Узнав, что Нина моя жена, Сергей Аполлинарьевич зазвал меня как-то в свой кабинет и рассказал такую историю. Был он не только великолепным рассказчиком, но и прекрасным актером, и, рассказывая о ком-то, красивым грассирующим говорком, великолепно имитировал этого человека. Вот этот рассказ, как я его запомнил.

«Михаил Ильич, будучи человеком в высшей степени интеллигентным и стеснительным, тысяча раз извиняясь и прося прощения за беспокойство, обратился как-то ко мне с просьбой замолвить словечко за одну его ученицу, которой он очень хотел бы помочь, но оказался в этом отношении совершенно бессилен. Я, вообще-то, к мосфильмовской епархии имел очень отдаленное отношение и к тому же хорошо знал, что из себя представляет

Адольф Михайлович. Мне легче было отрубить себе палец, чем набрать этим пальцем его телефон. Но тем не менее, я не мог отказать Михаилу Ильичу и решил обратиться к Гуревичу в качестве Секретаря Союза кинематографистов.

«Адольф Михайлович! — сказал я, когда секретарша меня с ним соединила. — Простите, Бога ради, за беспокойство, но это вас тревожит Сергей Герасимов. Тут ко мне, как к Секретарю Союза, обратился очень уважаемый у нас человек, народный артист СССР Михаил Ильич Ромм с просьбой помочь его бывшей и очень им любимой ученице, с которой однажды в жизни произошла трагическая история и в творческой судьбе которой он очень заинтересован. Зная ваше, Адольф Михайлович, чуткое отношение к актерам, а также и то, что решение этого вопроса главным образом зависит от вас, я решил позвонить именно вам, чтобы выяснить, имеется ли какая-нибудь возможность уважить эту просьбу Михаила Ильича, который, как вы знаете, очень редко обращается к кому-либо с просьбами». И он объяснил Гуревичу суть дела. Тот его внимательно выслушал и сказал:

«Сергей Аполлинарьевич, вы себе даже не представляете, как я уважаю и вас и Михаила Ильича Ромма, но, к сожалению, вы сильно преувеличиваете мои скромные возможности. И в настоящий момент я даже себе не представляю, чем в этом деле могу быть вам полезен. У нас на сию минуту нет ни одного свободного штатного актерского места, но, если бы вы могли, используя свой авторитет, выбить его для нас в Комитете, то тогда я бы сделал все от меня зависящее, чтобы уважить просьбу Михаила Ильича. А сейчас я совершенно бессилен».

«Но, Адольф Михайлович, — не сдавался Герасимов, — может быть, не конкретно сию минуту, а через какое-то время. Ведь штатные места периодически освобождаются, актеры ведь не бессмертны и периодически умирают от разрыва сердца».

«Ну что вы, Сергей Аполлинарьевич! — ответил он. — От разрыва сердца умираем мы с вами, а актеры наши живут долго и счастливо, а если отчего и умирают, то разве что

с перепоя. Я обещаю вам, что если это с кем-нибудь из них в ближайшем времени случится, то протеже Михаила Ильича будет первой в списке на освободившееся место». Герасимов вежливо поблагодарил его и повесил трубку. «Редчайший мерзавец!» — сказал он, закончив свой рассказ. Я ему не стал возражать.

Реквием по любимой партии

Как ни странно, но перескочить через голову Гуревича удалось с помощью одесских связей, но не моих, а Нининых. Прежний ее муж в свое время был послан учиться в Высшую Партийную школу, так как партия считала, что капитан, которому доверено перевозить переодетых в штатское советских военнослужащих в Индонезию и на Кубу, должен быть человеком политически грамотным и хорошо разбираться в тонкостях марксистско-ленинской философии. Там, в ВПШ, он познакомился со многими ее студентами, в том числе и с некоторыми членами ЦК Комсомола, которых позднее бесплатно катал — кого с их девочками, а кого — с законными женами на своем теплоходе по Черному морю.

В те годы с некоторыми из них Нина была знакома. Но, по приезде в Москву, звонить им стеснялась, так как к этому времени все они уже вышли из комсомольского возраста и перешли на работу в партийные, советские и некоторые другие важные органы. Однако, когда все прямые пути были исчерпаны и даже попытки Ромма окончились неудачей, она все-таки решилась и позвонила одному из них. И он, надо отдать ему должное, тут же вспомнил ее и даже пригласил в гости. Сам он занимал какой-то очень высокий пост в Верховном Совете и по положению своему весьма негативно относился к лицам еврейской национальности. Так что, узнав, что Нина вышла замуж за еврея, он очень расстроился — никак не мог понять, как она могла совершить такой опрометчивый поступок.

Жил он в одном из тех домов в центре Москвы, которые уже в брежневские времена были построены для ответственных партработников второго эшелона. По его словам, наружные стены и окна этих домов имели свинцовую прослойку, чтобы в случае атомной атаки в квартиры не проникла радиация.

У него была жена и дочь, студентка Московского института восточных языков, с которой я познакомился, работая в театре имени Вахтангова. Она была страстной театралкой, и я ее снабжал контрамарками. У меня тогда сложилось твердое впечатление, что взгляды отца по национальному вопросу его дочь категорически не разделяла: обычно она приходила в театр в сопровождении своего сокурсника, симпатичного еврейского парня.

Не думаю, что позже в этом человеке проснулась совесть — скорее всего, он действовал под давлением семьи. Он созвонился (или выражаясь принятой в их среде терминологией) «вышел» на другого комсомольца из той же компании, с которым они когда-то вместе катались на теплоходе «Грузия». Последний к тому времени уже работал не то начальником, не то зам. начальника сектора кино Отдела культуры ЦК Партии.

Нина была строжайше предупреждена, чтобы она в разговоре с ним, упаси Боже, случайно не проговорилась о своих еврейских матримониальных связях.

Так или иначе, он очень вежливо принял Нину. Узнав, что она перебралась в Москву и имеет московскую прописку, он сказал, чтобы она не отчаивалась, и выразил надежду, что ему как-то удастся ей помочь. И ему действительно удалось. Причем, с первой попытки. Один его звонок сумел сделать то, чего не способны были добиться самые заслуженные люди нашего советского кино, со всеми их почетными званиями, премиями и орденами. (Приходится только сожалеть, что такая замечательная Партия, которая единственная могла стать на защиту маленького человека, потеряла в нынешней России не только власть, но и доверие народа.)

Адольф Михайлович Гуревич, не ожидавший такого эндшпиля, очень расстроился, ибо целую неделю после этого от него пахло валокордином. Но Нине такого неожиданного хода конем он не простил. То есть в открытую он

ей мстить не решался, но тайно при каждом удобном случае делал ей разные мелкие пакости.

Когда мы подали заявление в ОВИР, то из-за типичного советского бюрократизма на Мосфильме об этом узнали с опозданием на полгода. Но в тот момент, как об этом стало известно, Адольф Михайлович тут же издал приказ об ее увольнении, заметив при этом, что этого следовало ожидать с самого начала.

Говорят, что Адольфа Михайловича уже нет в живых, а о мертвых плохо говорить не принято. Да у меня и не было таких намерений. И я рассказал не столько о нем, сколько о бесподобной системе, в которой мы все жили. Те, кто хотел в ней выжить, должны были к ней приспосабливаться. Только одни подвывали волкам тихо, а другие, чтобы выслужиться, выли громче самих волков.

Не взирая на черную неблагодарность и антисоветский поступок, Мосфильм поступил с Ниной вполне благородно, выплатив положенную ей за последний месяц зарплату в срок и сполна. Половину ее мы тут же пропили с нашими друзьями в ресторане Дома кино, а вторую половину — с другими нашими друзьями, но уже в сугубо домашней обстановке.

По завету управдома

С устройством на работу у Нины тут же кончилась бессонница, а вечный вопрос российской интеллигенции «Что делать?» все еще стоял передо мной. Памятуя о предостережении управдома, надо было начать думать о том, как зарабатывать на хлеб насущный. Не очень вдохновляла и радужная перспектива угодить в тунеядцы. Остап Бендер, как известно, знал четыреста сравнительно честных способа добывания денег, но ни один из них мне не подходил. Я умел крутиться, но до Бендера мне было далеко.

И тут снова пришел на помощь Миша Веснин. Сам будучи убежден, что нормальный человек, нигде, кроме как в театре, работать не может, он умудрился в этом убедить и меня.

В студенческие годы он дружил со своим сокурсником по театральному училищу по имени Олег Иванов. Актером тот оказался, вероятно, не очень большим и поэтому решил пойти по административной линии. Здесь он себя нашел, и ко времени, о котором идет речь, работал директором театра им. Вахтангова.

Веснин все эти годы сохранял с ним приятельские отношения и попросил его, чтобы он взял меня на работу к себе.

«Кем?» — спросил его Иванов.

«Кем угодно, — ответил Веснин, — только чтобы у него был свой кабинет, где бы он мог сидеть и спокойно себе писать».

«А в технике он что-то понимает?» — спросил Иванов.

«А как же! — ответил Веснин. — Он же одессит, а в Одессе нет литинститута и потому все одесситы имеют высшее техническое образование». «Хорошо, — сказал Иванов. — В таком случае я подумаю». И он придумал для меня должность инженера театра с отдельным кабинетом.

В театре им. Вахтангова плохо работала вентиляционная система, и потому летом высидеть в зале все три акта могли только люди, подобные чеховской Нине Заречной, которая любила театр больше жизни. Систем кондиционирования воздуха Москва тогда еще не знала, как, вероятно, и теперь. И как исправить существующую систему без капитальной перестройки здания, никто себе не представлял.

Однажды, по совету крупного московского специалиста по вентиляционным системам, в театре заменили существующие вентиляторы более мощными. Но выдувая из труб в зрительный зал вековую пыль, они создали при этом такой шум, что совершенно заглушили актеров на сцене. А от возникшей из-за них вибрации по наружной стене здания пошла трещина.

В театре началась легкая паника, ибо как раз в тот вечер на спектакле присутствовал кто-то из Большого Дома. Но благодаря именно этому факту вахтанговцам выделили средства на ремонт вентиляционной системы. И под это дело была создана инженерная единица, на которой мне

суждено было сыграть важную роль в осуществлении этого грандиозного проекта.

Итак, вскоре после переезда в Москву я и Нина уже работали. Не работал только наш сын, но он был пока в том прекрасном возрасте, когда еще мог бы не опасаться высылки за тунеядство из Москвы на 101-й километр.

Когда я принес управдому справку с места работы, он сказал: «Видишь, мой совет все-таки пригодился! Нет, нет, управдомы — не дураки! Иногда они тоже дают умные советы. Теперь, имея такую справку, ты можешь в Москве спокойно жить и ни о чем не волноваться». И попросил у меня контрамарку в театр.

Но, несмотря на уверения управдома, жить безо всяких волнений нам не удалось. Начались трудовые московские будни со всеми их радостями и тревогами. Но это уже другой рассказ. Будни продолжались до июня 1979 года, когда самолет, оторвав свои колеса от взлетной полосы Шереметьевского аэропорта, унес нас в неизвестность.

Последний кукиш родины

Однако, прежде чем самолет успел оторваться от взлетной полосы, Советская власть все-таки успела показать нам свой кукиш.

Работники мосфильмовской лаборатории подарили Нине после ее увольнения киноролик, смонтировав тайком от начальства сцены с ее участием из всех фильмов, в которых она снималась, а таких набралось более десятка. Для нее это, может быть, было самое дорогое, что она увозила с собой из России. Но в последний момент этот ролик отобрали у нас на таможне в Шереметьево, объяснив это тем, что без специального разрешения цензурного комитета вывозить заграницу выдающиеся произведения советского киноискусства запрещается. И как я не уговаривал таможенника, ничего не помогало. Он уперся рогами, утверждая, что за красивые глаза моей жены он своей головой рисковать не собирается. Я это понял, как намек и, отозвав его в сторонку, предложил ему кое-что более существенное, чем красивые глаза. Это резко изменило его позицию по обсуждаемому вопросу, но тут произошла досадная осечка. Оставшиеся у меня после всех расходов по оплате багажа 25 рублей я отдал в последний момент прощания Нининому отцу, так как вывозить заграницу советские деньги категорически запрещалось. А брать в долларах таможенник перепугался, так как за это, как он объяснил, если кто узнает, его тут же не только уволят с работы, но и в тюрьму посадят — за участие в незаконных валютных операциях.

«Вам хорошо! — сказал он. — Вы себе там в Израиле гулять будете, а мне здесь из-за вас в тюрьме сидеть? Да? Нет, долларами не возьму — и не просите! Если бы рубли были — тогда другое дело!»

Рублей у меня не было.

Такими и остались в моей памяти последние минуты прощания со своей Родиной. Как же неузнаваемо она изменилась за последние 18 лет! Теперь в Шереметьево таможенники берут взятки только долларами, а о рублях даже и слушать не желают.

ХУДОЖНИК САМ ПО СЕБЕ

Не мучайте себя, уважаемый читатель, — вам вряд ли удастся определить, что такое искусство. Ответ на этот вопрос не найден на протяжении всей истории человечества. И все слова о том, что искусство — это прекрасное, что оно непреходяще, что оно бесконечно, — все это не более чем слова, иногда менее удачные, иногда более удачные, но мало приближающие нас к сути самого понятия. Но вот что интересно — жертвами этой странной онтологической загадки являются не люди искусства, а его истолкователи — критики. Их клишированному сознанию, пребывающему в вечном поиске стиля, школы, ниши для художника-творца, явно не по зубам проникнуть в эту божественно-таинственную материю.

Впрочем, в высказанных мной соображениях, вероятно, мало что нового, и я обратился к ним исключительно в связи с судьбой и работами художника, которому посвящается этот вернисаж. Какого уровня этот мастер, читатель увидит сам (естественно, в меру наших полиграфических возможностей), а мы пока попробуем разобраться в том, что принято называть мировоззрением художника.

Начать, вероятно, надо с того, что Юрия Грачева не очень жалует критика. Не то чтобы бранит или там в грош не ставит, а как бы остается равнодушна: ну, есть такой живописец, Юрий Грачев, член Союза театральных художников, человек не без способностей... И ничего большего. Вроде нечего и сказать. Не потому ли это так, что просто не знают, что сказать, к какому

стилю, к какой школе-гильдии причислить автора. Временами, правда, замечают, что есть в нем что-то от Матисса и Пикассо, но что именно, определить трудно, — совсем другой он, а вот какой именно, опять же не пишут, умалчивают.

Сам же Юрий Грачев ничтоже сумняшеся объясняет, что он — дескать такой, как есть, художник — сам по себе, и потому ни к какой школе и стилю себя не причисляет. Пишет быстро, спонтанно и главную свою задачу видит в том, чтобы в один сеанс реализовать замысел. И еще считает, что искусство невозможно без гармонии и передачи чувств.

Но каково же все-таки его прошлое, и как, в частности, появился на ниве искусств этот художник?

Если читатель ждет ответа, что де «талантом надо родиться» и прочее, то он, вероятно, ошибается. Талант — это, естественно, великая вещь, но применительно к Юрию Грачеву, не менее великая вещь — это работа, это внутренняя, с молодости, самодисциплина, это учение ремеслу. Вот мы все ругаем Россию, но положа руку на сердце, там ведь умели учить этим важным вещам.

Юрий Грачев — коренной москвич, закончил художественную школу при Суриковском институте, затем факультет прикладного искусства Московского текстильного института. Композиции учился у Владимира Михайловича Шугаева. Именно с его помощью овладевал гармонией линий, гармонией плоскостей и цвета, учился свободному обращению с формами и цветами. Не отсюда ли позже пришла свободная игра на холсте и палитре.

Творчество — это фантазия художника, а фантазия художника — это игра кистью, но игра особого рода, когда свобода и гармония выступают на холсте в одном тандеме.

Вероятно, если бы Юрий Грачев родился в Америке, — все бы у него сложилось по другому. Лучше ли, хуже ли — не нам судить — Богу. С легкой руки какого-нибудь нью-йоркского галерейщика при «отеческой» поддержке какого-то влиятельного критика его бы сообща, на радость маститым клиентам с улицы Мэдисон, «взращивали», «воспитывали», вкладывали бы в него деньги, чтобы позже этот живой объект бизнеса, в лице художника Юрия Грачева, принес инвесторам неплохие деньги.

Судьба Грачева, чей девиз: «всегда быть самому по себе», и отдаленно не напоминает эту чудную повесть.

В Нью-Йорке, где он живет с 1978 года, ему приходилось пробиваться. Всю жизнь. Шаг за шагом. Вначале в текстильной фирме «Берлингтон», затем в Метрополитан Опере, и еще в ряде мест, сам-то он явно не горит желанием углубляться в свою эмигрантскую одиссею.

Зато мой вопрос о том, а как ему все-таки Нью-Йорк, он встречает совсем по-другому. Нью-Йорк поразил его контраста-

ми, нищетой, грязью, мешками мусора, и, конечно же, человеческими типажами. «Нищие и бездомные бродяги, — говорит он, — стали моей новой темой. Я начал работать больше и серьезнее, чем в России. Наверстывал упущенное, ибо настоящее человеческое лицо, в своей, так сказать, первозданности, я увидел здесь. Я стал испытывать потребность идти вглубь, полнее ощущать жизнь, стал замечать другие лица, более счастливые и просветленные. И на полотнах также рождался другой мир: «Мать и дитя», «Цирк», «Художник и модель», «Смешные лица». Кстати, мне нравится изображать типажи придурковатые, иногда смешные и нелепые, коих в нашем мире не так уж мало».

Постепенно разговор заходит о мастерской художника.

— Хотите знать, как я работаю? Ну, во-первых я много работаю. Человек я крайне непостоянный, экспрессивный, бросаюсь из одной крайности в другую. Работаю неровно и нелегко. И что самое трудное (об этом мало говорят), но самое трудное — это ясность замысла. И еще: умение схватить суть. Если бы я не боялся красивых слов, я бы сказал «схватить душу предмета».

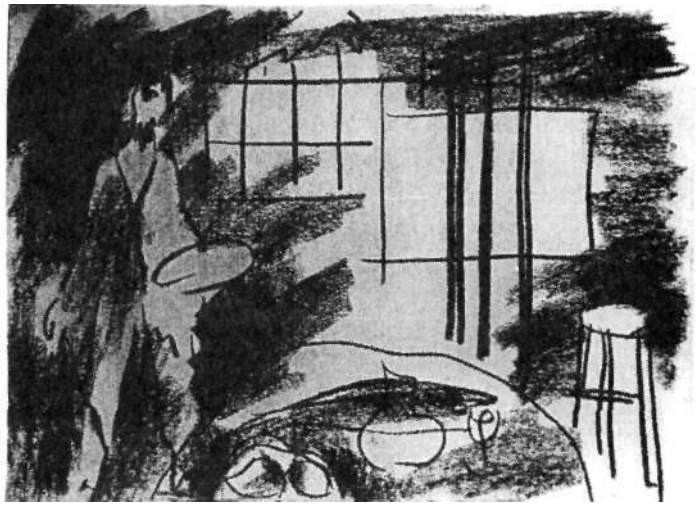
Конечно, во время работы продолжаются поиски, но все это происходит во мне, душевные мытарства, всплески, срывы — все это скрыто под слоями кисти, — и зритель о них может даже не догадываться. Ведь очень часто не художник управляет своей фантазией, а фантазия управляет художником. По признанию Пикассо, он, приступая к своим работам, иногда сам плохо представлял, как и чем он их закончит. Он мог начать с изображения животного и потом прийти к человеку. У настоящего художника это часто бывает. И тут нечему удивляться: некая высшая сила, не контролируемая ни разумом, ни логикой, — вот кто управляет кистью художника, и чем свободнее, чем прихотливее и спонтаннее идет процесс, тем больше приближается художник к чуду, которое даже сегодня, на пороге третьего тысячелетия, затрудняются, как обозначить, и по традиции называют искусством

В. Петровский

Бродяга с кружкой

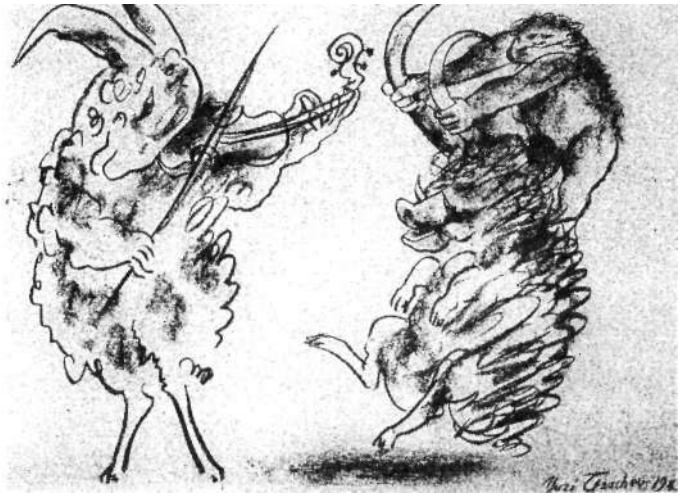
Нищий в Нью-Йорке

Миллионная улица в Нью-Йорке (наверху)
Русские красавицы (внизу)



Студия (наверху)
Беседа (внизу)

Старые друзья (наверху)
Мать и дитя снизу (внизу)



Танец(наверху)
Модель с мандолиной (внизу)

Уличный музыкант

Гитарист

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ЙОРАМ КАНЮК. Родился вТель-Авиве, в 1930 году. Участвовал в Войне за Независимость 1948 года. В 1951 году переехал в Нью-Йорк, где прожил 10 лет. Публиковаться начал с 1962 года. Автор многих романов и повестей («Пост Мортум», «Химо — царь Иерусалима», «Человек — сын собаки», «Последний еврей», «Конек» и др.). Кроме того ему принадлежит несколько сборников рассказов. Его произведения переведены на 18 языков. В настоящее время живет в Тель-Авиве.

БОРИС НОСИК. Родился в 1931 г. в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ и Институт иностранных языков. Член Союза писателей СССР, Борис Носик известен как писатель документалист, ему принадлежит ряд очерковых и публицистических книг. Среди них наибольшую известность получила биография Альберта Швейцера, вышедшая в серии ЖЗЛ и переведенная на иностранные языки. На немецком языке биография Швейцера была издана восемь раз.

С начала перестройки широко публикуется в России, где сегодня напечатаны практически все произведения Бориса Носика, многие из которых долгие годы ходили в Самиздате. Систематически печатается в журнале «Время и мы».

АЛЕКСАНДР АЛЕЙНИК. Родился в г. Горьком в 1952 году. С 15 лет писал стихи. В 1973 году поступил на заочное отделение истфака Горьковского государственного университета. С 1975 года жил в Москве, работал в бойлерных, таксистом, мебельщиком-бутафором в театре им. Моссовета, шофером почтовой связи, редактором Мособлкинопроката.

В Университете защитил дипломную работу о Булгакове. Эмигрировал в 1989 году. Публиковался в Нью-йоркских газетах и журналах: «Слово», «Черновик», «Новое русское слово», «Бостонское время», «Новом журнале» и др. В 1996 году в издательстве «Слово» вышла первая книга стихов.

СЕРГЕЙ ШАБАЛИН. Родился в 1961 году, в Москве. Окончил Нью-Йоркскую художественную школу. В 1995 году вышла первая книга стихов «Прогулки по облакам». В настоящее время работает над второй книгой стихов, прозы и литературоведческих статей.

АЛЕКСАНДР РИХТЕР. Родился в 1934 году в Одессе. Окончил Одесское государственное художественное училище. В 1975 году эмигрировал в США. Живет в Нью-Йорке. Печатается впервые.

ДМИТРИЙ БЫКОВ. Родился в Москве в 1967 г. Обозреватель еженедельника «Собеседник» и журнала «Столица». Лауреат призов Союза журналистов России, Москвы и премии журнала «Огонек». Поэт, автор двух сборников стихов: «Декларация независимости» (1992) и «Послание к юноше» (1994). Член Союза писателей. Печатался в «Литературной газете», «Искусстве кино»,

«Огоньке», «Экране и сцене», «Синтаксисе». Основная тематика публикаций — проблемы культуры и морали, социальная проблематика.

АРОН КАЦЕНЕЛИНБОЙГЕН. Родился в 1927 году, в Изяславле (Украина). В 1946 году окончил Московский экономический институт. В 1966 году стал доктором наук. Работал в Центральном экономико-математическом институте АН СССР, преподавал на экономическом факультете в МГУ. В 1973 году эмигрировал в США, где получил профессуру в Пенсильванском университете. Автор десяти книг и более чем сотни статей по различным проблемам экономики, политики и теории систем.

ЛЕВ АННИНСКИЙ. Родился в 1934 году в Ростове-на-Дону. В 1956 году окончил филфак МГУ. Автор пятнадцати книг, среди которых: «Ядро ореха» (1965), «Обрученный с идеей» (1971, 1986,1988), «30-е — 70-е» (1978), «Лев Толстой и кинематограф» (1980), «Лесковское ожерелье» (1982, 1986), «Локти и крылья» (1990), «Билет в рай» (1989) и многие другие. Один из ведущих авторов журнала «Время и мы».

ЕВГЕНИЙ МАНИН. Родился в 1936 году, в Риге. Окончил историко-филологический факультет в Тарту, по специальности истории Древнего Востока. Занимался археологическими изысканиями в Средней Азии, изучал еврейскую историю и культуру. В США эмигрировал в 1976 году. 1979 год провел в Израиле. В архивах хайфского музея изучал историю древнего искусства.. В настоящее время живет в Филадельфии, систематически выступает в американской периодике.

МИРОН РЕЙДЕЛЬ. Родился в 1924 году в Самаре. Журналист, прозаик, драматург, театральный актер и режиссер, член Союза журналистов России. Получил театральное образование и филологическое — окончил Московский государственный университет. В 60-е годы работал по договорам в геологических экспедициях, в Восточной Сибири. Как прозаик в России не публиковался, сотрудничал в различных средствах массовой информации, в том числе, более 25 лет, на Центральном телевидении в Москве в качестве специального корреспондента, сценариста, режиссера. Многие годы был заместителем председателя комитета московских драматургов. Дипломант Всероссийских конкурсов драматургов. С 1993 года живет в Америке, где стал публиковать свою прозу, написанную еще в России.

АЛЕКС БОРИСОВ. Родился в Одессе. Детство и юность провел в Норильске, куда, как враги народа, были сосланы родители. После лагеря вновь вернулся в Одессу, где писал эстрадные спектакли и телевизионные передачи. Поступил на киностудию имени Горького. Попал в группу Кулиджанова. Какое-то время жил в Москве. Через некоторое время эмигрировал в Америку. Последние 15 лет живет в Лос-Анджелесе.

ФЕЛИКС РОЗИНЕР

Я знаю, что пишу о Феликсе с большим опозданием. Умер он в марте, а журнал этот выйдет в разгар лета, когда многие из тех, кто его знал и любил, захвачены будут совсем другими делами. Жизнь, как всегда, берет свое. И, наверное, лишь самые близкие и по сей день ощущают в себе горькое чувство его отсутствия. Можно, конечно, сказать, что рукописи не горят. Сказать можно все. Но как беспардонно со всеми нами обходится смерть! Жил писатель, и не стало писателя. Как не стало Бори Шрагина, Владимира Максимова, Андрея Синявского и вот теперь Феликса Розинера. Да, время некрологов ушло. А меня все не оставляет горький осадок чего-то недосказанного. Не сейчас, после его смерти, а тогда, когда он среди нас был и когда ему, больному и обреченному, мы слишком редко говорили хорошие слова. Всегда торопились, и говорить их было недосуг, а когда хватились, нет уже того, кому слова предназначались.

Я-то хорошо помню, как все началось, — еще в Израиле, где сто лет назад он первый раз переступил порог редакции и принес несколько рассказов, которые тотчас же привлекли внимание читателей. Но я не про рассказы, не про его писательский дар (чего стоил один только «Лиловый дым», который на страницах «Русской мысли» назвали вещью гения) — нет сейчас я о другом: как мне однажды позвонил мой старый израильский друг, доктор Юра Бачаев, участковый врач Розинеров, и на мой обычный на иврите вопрос: «Ма нишма Юра» (Что слышно, Юра?) ответил: «У меня-то все ничего, а вот у Феликса дела неважнецкие: подозревают «Болезнь Кочкина». И, помолчав, добавил: «Что тебе сказать? Дела швах. Сколько продержится? Может год, может чуть больше...»

Если не ошибаюсь, он продержался 16 лет. Да и само это слово «продержался» не из его, розинеровского, лексикона. Он жил полной жизнью, всегда работал, всегда писал, и на праздновании 100 номера выступал даже с гитарой. Так и объявили: «Сейчас выступит поэт и бард Феликс Розинер!» И всегда посмеивался над врачами, которые, как он говорил, совсем уж его похоронили, а вот я на зло им живу! Он всегда говорил, что боится не успеть — чего не успеть, не объяснял: то ли с очередным переводом Финкельмайера, то ли с Чорленисом, то ли с романом об Ахилле, то ли с энциклопедией советского языка. Врачи разводили руками, по их-то мнению последняя атака должна была стать концом. А он жил. А он работал. А он успевал. И тут уж не нам судить — Богу! Перед чем в его случае отступала смерть. Так и тянет сказать: перед «мужеством». Но ужасно боюсь я красивых слов. Так что, может, лучше помолчим — раз уж не сказали вовремя и минутой молчания почтим память писателя Феликса Розинера.

В.П.

НОВОСТИ АЭРОФЛОТА

Соглашение с Continental Airlines

14 января этого года подписан договор о сотрудничестве между ведущим авиаперевозчиком России компанией «Аэрофлот — Российские международные авиалинии», и Continental Airlines, одной из крупнейших авиакомпаний США.

Это соглашение дает возможность Аэрофлоту расширить свою деятельность на американском рынке и повысить рентабельность трансатлантических рейсов.

В московских кассах Аэрофлота можно будет купить билеты в 157 городов Америки, куда летает Continental Airlines. Раньше цена билета состояла из стоимости двух рейсов — от Москвы до Нью-Йорка и от Нью-Йорка до конечного пункта. Теперь полет до конечного пункта в США обойдется покупателю дешевле, так как авиабилет будет «сквозным».

Continental Airlines получает доступ на рынок авиаперевозок России. В различных городах США будет осуществляться прямая продажа авиабилетов в Москву и те города России, стран СНГ и Балтии, куда совершает полеты Аэрофлот. Соответственно, в этих городах можно будет приобрести билеты на полет в различные города США. Это не только создает большие удобства для пассажиров, но и позволяет существенно снизить стоимость перелета.

В соответствии с договоренностью, два авиаперевозчика начнут совместную эксплуатацию рейса Москва — Нью-Йорк. Рейс будет выполняться ежедневно из аэропорта Ньюарк (штат Нью-Джерси) в Шереметьево-2 на самолетах DC-10-30 с использованием кодов обеих компаний (CO и SU). На этом рейсе курение запрещено. Одновременно Аэрофлот сохранит свой рейс из Шереметьево-2 в аэропорт Джона Кеннеди (JFK) на Боинге-767. На этом рейсе курить разрешается.

Начиная с лета 1997 года, Аэрофлот планирует начать полеты по маршруту Санкт-Петербург—Нью-Йорк два раза в неделю.

Российская авиакомпания получила право совершать рейсы совместной эксплуатации с Continental Airlines под кодом SU-CO в 16 американских городов: из Нью-Йорка — в аэропорты Washington Dulles, Washington National DCA, города Сиэттл (штат Вашингтон), Сан-Франциско (Калифорния), Лос-Анджелес (Калифорния), Орландо (Флорида), Майами (Флорида), Хьюстон (Техас), Даллас (Техас), Вашингтон, Бангор (Мэн), Колумбус (Огайо), Чикаго, Портленд (Орегон); из Чикаго в Хьюстон и Кливленд; из Майами — в Хьюстон.

Решено также, что рейс Аэрофлота по маршруту Москва-Майами становится рейсом совместной эксплуатации. Авиаперевозчики обеспечат друг другу наземное обслуживание в аэропортах Шереметьево и Ньюарк. Компании будут сотрудничать также в области маркетинга, рекламы и по другим направлениям. Авиакомпания Continental Airlines имеет систему поощрения часто летающих пассажиров — Frequent Flier. Аэрофлот планирует к ней присоединиться.

Обе компании отличает неизменно высокий уровень сервиса на всех рейсах. Аэрофлот берет на себя обязательство в ближайшее время ввести такую услугу, как бронирование места по телефону и оплата билета в аэропорту с помощью кредитной карточки.

Продажа билетов на рейсы Аэрофлота и Continental Airlines начнется весной 1997 года, а сами рейсы, в том числе и рейс совместной эксплуатации Москва — Нью-Йорк, будут открыты нынешней осенью.

Открыт еще один рейс

Иссык-Куль, Тянь-Шань, Алатау... Отныне эти поэтически звучащие названия станут ближе пассажирам Аэрофлота. Национальный авиаперевозчик России начинает полеты в столицу Киргизстана Бишкек.

Раз в неделю по понедельникам самолет Ил-62 будет выполнять рейс SU-179/180 из аэропорта Шереметьево-1 в аэропорт Манас и обратно. Полет длится четыре часа. Вылет из Москвы в 22.30, прилет в 4.35 утра. Вылет из Бишкека в 6.05 утра, прилет в Москву в 8.35 утра.

Введение этого рейса обусловлено реалиями сегодняшнего дня. В Киргизстане принят закон о создании в Чуйской области свободной экономической зоны, благоприятной для инвестиций. В связи с этим ожидается увеличение пассажиров-бизнесменов. Пассажирами рейса Москва — Бишкек станут и бригады иностранных компаний, ведущих активную разработку золотоносных месторождений. Наконец нельзя не упомянуть и туристические группы, которых привлекают интересные маршруты Киргизстана и Средней Азии.

Национальная авиакомпания «Кыргызстан аба жолдору» пока еще не может предложить достаточно разнообразный сервис при полетах в города СНГ и дальнего зарубежья. К тому же, на ее

самолетах нет первого и бизнес-классов. Поэтому пассажиры, летящие рейсом Аэрофлота, имеют очевидные преимущества. Во-первых, это прибытие в аэропорт Шереметьево-1 (а не в Домодедово, куда летает местная авиакомпания), что более удобно для тех, кто летит дальше из Шереметьева-2. Во-вторых, время прилета хорошо стыкуется со многими рейсами в Европу и Северную Америку. В-третьих, Аэрофлот предлагает три класса обслуживания, соответствующие общепринятому международному уровню. Пассажиры Аэрофлота получают горячий обед, напитки, могут приобрести сувениры из магазина Moscow Duty Free.

Вступление Киргизстана в Таможенный союз, организованный Россией и рядом стран СНГ, и наличие свободной экономической зоны позволяют надеяться на то, что новый рейс будет популярным среди иностранных туристов и жителей республики.

Официальный агент Аэрофлота в Бишкеке — туристическая фирма «Главтур»; адрес: г. Бишкек, ул.Токтогула, 93, тел.: (3312) 22-12-53/02-53.

Модернизация самолетного парка

Приятная новость ждет пассажиров Аэрофлота, отправляющихся в Лондон, Париж, Рим, Токио, Осаку, Вашингтон, Майами, Мехико, Дели, Бангкок, Гонконг. Уже полгода в эти и другие крупные города летают комфортабельные аэробусы А-310.

В мае 1996 г. в Тулузе (Франция) генеральным директором Аэрофлота и президентом Airbus Industrie был подписан контракт о поставке четырех новых аэробусов А-310 в дополнение к шести, уже имевшимся у Аэрофлота.

В августе 1996 г. эти самолеты пополнили воздушный парк Аэрофлота. По сложившейся традиции самолетам присвоили имена русских композиторов: «Римский-Корсаков», «Даргомыжский», «Бородин», «Алябьев».

Аэробус А-310 — широкофюзеляжный, дальнемагистральный самолет с двумя двигателями. Машины, приобретенные Аэрофлотом, оборудованы салонами первого, бизнес и экономического классов. Они оснащены двигателями Pratt&Whitney, сертифицированными для эксплуатации при температуре до — 50° С. Самолеты доработаны по заказу Аэрофлота. В них смонтированы дополнительные топливные баки и новое буфетно-кухонное оборудование. Аэрофлот также получит от Airbus Industrie соответствующий пилотно-тренажерный комплекс.

Дополнительным аргументом в пользу выбора аэробуса А-310 было то обстоятельство, что у Аэрофлота уже есть пилоты, техники и бортпроводники, способные эксплуатировать эту современную технику. Персонал, необходимый для работы с новым пополнением парка, прошел подготовку в Тулузе, Франкфурте-на-Майне и Шенноне.

Аэробусы заменили самолеты Ил-62 и Ил-86 на многих трассах Аэрофлота.

Александр Девитт

Контракт на поставку «Боингов»

В ближайшие два года Аэрофлот получит в лизинг 10 новых ближнемагистральных самолетов Боинг-737-400. Американская техника заменит 13 имеющихся машин Ту-134 на рейсах в города Европы, т.е. на линиях небольшой протяженности.

Боинг-737, на который обратил внимание Аэрофлот, по количеству продаж занимает сегодня первое место в мире среди всех типов самолетов. По мнению специалистов Аэрофлота, эта машина хорошо «облетана» во всем мире, и у российской авиакомпании не возникнет проблем, связанных с освоением новой техники.

Расчеты показывают, что подобная модернизация части авиапарка даст компании прирост пассажирских перевозок в миллион человек. В том числе и за счет того, что освободившиеся из зарубежных маршрутов Ту-134 будут использованы для расширения географии полетов по России.

Дополнительные услуги для пассажиров

В конце 1996 года Аэрофлот ввел новую услугу для пассажиров — граждан России: оформление полного комплекта выездных документов.

Для иностранцев предусмотрено оформление виз и приглашений для въезда в Россию. Теперь в кассе Аэрофлота, расположенной по адресу Фрунзенская набережная, 4 (тел. 241-85-00), российские и иностранные граждане смогут оформить приглашения и визы для своих друзей и деловых партнеров из-за рубежа. В ближайшее время это можно будет сделать еще в шести московских кассах авиакомпании.

В марте 1997 г. изменились справочные телефоны Аэрофлота в Москве. Теперь это будут два 10-канальных номера — 156-80-19 и 753-80-30. Для этой цели авиакомпания приобрела телефонную станцию NEC. Бронирование авиабилетов по телефону осуществляют 20 диспетчеров.

Для пассажиров Аэрофлота, купивших билеты первого или бизнес-класса, вводятся дополнительные услуги в аэропорту Шереметьево-2. Специально для них в зале вылета установлены

отдельные стойки регистрации. Аналогичные стойки скоро появятся на таможенном и пограничном контроле. Кроме того, каждому пассажиру первого класса выдается приглашение в салон обслуживания первого класса, где в ожидании вылета он сможет отдохнуть, поработать с деловыми бумагами, бесплатно перекусить.

Новое в сервисе Аэрофлота

В июле 1996 г. на самолетах Аэрофлота для пассажиров всех рейсов введено новое меню.

Разработан новый дизайн бортовой посуды и предметов сервировки стола, которые войдут в обиход в течение 1997 г.

В 1997 г. на большинстве рейсов Аэрофлота для пассажиров первого и бизнес-классов планируется использовать фарфоровую посуду.

В длительных рейсах каждый пассажир обеспечивается пледом и подушкой, пассажирам первого и бизнес-классов предлагается дорожный набор.

С учетом предложений пассажиров бизнес-класса на рейсах в города ближнего зарубежья (Баку, Ереван, Тбилиси, Рига, Вильнюс и др.) вместо рациона «холодная закуска» введено полноценное горячее питание.

Разработана новая летняя форма для стюардесс.

В издательстве
журнала «ВЕСТНИК»
вышла новая книга —

Владимир ЛЕВИН и Давид МЕЛЬЦЕР

«ЧЕРНАЯ КНИГА С КРАСНЫМИ СТРАНИЦАМИ»

В книге впервые раскрывается деятельность еврейских подпольных организаций, восстания узников в Несвиже, Деречине, Лахве, организация массовых побегов евреев из гетто Минска, Новогрудка, Мира, Кобрина и др. В книгу включены документы о геноциде немцев в Белоруссии. Многие из них, почерпнутые в Национальном архиве Республики Беларусь, в рассекреченной части архива КГБ РБ и других, впервые вводятся в научный и литературный оборот. Наиболее ценной частью книги являются воспоминания немногих оставшихся в живых свидетелей страшной трагедии евреев Белоруссии, участников еврейского Сопротивления, живущих сейчас в США, Израиле и в Республике Беларусь. В книге рассказывается о праведниках, которые были готовы заплатить жизнью, спасая евреев. Оказывается, были целые деревни праведников.

"...Книга эта должна быть в каждой еврейской семье, и читать ее необходимо не только тем, кто все это пережил, но — что еще важнее — молодым, кому жить, творить... А тот, кто не может прочесть эти горькие и гордые страницы из-за незнания русского языка, пусть всмотрится в прекрасные лица, в умные и глубокие, грустные и веселые глаза мужественных и добрых евреев на многочисленных фотографиях, воспроизведенных в книге." *(С.Вигучин, НРС).*

В книге 590 страниц, 50 фотографий и иллюстраций. Книга издана при содействии Американского фонда Memorial Foundation for Jewish Culture. Цена книги **$15.00**. Стоимость пересылки внутри США — **$2.00**, в другие страны —$3.00.

•

Подписывайтесь на всеамериканский двухнедельный журнал на русском языке «Вестник»! «Вестник» выписывают в 48 штатах США, в Канаде, России, Европе, Израиле, Австралии. Стоимость подписки на год (26 журналов) в США и Канаде — **$48**, на полгода — **$25**. Во всех остальных странах стоимость подписки на год **$59**, на полгода — **$36**.

Высылаем бесплатные ознакомительные номера!

Желающие заказать книгу, или подписаться на журнал могут прислать чек или мани-ордер на адрес редакции: ***Vestnik, 6100 Park Heights Ave., Baltimore, MD 21215-3624, USA.***

Принимаем основные кредитные карты.

Справки и заказы по тел. ***(410) 358-0900.***

ОБРАЩЕНИЕ К РУССКИМ ЭМИГРАНТАМ!

Наше нелегкое положение вынуждает нас обратиться к тем, кто сочувствует возрождению русской культуры.

Мы просим откликнуться тех, кто располагает книгами и журналами на русском языке, изданными за рубежом и имеет возможность прислать эти издания безвозмездно.

Нам оказали большое содействие в комплектовании наших фондов член редколлегии газеты "Русская мысль" Александр Гинзбург, редактор журнала "Страна и мир" Кронид Любарский, редактор журнала "Посев" Александр Югов и сотрудник "РС" в Мюнхене Егор Давыдов передавшие и приславшие в течении 1987-1995 гг. несколько десятков посылок с книгами, газетами и журналами. Мы признательны и выражаем им благодарность.

В фондах библиотеки собрана литература, совершенно отличная от того, чем располагают государственные публичные библиотеки. В данный момент она является уникальным и единственным в Уральском регионе, Сибири и Дальнем Востоке собранием литературы по истории инакомыслия, эмиграции, правам человека и самиздата. Сейчас мы располагаем самой полной подборкой газет "Русская мысль" с 1959 г по 1982 гг.

Фондами библиотеки пользуются старшеклассники и студенты: историки, филологи, литературоведы, журналисты, юристы, экономисты и преподаватели вузов, и университетов, а также журналисты, политологи, **школьные** ***учителя.***

Мы организовали филиалы в таких областных городах, как Пермь и Челябинск, и несколько отделений в трех областях Уральского региона.

Я обращаюсь к тем, кто понимает необходимость возвращения на Родину духовных ценностей, до сих пор малодоступных и неизвестных жителям провинциальной России и особенно нас волнует духовное становление молодежи. Я обращаюсь к тем кто испытал на себе духовный голод и, понимает: в таких условиях человек не сможет стать свободным. Обращаюсь к тем кто вместе снами считает - ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО.

Директор
Уральской Независимой Общественной Библиотеки В.Г.Пестов.
Наш адрес: Россия, 620151 г. Екатеринбург а/я 295 УНОБ Пестову В.Г.

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

ГРЕХОПАДЕНИЕ ЦЕЗАРЯ

Роман написан от лица бывшего московского журналиста, пережившего все прелести советской системы и оказавшегося на склоне лет в эмиграции. Герои романа — выходцы из среды московской богемы, — оказавшись в Америке, мечутся в поисках места под солнцем: мы видим их в русских ресторанах Бруклина, в подозрительных, полууголовных бизнесах, погруженными в иллюзорные эмигрантские мечтания. То там то здесь мелькают знакомые лица, слышатся родные голоса... Другая сюжетная линия — жизнь самого автора, человека острого и умного, и вечно униженного из-за неустройства жизни, из-за своего еврейства и к тому же из-за... своей сексуальной неполноценности — тайный недуг, который окрашивает в темные краски всю его жизнь. И вот в эмиграции он решает как бы взять реванш и обессмертить себя произведением, в котором выскажет всю правду о себе. О загубленной в сталинском лагере молодости, о жене, о своих несчастных связях с женщинами, об эмигрантском окружении. Рождается горячечная исповедь человека, неизвестно зачем прожившего жизнь и решившего эпатировать читателя выворачиванием самых темных, болезненных закоулков своей души: род мазохизма, который странным образом скрашивает его последние дни. Все остальное мы узнаем из самого романа, который, возможно, и введет читателя в тяжелые раздумья по поводу «проклятых вопросов» жизни, но вряд ли оставит его равнодушным,

В книге 320 страниц. Цена - $ 16. Заказы и чеки высылать по адресу:

„Time and We"
409 Highwood Avenue
Leonia, New Jersey 07605, USA

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА "АНТИКВАРИАТ"

И. АКСЕНОВ. Пикассо в окрестности. — 12 долларов.
М. БАХТИН. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренессанса. — 36 долларов.
А. БЕЛЫЙ. Христос воскрес. — 5 долларов.
К. ВАТИНОВ. Труды и дни Свистонова. —10 долларов.
Е. ДУМБАДЗЕ. На службе Чека и Коминтерна. — 10 долларов.
П.П. ЗАВАРЗИН. Работа тайной полиции. — 10 долларов.
А. КОТОМКИН. О чехословацких легионерах в Сибири. — 10 долларов.
П.Н. КРУПЕНСКИЙ. Тайна императора. —7 долларов.
В.И. ЛЕБЕДЕВ. Борьба русской демократии против большевиков. —12долларов.
Н. РЕЗНИКОВА. Пушкин и Собоньская. — 5 долларов.
А.РЕМИЗОВ. Пляс Иродиады. — 12 долларов.
И, СЕВЕРЯНИН. Колокола собора чувств. — 5 долларов.
В. ШКЛОВСКИЙ. Ход коня. — 12 долларов
В. ШКЛОВСКИЙ. Гамбургский счет. — 15 долларов.
В. ШКЛОВСКИЙ. Сентиментальное путешествие. — 20 долларов.
В. ШКЛОВСКИЙ. Техника писательского ремесла. — 10 долларов.
Э. и О. ШТЕЙН (составители) . Чтобы Польша была Польшей. — 9 долларов.

Готовится к печати:
В. КРЕЙД (составитель и автор комментариев) . Георгий Иванов — Несобранное. Ориентировочная цена — 25 долларов.

Деньги и чеки присылать по адресу:

E.SZTEIN'S ANTIQUARY

594 Chestnut Ridge Rd.
Orange, CT 06477. USA.

БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"

ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД

СУДЬБА СОВЕТСКИХ ПЕРЕБЕЖЧИКОВ,

ЭТО КНИГА О ПОБЕГЕ НА ЗАПАД ВИДНЫХ СОВЕТСКИХ РАЗВЕДЧИКОВ, ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ И ДИПЛОМАТОВ (ИГНАТИЯ РЕЙССА, ВАЛЬТЕРА КРИВИЦКОГО, ГРИГОРИЯ БЕСЕДОВСКОГО, ГЕОРГИЯ АГАБЕКОВА, АЛЕКСАНДРА ОРЛОВА, БОРИСА БАЖАНОВА И ДР.), О ИХ СТРЕМЛЕНИИ ОТКРЫТЬ ЗАПАДУ ГЛАЗА НА СТАЛИНСКУЮ РОССИЮ, О ИХ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЗАПАДНЫМИ РАЗВЕДКАМИ, О ПРОИСКАХ СОВЕТСКОЙ АГЕНТУРЫ В ЕВРОПЕ И НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ.

КНИГА РАССКАЗЫВАЕТ. КАК ЗЛОВЕЩАЯ ТЕНЬ РАСПРАВЫ НЕОТСТУПНО ПРЕСЛЕДУЕТ КАЖДОГО СОВЕТСКОГО ПЕРЕБЕЖЧИКА. РАНО ИЛИ ПОЗДНО РУКА СОВЕТСКОЙ ПОЛИЦИИ НАСТИГАЕТ ОДНИХ. И ПЕРЕД ВЕЧНОЙ УГРОЗОЙ РАСПРАВЫ ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ ЖИЗНИ ЖИВУТ ДРУГИЕ.

ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД - ИЗВЕСТНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И ПУБЛИЦИСТ - ПРЕДЛАГАЕТ ЧИТАТЕЛЮ ДО СИХ ПОР НЕИЗВЕСТНУЮ. УНИКАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СОБРАННУЮ ИМ ВО МНОГИХ СТРАНАХ МИРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НАД КНИГОЙ.

КНИГА ПЕРЕЖИЛА НЕСКОЛЬКО ИЗДАНИЙ, ПЕРЕВЕДЕНА НА МНОГИЕ ЯЗЫКИ МИРА

Цена книги - 15 долларов.
Заказы и чеки высылать по адресу:

"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE
LEONIA, NJ 07605, USA
Tel.: (201)592-6155

Лорен АЙЗЛИ

ВЗМАХ КРЫЛА: РАССКАЗЫ И ЭССЕ

Подбор, перевод с английского, предисловие и примечания Д. Н. Брещинского

(Москва: Издательство Московского университета, 1994)

*

Произведения Лорена Айзли (1907-1977), известного американского антрополога, натуралиста, эссеиста и поэта, получили самую высокую оценку разнообразнейших критиков:

• «Казалось бы, поэзия и наука несовместимы - как масло и воду, их невозможно смешать. Однако есть исключительные ученые, которым это вполне удается. Лорен Айзли один из них... Это Пруст, чудесным образом преобразившийся в антрополога-эволюциониста». *Феодосии Добржанский, американский генетик*

• «Удивительная широта познаний, бесконечная способность удивляться и сострадательный интерес ко всему и вся во Вселенной». *«Филадельфия санди бюллетэн»*

• «Вряд ли кто-либо сказал больше о столь необъятном предмете в такой сжатой форме». *Джосеф Вуд Кратч («Сатердей ревью»)*

• «Он был одним из первых ученых, заявивших во весь голос, что человек должен вновь найти свое место в мироздании. Его слова создали новый тип литературы, основанной на объективных научных данных, и его предостережение помогло положить начало новому общественному движению. Как и пророки всемирных религий 2000 лет назад, он учит наше поколение вновь обрести космическое чутье, которое свойственно только человеку». *Рэне Дубос («Смитсониян мэгэзин»)*

• «Произведения Лорена Айзли перевернули мою жизнь». *Рэй Брэдбери, американский фантаст*

• «Когда мы привыкнем к Лорену Айзли, такому непохожему на все, что читали, то поймем, какое чудо открыл нам Дмитрий Брещивский, и скажем от души: спасибо!» *Юрий Нагибин («Лепта»)*

• «Браво!» *У.Х. Оден, английский поэт*

Сборник «Взмах крыла» можно приобрести через Издательство МГУ (тел.: [095] 939-33-23; факс: 203-66-71), в США - в книжном магазине «Victor Kamkin, Inc.» (тел.: [301] 881-5973; факс: 881-1637)

ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ И МЫ» - 1997

УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Стоимость годовой подписки в США — 63 доллара, с целью экономической поддержки редакци, — 69 долларов; для библиотек — 94 доллара.

Цена в розничной продаже — 19 долларов.

Подписка оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США, чеки высылаются по адресу: «Time and We».

409 HIGHWOOD AVENUE, LEONIA, NJ 07605, USA

TEL: (201) 592-6155

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия . . . . . .

Имя . . . . . .

Адрес . . . . . .

Подписной период . . . . . .

Прошу оформить подписку на журнал «ВРЕМЯ И МЫ» на ..... год. Высылать с номера ..... Журнал высылать обычной (авиа) почтой по адресу:.....

.....

Подпись .....

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.
Редакция осуществляет стилистическую правку рукописей без дополнительного согласования с авторами.

MAIN OFFICE
409 Highwood Avenue, Leonia, NJ 07605, USA
(201) 592-6155

OCR и вычитка - Давид Титиевский, сентябрь 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

На первой странице обложки коллаж Вагрича Бахчаняна

На четвертой странице обложки: Юрий Грачев «Женщина с ребенком»

1995